

ГРАНИ

GRANI

109

1978

Verlagsort: Frankfurt/Main, Juli-September

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev- Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее, ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды.

*Е.Романов
Грани № 1, 1946*

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXIII

№ 109

1978 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ник. ОЛИН — Третья скамейка слева. Повесть	5
Иван ЕЛАГИН — Стихи	203

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Владимир ГУСАРОВ — Баба Феня. Глава из книги	207
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. АНДРЕЕВА — России сердце не забудет... О творчестве Александра Галича	215
Леонид РЖЕВСКИЙ — Триптих В.Е.Максимова	229

ПУБЛИЦИСТИКА

Борис КОМАРОВ — Секретный воздух. Глава из книги	267
Илья ЗЕМЦОВ — СССР — господствующая элита	283

О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

От редакции	306
Борис СОКОЛОВ — Защита Всероссийского Учредительного Собрания	310

Обложка работы художника Н.Мишаткина

©Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1978
Frankfurt/Main
Printed in Germany

Третья скамейка слева

Повесть

„Блаженны алчущие и жаждущие правды...”
Евангелие от Матфея. Нагорная проповедь,
гл. 5, ст. 6.

ОТ АВТОРА

Это — повесть о людях, проживших свою жизнь за пределами архипелага ГУЛлаг, родившихся позже, чем большинство его обитателей. Повесть о работниках кино того поколения, которое было малолетним в дни „великих посадок”. Повесть не о редких звездах, а о тех, кого принято называть чернорабочими кино.

Здесь не рассказывается о ярком свете юпитеров на съемках, когда жизнь всем, кто к тем съемкам причастен, на мгновенье кажется лучезарной. Не об овациях в дни премьер в Доме Кино. О буднях.

У некоторых героев повести есть живые прообразы, но не очень близкие, и это, во всяком случае, не автобиография. Просто жизнь, как ее увидел автор. Если добавить еще, что автор серьезно относится к Зигмунду Фрейду и использует иногда его методы, анатомируя души своих героев, то, пожалуй, это в основном все, о чем хочется предупредить читателя.

Герои повести „Третья скамейка слева” — русские интеллигенты. Время действия — наши дни, конец семидесятых годов двадцатого века. Место действия — Москва. Жанр? Если б то была драматургия, можно бы-

ло бы сказать, что перед нами трагедия. Но поскольку это — проза, то, во всяком случае, не „ласкающий реализм”. Раскаленная тоска сжигала душу автора, когда он вспоминал о своих незабвенных друзьях, чьей памяти и посвящает свою работу.

Глава 1

РЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

*„Мы не врачи. Мы — боль”.
А.Герцен (О писателях).*

...И сказала Старшая Сестра Гаврошке:

— Живи, как все живут. Пробивай себе работу, как все. Старайся расположить к себе начальство, как все. Сделай ремонт в квартире, чтобы стало в ней уютненько. Оклей стены модной пленкой. Повесь православную икону на одной стене, а католический крест — напротив. Еще добудь гарнитур из полированной фанеры и сшей себе пестренькое платье. Читай повести, какие хвалят в „Литературке”. Следи за фигурой. Будь, будь, будь, как все. Пора!

И согласилась Гаврошка:

— Я хочу, я просто мечтаю стать, как все. Да не получается почему-то. Наверно, я сначала должна понять...

— Что понять, горе мое? — возмутилась Старшая Сестра. — Ты и так много, ох, как много лишнего понимаешь. Институт кончила, курсы английского языка кончила, а толку что?

— Я, это самое, никак не найду себя, — призналась Гаврошка. И вдруг вспыхнула: — И вообще мне лучше знать, что с собой делать!

— Дура. Нету в тебе ничего особенного, понимаешь? Встречаются изредка такие люди, ну, исключительно одаренные, уникамы, им и правда возвышенный стиль жизни требуется. А ты заурядна и мелка. И живи по стереотипу. Не то пропадешь!

— А если я не могу лгать? — заныла Гаврошка.

— Врешь! Отлично можешь.

— И еще такая у меня странность: никак не могу ходить по трупам.

— С твоей инфантильностью впору обращаться к невропатологу! — разозлилась Старшая Сестра.

— Ты забыла, — засмеялась Гаврошка, — мы с тобой сегодня идем к нему. Нас заставили. Нас будут лечить гипнозом. Кажется, от горя. Но то, что я хочу спросить, у врача я не спрошу.

— А у кого же? — заинтересовалась Старшая Сестра.

— У Него... У Всевышнего.

— Господи, да ты заговариваешься! Идем к врачу.

И они пошли. Вдвоем. Решительная, всезнающая, осторожная Старшая Сестра, которая выглядела старше своих уже немалых лет, и смешная, неуклюжая, застенчивая, как подросток, Гаврошка. Ее душе было лет шестнадцать, и Старшая Сестра заботливо ее опекала. Они жили в одном теле, только никто про это не знал. Знали обычную женщину — Валю, Валентину, а о том, что в облике ее существуют два вечно спорящих, ни в чем друг с дружкой не согласных человека, конечно, можно было бы легко догадаться, если бы Валя сильно интересовала кого-нибудь, кроме собственного мужа — Юрки, сценариста средней руки. А он, давно привыкнув к своей супруге, никакого раздвоения личности в ней не замечал. Да и сама она долго не замечала, только жаловалась иногда подругам: „Ох, и мучает меня мой внутренний редактор! Хочешь иногда правду вслух сказать, ну не большую какую правду, где мне, а ма-аленькую правдочку, совсем же не опасную, а он — цап за руку: „Молчи! Себе навредишь, еще того хуже — Юрке навредишь; не тебя — ты кто? халтурщица профессиональная, — а его потихонечку-полегонечку, ручками в бархатных перчатках душить начнут. А он — талант. А у него — сердце”. Я и молчу!” — „Умница! — соглашались подруги. — А знаешь, какой каблук весной войдет в моду?”

Давно уж у Вали настоящих подруг не осталось, и звала она подругами приятельниц, а приятельницы, так вот получилось, все больше были актрисы. Они искренне восхищались рассуждениями Валентины, но сами в умственность особо не вдавались, замученные с ранней юности великой системой Станиславского, они боялись приобрести собственное мнение о чем-либо, кроме моды: как раз не угодишь режиссеру!

Скучно текла Валина жизнь... Окончив в установленном возрасте сценарный факультет Института кинематографии, став, стало быть, киносценаристом, она рубала, рубала, рубала халтуры — на телевидении, на радио, изредка на киностудиях и в театрах, не гнушалась и самыми мелкими журнальчиками, куда пристраивала свои рассказы. Несколько раз ей подвезло — и солидные издательства выпустили сборники ее повестей, очень миленьких, очень облегченных и потому, должно быть, положительно оцененных прессой.

Правда, литературного имени ей это не дало. Да она к тому и не стремилась. Валя ушла в другое: она жила тенью, отраженной жизнью своего мужа.

Валькой и Юркой звали их в киношке, где они учились и работали, чуть ли не с детства. Почему-то в этом блистающем мире принято было пренебрежительно-уменьшительно величать даже знаменитостей преклонных лет. Все вокруг были Лельки, Русики, Элики, Машутки.

Инфантильность, свойственная служителям самой молодой из муз? Боязнь стареть, особенно жестокая в большинстве киношных профессий? Обычай?

Ладно, Юрка, пусть Юрка. Главное, он был талантлив. Валя поняла это отчетливо, когда вышла за него замуж, в двадцать два годочка. Ему было в ту пору на полтора года больше. Они учились на одном курсе.

Юрка был умен и как-то завидно разносторонен. До института он окончил музыкальное училище по классу фортепьяно, знал немецкий и французский, сво-

бодно говорил и читал на этих мало похожих языках. Был добр. И еще, так во всяком случае казалось Вале, красив.

Валя, в детстве узнавшая от очень досадовавшей на это матери, что она почти урод и даже почему-то похожа на цыганенка, словно цыгане подменили ее хорошенькой, светловолосой и светлоглазой маме пухлую, круглолицую доченьку с кукольными глазками на черномазое, скуластое, худущее чудище, очень удивлялась, почему Юрка полюбил ее? Ведь в их институте, хотя бы на актерском факультете, столько было красавиц на любой вкус!

Правда, она — заводная, фантазерка — никогда не страдала от отсутствия поклонников. Мальчишки, окружавшие ее в школе, видимо, просто не умели отличать дурнушек от хороших, а в киноинституте бытовали представления о миловидности, тоже не исключавшие Валью из списка. Зато, не любя себя, она любила Юрку, и очень дружила с мужем, и была счастлива. Или нет, не была?

У них все сложилось, как у мириад маленьких людей на этой планете, и даже, может, чуток получше. Квартира — в столице нашей прекрасной Родины, то бишь Москве, и притом — о счастье! — у каждого: у Юрки, у Вали и у жившей с ними Валиной мамы — отдельные конурки в их отдельной квартире. Три комнаты на троих!

Только три подробности омрачали их жизнь в этих трех комнатах: они существовали в растленную эпоху, в растленной среде и в растленной стране. Все остальное было просто олл райт!

...Итак они шли к доктору, Гаврошка и ее Старшая Сестра, шли пешком по длинному, зловещему Калининскому проспекту, с его новыми серыми домами, с его вымученным модерном, с его какой-то каменной бесчеловечностью.

Они нарочно вышли на час раньше, потому что в последнее время все забывали и путали. Худо им стало. Обрушилось горе, от которого у Вали сделалось что-то вроде сотрясения мозга. Внезапно на ее глазах умер Юрка. Сердце. Ишемия. У него был врожденный порок, вроде бы компенсированный. Стенокардия. Гипертония. Нефрит. И еще несколько популярных и редкостных болезней разом. А недавно начала развиваться последняя, самая страшная. Ему стало как-то спокойно не хотеться жить.

Это было необыкновенно для него, жизнелюба. Он так же любил увлеченно говорить, подолгу и откровенно, как Валя любила молчать и слушать, даже движением губ не выдавая своих мыслей. Любил выпить, что там греха таить, любил курить, вкусно есть, развлекаться. И вот...

„Может быть, просто кончились его биологические часы?“ — пыталась утешиться Валя. Но не верила себе. Тут было что-то другое, только она не могла понять, что? В то самое мгновение, когда она увидела, как Юрка, только что затянувшийся папирсом, вдруг умер, какие-то пластинки в ее мозгу сразу онемели, как клавиши испорченного рояля, и перестали передавать полную информацию из окружающего мира.

Вороха мыслей, шурша, сплетались в ее голове в длинные, путанные представления. Ей словно бы виделись обрывки какого-то пронзительно странного фильма на выцветшей пленке. И сама она участвовала в этом фильме, и растерянно узнавала себя в нем.

Вот ее привезли в большой дом, где сильно пахнет хлороформом. В широком белом коридоре — старинные знакомые, возникшие откуда-то из небытия, словно выполняя ритуальный обряд, подходили и целовали ее в щеку. Потом она увидела спящего, засыпанного цветами Юрку и просила у него за что-то прощения, и гладила его непривычно блестящие волосы. Потом...

Автобус. Долго шел автобус. Впереди плыли лег-

ковые машины. Сначала Вальку толкнули в одну из них, но кто-то сказал, что вдове положено ехать с народом. Какой вдове? С каким народом? Она сделала вид, что понимает. Ее снова толкнули. На этот раз в длинный, жуткий, похожий на душегубку, серый железный короб. Потом...

Какие-то речи, снова возле спящего Юрки. Кажется, кто-то читал стихи. Играли плохую музыку, как на выборах. Женщина с казенным лицом объявила, что церемония прощания окончена.

Дома Валька оказалась в окружении множества веселых людей. Они ели, пили, даже шутили и смеялись, только почему-то не хотели чокаяться. Ей казалось, это Юркин день рождения, который они давно решили шумно отпраздновать. А может, отмечали сдачу его новой картины? Она забыла название и сюжет. Неважно!

Все на свете халтура, большая или малая, различна лишь цена, какую платит заказчик. Институтский приятель, сидевший рядом с Валькой, видимо, для ее утешения, рассказывал изношенный анекдот: в одной деревне жили два старых фельдшера — Иван Иванович и Петр Петрович, — много лет они лечили местное население ото всех существующих хворей и считались отличными медиками, лучше иных врачей. Но вот настала пора престарелому Ивану Ивановичу помирать. Родные позвали к нему Петра Петровича. „Дай-ка, что ли, послушать твой пульс“, — предложил Петр Петрович отходящему коллеге. Но тот, приподнявшись, бросил на него укоряющий взгляд: „Передо мной зачем придуриваешься? Уж мы-то с тобой знаем, что никакого пульса нет“.

— Пульса нет! Нет! Брось убиваться, Валька, все там будем, — дружно выкрикали гости. Вера в то, что пульса нет и, стало быть, не существует никаких, высокопарно выражаясь, моральных ценностей, давно уж была выстрадана всей их компанией.

Гости, все больше киношники, сценаристы и ре-

дактора, дневавшие и ночевавшие в их доме, по очереди клялись до гроба не забывать Валю и целовали ей руки мокрыми, отвратными губами. Почти все они никогда потом о ней и не вспоминали.

Приходить в себя она начала недели через две. Услышала плач сразу тяжело постаревшей своей матери. Каждый день их навещали мамины подружки, сердобольные, разговорчивые. Забываясь временами, Валя очень беспокоилась, что шум помешает Юрке работать.

Ночью она почти не спала. Но привычно исполняла свои обязанности: убирала квартиру, мыла посуду и гуляла на бульваре с любимцем Юрки белым щенком-боксером, носившим в паспорте знатное имя: Лорд Джим Поросенков. Поросенковы была фамилия людей, у которых Валя с Юрой купили недавно свёрхпородистого месячного пса, сына, внука и правнука чемпионов, имевшего, судя по его пространной родословной, такую бездну родственников в Англии, Франции и Германии, не говоря уж о всяких там слаборазвитых странах, что его наверняка не взяли бы на работу в сколько-нибудь порядочное советское учреждение.

Пыталась Валя и (как привыкла раньше) ходить в магазины за продуктами, но часто забывала, куда и зачем пошла, и возвращалась с пустой сумкой. Неоконченная халтура — срок договора уже истек — пылилась у нее на столе. Это больше всего пугало ее мать: Валя всегда была аккуратна в работе, и хоть Валя и Юра много халтурили в прошлые годы и нагорбатили себе кое-какой литературный задел, мать все же беспокоила не то болезнь, не то упрямая леность дочери, внезапно возникшая и укоренившаяся в ней. Она пыталась и кричать на Валю, и приласкать ее, но понимали они друг друга, с тех пор как Валя себя помнила, не больше, чем инопланетяне.

В эти трудные дни мать собрала нечто вроде консилиума, пригласив к ним троих людей, чьему мнению очень доверяла, хотя вряд ли столь различные по ха-

рактерам и образу жизни существа могли вообще о чем бы то ни было иметь одинаковое мнение.

Главная мамина подружка, тетя Нюра, дама с отточенным носиком и щедро нарумяненными щеками, считалась в своей компании эрудитом. Отчасти ее авторитет держался, видимо, на профессии покойного мужа, состоявшего на ответственной должности в органах милиции. Ему не повезло: за использование служебного положения в корыстных целях бедняга потерпел: побывал в заключении и не перенес его. Некоторое время Нюре, оставшейся вдовицей безо всякой профессии, приходилось трудно, но в конце концов она пристроилась в торговую сеть кладовщицей, по той же стезе пустила единственную дочку Лидочку и ныне вполне благоденствовала.

Валя давно догадывалась, что Нюра здорово не любит их с Юркой, но и раньше, и особенно теперь это мало ее интересовало. Зато второй член триумvirата, родной Валин дядюшка, брат матери, дядя Федя, по-видимому, любил ее, по-своему. Он был по профессии лабухом, то есть музыкантом из не слишком знаменитого оркестра, и очень одиноким человеком. Детей у него не насчитывалось, жены почему-то быстро его покидали; и попробовав раз эдак пять наладить счастливую семейную жизнь, он махнул рукой, решив, что с современными бабами каши не сварить. Ну их совсем!

К племяннице и ее мужу дядя Федя относился с откровенной жалостью, в его глазах они выглядели несчастными чудаками, совершенно не заботящимися о своем здоровье, а здоровье с юных лет стало культом и единственным смыслом жизни дяди Феди.

Увидев однажды, как Валя жарит мужу бифштексы с кровью, он пришел в совершенный ужас, пытался доказать, что подобная пища немедленно вызовет самые тяжкие последствия: от катарра горла до паралича нижних конечностей. Лет через десять, когда не стало Юры, дядя Федя расхаживал, покачивая головой, по

квартире и все твердил про себя: „Чего можно было ждать от тех бифштексов! Люди совершенно не думали о своем желудке, вот и...”

Третьим в компанию мама пригласила „представителя молодых”, Петрика, бывшего однокурсника Вали и Юры, а ныне ответственного работника кинокомитета. К великому Валиному удивлению, Петрик пришел, пренебрегши своим высоким положением. Прибыл на служебной машине. И, пока тетя Нюра и дядя Федя о чем-то таинственно шушукались в комнате матери, он зашел к Вале. Петрик не был на похоронах, находился в заграникомандировке и теперь спешил отдать, так сказать, долг.

Искренне взволнованный (он хорошо относился к Юре), Петрик долго не мог ничего сказать Вале, и они молча сидели рядом, вспоминая каждый про себя бывшее, такое недавнее...

Несколько погрузневший, отпустивший бороду а-ля шкипер, Петрик все же мало изменился со студенческих лет. Валя сказала ему об этом. Петрик удовлетворенно кивнул:

— Я и в душе не изменился, и к старым друзьям отношусь по-прежнему. Помогаю, чем могу. Делом! А тебе хотел бы помочь советом. По-моему, это для тебя самое важное. Человек ты целеустремленный, работенку себе сама выбиваешь, но... Слушай, не обижайся, сейчас у тебя отчаянье, у всех такое бывает, потом оно пройдет, будешь жить, писать.

— Что писать? — спросила Валя.

— Что захочешь.

— Нешто светопреставление ожидается в России? Нешто крепостное право для литераторов отменено?

— Ладно, брось свои резкости, — покачал головой Петрик. — Что-то чересчур ты, мать, стала откровенна. Вот уж истинно: в тихом омуте черт-те что водится. Понимаю, не только Юрина смерть тебя терзает, свое положение тоже. Живой о живом думает, это уж так. А

ты сама догадываешься, почему до сей поры тебе было особенно трудно?

— Не знаю... Иногда одно думаю, иногда другое.

— Трудно тебе потому, что договора на студиях с тобой заключают, а художнички по ним не снимают, пьесы твои сперва на щит поднимают, а потом режут, и лишь по единственной причине: ты, милая, пытаешься сидеть между двумя стульями, между двумя лагерями, то есть. И. невинность соблюсти, и капитал приобрести. А это, пора понять тебе, невозможно. Руку ты крепко набила, хочешь всерьез в люди выйти — сможешь. Выбери чисто спекулятивные темы — сразу дело пойдет. Станешь по-прежнему упрячиться: сценарии о лирической любви, без партсобраний, рассказы о природе — еще круче в оборот возьмут, к тому идет. Халтурки мелкие ты, конечно, добудешь, с твоими спартанскими вкусами на жизнь себе заработаешь, но... тебе ведь не то нужно!

— Теперь уже все равно, — сказала Валя.

— Брось! Выполняй соцзаказ — все мечты сбудутся. Я тебя поддержу.

— Почему соцзаказ? Барский заказ!

— Пусть так. Но эти баре нас кормят. А ты им руку ни целовать, ни кусать не желаешь.

— Желаю. Не смею только. Много нас таких.

— Ага-а! И не нужно сметь. Вот меня возьми: плохо мне живется? Сам на виду, жену (она у меня, ты знаешь, воспитательница детского сада была) на редакторское место определил, двое сыновей в английской школе — в дипломаты их планирую вывести. И выведу! Если нужно, ничего для них не пожалею, взятку самую огромную потребуются дать — дам. Машин легковых у меня две — „Волга” да „Жигули”, три холодильника, гарнитуры во всех четырех комнатках, ей-Богу, я в доме Хемингуэя на Кубе был — там мебелишка победней моей. При коммунизме живу! И совесть моя при том чиста. Ни на кого доносов я не писал, ни-

кому жизнь не погубил, наоборот, сколько людей осчастливил, пробивал их работы, правильные, конечно, на нужные темки, а брал за это куда меньше, чем другие берут. У меня все на доверии обоюдном, без обмана. Уж ты-то знаешь!

— Знаю, — кивнула Валя. — Слушай, Петрик, у нас разговор не для стенограммы, девяносто девять из ста — я не выживу, горе меня так или иначе задушит. А один процент... Что если мне выбрать тот стул, ты понимаешь? Все-таки смысл жизни.

— С ума спятила! Тебе ведь не двадцать, погибнешь сразу и глупо. И чего ради?! Разве ты веришь, что советскому народу большие свободы нужны, чем сейчас? По-моему, наоборот. Помнишь, по диамату зубрили, навек я запомнил: каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Маркс, что ли, изрек.

— Энгельс. Прав он, скорее всего, ученый немец.

— Вот видишь! В левые нынче одни сентиментальные идеалисты определяются, которые жизнь не ведают. Не спорю, может, они люди очень даже хорошие, субъективно, но объективно — вредные. Зря волнуют молодежь. Я — отец, меня это остро беспокоит, так что все обдумал, будь спок. Говорю тебе, как своим сынам: к ним одни дурачки зеленые тянутся.

— А мне куда?

— Тебе? В единственную умную, настоящую партию, какая есть на земле. Я с тобой другой раз ни в жизнь так откровенно не заговорю, хоть и однокорытники мы. Сама понимаешь... Но нынче, под настроение, как родной, тебе советую: вступай в нашу партию и будь счастлива!

— В КПСС?

— КПСС — это следствие, а партия та называется КВД. Расшифровывается: куда ветер дует. Собственно говоря, если даже к нам какие-нибудь меркурианцы прилетят, эта партия меня и при них поддержит. У меня, знаешь, наследственное к ней пристрастие, еще мой па-

па в ней состоял и меня, спасибо ему, туда благословил. Ну как? Туда и без рекомендаций принимают, и анкетные данные большой роли не играют, — улыбнулся Петрик.

— Нет, все-таки ты очень изменился за эти годы, — вздохнула Валя, — поумнел. Но в партии твоей, прости, состоять так скучно, что лучше и совсем не жить.

— Почему? — удивился Петрик.

— Мне кажется, в каждом смертном должен трепетать кусочек общечеловеческой совести.

— Что? Аа... — Петрик кивнул самому себе, словно сбылись какие-то его предположения, и пристально с головы до ног оглядел Валу. В светло-серых его, утомленных от вечерней работы глазах мелькнуло доброе сочувствие.

— Отдыхай, Валуша! — сказал он, поднимаясь. — Пошутил я, нет никакой партии. А вот щеки у тебя горят, больные какие-то. Жара нет? Ну, ладно, пойду с мамой твоей потолкую. — И вышел, осанистый, цветущий, в костюме из натурального английского шевииота, последний крик. Вышел на цыпочках, словно боясь разбудить спящего малыша.

Да, поумнел Петрик прямо неправдоподобно, ведь в институте слыл тупицей и последним учеником, ленивый над ним не смеялся. Постоянно повторяли глупую остроту: „Петрик не петрит"... На тебе, как развернулся! Конечно, поездил по свету — фестивали, они и в Париже и в Лиссабоне, — людей повидал, кругозор расширил, вырос.

Валя побрела на кухню поставить триумвирату чаю. Из комнаты матери то отчетливо, то смазанно вылетали слова и фразы.

— Бу-бу-бу! — верещала тетя Нюра. — Книгами всю квартиру захаосили, моя Лидочка тоже любит почитать перед сном, так берет в библиотеке „Огонек”, как все нормальные люди, а Валя с муженьком чуть не половину заработка на книги выбрасывали, рассказать кому — не поверят! Чисто полоумные.

— Не скажите, Анна Ивановна, — басил дядя Федя, — когда я занимался по классу фортепьяно у профессора Брюшкова, у него в кабинете, можете представить, все стены в стеллажах. Но, разумеется, не романы какие-нибудь, серьезные музыкальные произведения.

— Да и вообще, — мягко заструился Петриков тенорок, — собственно говоря, собирать книги сейчас модно и неплохое к тому же вложение сбережений. Я сам недавно целую библиотеку приобрел, по случаю.

— Но собаку вы ведь на жилплощади своей не держите? Не кормите собаку? — азартно наступала тетя Нюра.

— Почему. Держу. Эрдель-терьера. Это тоже сейчас модно, да и принято в нашем кругу, — объяснил Петрик. — Тут другое...

— У композитора Скрябина был сенбернар, — глубокомысленно сообщил дядя Федя. — Ля-до звали, или нет — До-ре...

— Все равно они оба ненормальные, и Юра покойный, и Валя! — твердила свое тетя Нюра. — Интеллигенты несчастные, они большей частью психованные. Почитайте, что в газетах пишут! До того мешаются, что из собственной родины уехать норовят в буржуазные страны к капиталистам, а здесь все в сумасшедших домах сидели. Сама в „Правде” читала, мне Лидочка специально газету дала, сразу обратила внимание, вроде, говорит, Вальки, эдакие.

— За границу навсегда уезжают только предатели родины, — официальным тоном отрезал Петрик и добавил: — Другое дело, если они получили там наследство.

— Это конечно, — согласилась тетя Нюра, — кто же свой кусок мимо рта пронесет?

— А Валя, мне кажется, в этом вы правы, — благосклонно заметил Петрик, — нуждается в помощи невротата.

— Невротатолога, — стеснительно подсказал дядя Федя, знавший толк в медицинских терминах.

— Вот-вот! Она и в институте была очень впечатлительна. Ну, месяц можно погоревать, это даже положено, но так... И глаза какие-то... И трезвости суждений незаметно, свойственной возрасту. Моему старшему шестнадцать, так он по пониманию жизнь куда зрелей ее.

Удивительно, но триумфиврат пришел к единому мнению. А может, и не удивительно...

Вале было все безразлично. И на следующий день мать отвела ее, покорную, как овечка, в районный психоневрологический диспансер, убедив, что только там ей могут прописать хорошее снотворное.

В диспансере оказалось даже занято: в округлой комнате, заставленной вокзальными скамейками, сидело в ожидании приема человек десять на вид абсолютно здоровых, вежливых, спокойных людей. В их лицах, одежде и манере поведения ничто не обращало на себя внимания — заурядные советские люди терпеливо чего-то ждали, как ждут они всю жизнь, надеясь на лучшее. Чего именно? А Бог его знает! Не может же всегда быть так плохо... Эти или похожие мысли легко было у каждого прочитать на лбу, как рекламу нового фильма над кинотеатром.

Между скамейками сновали санитарки и сестры, все, как на подбор, немолодые, дюжие, с манерами неисправимых квартирных склочниц, перекликавшиеся, как в лесу, резкими визгливыми голосами. И проходили торжественно, с обликом судей, чей приговор окончателен и обжалованию не подлежит, врачи в белых халатах. Некоторые из них выглядели столь примечательно, что встретить Валя кого-нибудь похожего на улице в былое время, она обязательно перешла бы на другую сторону.

Особенно выделялась быстрая, мелкая тетенька, выкрашенная самодеятельно в платиновую блондинку, с глубоко запавшими желтыми пуговицами меж грубо размалеванных ресниц. Халат ее был неправильно за-

стегнут, руки ходили ходуном. Вале сразу стало интересно и захотелось, чтобы это существо оказалось ее участковым врачом. Ей повезло. Но не очень.

Существо вызвало ее к себе в клетушку с решеткой на оконце, сходу принялось орать нечто бессвязное и писать в заведенной на Валю карточке, потом объявило: Вале нужно немедленно лечь в психбольницу, при остром горе от потери близких так положено.

Услышав, что Валя в больницу не хочет, Участковое заголосило, как припадочное, угрожая вызвать санитаров с носилками и отправить Валю в больницу насильно. Однако, поглядев на журналистское удостоверение, которое Валя с тихой угрозой ей показала, существо сменило гнев на милость и отпустило Валю с миром восвояси, взяв, правда, с матери подписку, что она будет следить за Валиным поведением.

Еще оно прописало Вале какое-то лекарство. Приняв одну таблетку, Валя упала у себя дома и сильно ушибла голову об угол стола. Позже она узнала от знакомого врача, что принимать это лекарство следует только лежа в постели, а лучше совсем не принимать, оно очень будто бы токсично и вызывает разные внутренние заболевания. Но откуда было Вале про то слышать? А Участковое то ли само не знало, то ли в своем лихорадочном состоянии позабыло.

Лечение в диспансере, к счастью, на разбитой голове и закончилось. Правда, через несколько дней Участковое по телефону вызвало ее снова и повелело немедленно явиться к районному психологу. Удивительная должность, если поразмыслить! Возражать не приходилось, разговор тек на тех же волнах, на каких в районных отделениях милиции разговаривают с подвыпившими хулиганами, разве что чуть поглубже. В отличие от хулиганов предполагалось, что психбольной не посмеет ответить.

В отдельном домике за диспансером, в тихой, голубой комнатке на накрахмаленном белом диване

громко храпел дяденька-доктор. Когда Валя, постучав в дверь, невольно его разбудила, он долго не мог ничего сообразить. Его поцарапанная, распухшая, тупо изумленная физиономия напомнила Вале некоторых ее знакомых, процветающих, но, увы, совершенно спившихся писателей.

С трудом прочитав в направлении диагноз чудной Валиной болезни: „реактивное состояние” — дяденька-психолог потребовал, чтобы она кратко ему изложила, что с ней произошло, а когда Валя, задыхаясь от муки, рассказала о смерти мужа, недоуменно пожал плечами:

— Чего это он так рано? Мог бы и не помирать! — зевая, пробормотал врач, с трудом разлепляя вздутые губы и тараща на Валю выпуклые, как у рыбы, водянистые гляделки.

Затем он решительно объявил, что сам болен и никого нынче лечить не может. Валя предложила ему принести какое-нибудь лекарство, но психолог категорически отказался от ее помощи и проворчал Вале вслед, что болен оттого, что психи обрыдли ему до белой горячки. Какое там лекарство: бедняге просто требовалось срочно опохмелиться. Бедный, бедный психолог!

Пришлось наябедничать на него Участковому существу, потому что оно требовало у Вали бумажку от дяденьки-психолога. Вообще все в прелестной лечебнице для бедных (бесплатное лечение! Ура! Вычеты из жалованья ежемесячно — не в счет) было построено на бюрократических бумажках и угрозах и неудивительно, что при столь прогрессивной методе больные выздоравливали, как мухи.

Когда Валя уже вышла из диспансера на улицу, ее догнало Участковое. В гражданской одежде оно выглядело менее больным и чем-то явно было озабочено.

— А у меня уже смена окончилась! — развязно сообщило оно Вале, будто добрую приятельницу беря ее под руку. — Нам по дороге, кажется... А если и не по дороге, я вас провожу.

Валя молча пожала плечами.

— Не удивляйтесь! Я вам вот что хотела сказать... В диспансере неудобно. Если бы вы были моей подружкой или родственницей, я бы посоветовала вам больше никогда не ходить сюда. Понимаете, мы не такие плохие, но от нас требуют следить, нас порют, если мы не отметим отклонение от нормы у таких людей, как вы, ну, у творческих работников, или у научных. Я не поставила вас на учет, а другой врач мог бы... Но я стараюсь по-честному. Зачем мне помогать держать на мушке здоровых людей? Я сама дошла здесь до полной невротии... А вы ничем не больны. Не ходите к нам, от горя ведь мы не лечим! — и, порывисто пожав Вале руку, Участковое неровными, крупными шагами заспешило в обратную сторону. Оно было много разумней, чем казалось на первый взгляд. Много, много разумней.

Итак, стало быть, лечение закончилось, а лучше Вале не становилось. Горе терзало ее. Ночью она стала забываться на несколько часов, но спала почему-то на полу, забившись в угол, как больной зверь, к великому удивлению цивилизованного щенка Лорда Джима Поросенкова, мирно почивавшего на своем мягком матрасике, возложив голову на личную подушку.

На рассвете Валя просыпалась, дрожа от страшных снов. Все ночи она убивала. Ее жертвами становились дети. Обычно это были девочки, нарядные и веселые. Они играли на залитой солнцем светло-зеленой поляне. Тут были и кокетливые девчонки-подростки, ходившие парами, в обнимку, и шептавшие друг другу на ухо какие-то секреты, и совсем крохи, бродившие между старшими с куклами и разноцветными мячами, или загоравшие, уткнувшись лицом в траву.

Девочки лет восьми-десяти, собравшись в кружок, увлеченно слушали, как девчонка их возраста, очень худая, кареглазая, скуластая, со странно голубыми белками, одетая беднее, тусклее других и нездорово

бледная, точно в первый раз вышла на волю после тяжелой болезни, рассказывала сказки, видно, импровизируя их на ходу и хорошея от вдохновения.

Тонкий ее рот подергивался от сдержанной улыбки, правая бровь чуть поднималась ко лбу, девочка видела то, что сочиняла, и наслаждалась своими фантазиями, восхищая слушателей.

Сказки были наивны беспредельно и начинены конфетной моралью. Невольно пожимая плечами, Валя не могла уразуметь, чем они нравятся глупым детям? И почему-то она заранее знала, что дальше придумает рассказчица. А потом вдруг узнавала ее самое: это была Гаврошка, жившая еще без контроля Старшей Сестры, это было ее лучшее, безгрешное я.

Постепенно все больше детей собиралось вокруг нее. Снисходительно улыбаясь, подходили старшие, прислушивались, так, от нечего делать, заинтересовавшись, звали малышкой, нетерпеливо тормозили тех, кто задремал на солнышке, показывали жестами, что их ждет что-то очень интересное.

Тогда, наконец, поднимались и младшие, мало что понимая, но неизвестно чему радуясь, они тоже подходили к Гаврошке и слушали ее, смеясь, простодушно показывая младенческие, розовые десны.

Но на поляне появлялась Старшая Сестра, старая, измученная, похожая на Гаврошку, как бабушка на внучку, и Гаврошка пугалась ее и замолкала. И еще что-то такое происходило, как наплыв в кино, но не было уже Гаврошки и Старшей Сестры, а вместо них на поляне стояла одна Валя и глядела на детей.

И не хотела глядеть, но не могла, не в силах была отвести взгляд. И дети смотрели на нее, словно против их воли, и каждая девочка, впившись в нее глазами, падала и умирала. Слишком много горечи переполняло душу Вали, знание жизни, ужасное знание жизни из Валиных глаз переливалось им в души, и дети не могли перенести его.

Они умирали по-разному. Сразу, мгновенно, и долго, в муках. А Валя ничего, ничего, ничего не могла поделать. Не могла отвести взгляд, не могла спасти даже одну, даже самую маленькую, даже вон ту, беленькую, с живым котенком на руках. Ни-че-го...

И так из ночи в ночь, пока не просыпалась. У детей были разные лица, разные наряды. Иногда среди девочек появлялись мальчишки. Один раз все дети были маленькими индейцами. Но всегда-всегда это кончалось гибелью всех до одного.

По количеству совершенных преступлений она давно уже превзошла знаменитого безработного актера оперетки Ионесяна и приближалась к рекорду, установленному безработным маляром Алоизом Шикль-грубером, более известным под звонким псевдонимом Адольф Гитлер.

Днем у нее находились другие занятия. Дело в том, что подробности Юриной смерти сжигали сердце Вали. За час до внезапной своей кончины, поворчав на мать Вали, которой несколько раз звонила по телефону какая-то бестолковая старушка, собиравшаяся пойти с ней в кино, а Юра ждал делового звонка, он почувствовал боль в груди и лег.

По-видимому, это был обычный приступ стенокардии, какие случались у него еще со школьных лет. Приступы сразу снимались лекарствами, и сейчас Валя немедленно накапала ему какое-то якобы чудодейственное снадобье, и действительно, минуты через две-три все прошло.

Но Валя почему-то особенно забеспокоилась и положила руку на телефон, чтобы вызвать „Скорую помощь”.

— Не смей! — закричал Юра. — У меня уже ничего не болит, а они увезут меня в больницу и угробят.

И Валя послушалась и сняла, сняла, сняла свои проклятые пальцы с диска, с круглого холодного диска, с черных цифр на серебристом модном телефоне, с

цифр, которые бесконечно легко было набрать: ноль три, ноль три, ноль три...

Сняла, хотя хотела позвонить, но уступила привычно мужу, да и сама увидела, что боль у него прошла и щеки порозовели; и, как всегда, приступ, растаяв, смешился состоянием эйфории.

Потом он собрался пойти погулять на бульвар — подышать воздухом, а она уговорила его до завтра не выходить и положила горячую грелку к ногам, как советовал врач. Они еще поговорили о чем-то, даже посмеялись, и Валя была счастлива, так беззаботно счастлива оттого, что и на этот раз угроза миновала, и они вместе, вместе!

Прошел час. Последний их час. Она сидела в комнате у Юры и улыбалась ему, лежащему с газетой на диване, улыбалась каким-то шуткам своего мужа, нет, скорее не мужа, а больного ребенка, брата и лучшего друга одновременно.

Вдруг он потребовал, чтобы Валя закрыла в комнате форточку, если не хочет его простудить. И она влезла на подоконник за его диваном. В их старом доме были высокие потолки и высокие окна, и при Валином среднем росте добраться до форточки было нелегко.

А когда она прыгнула с подоконника, то увидела, что Юра лежит с папиросой в руках и у него нездешнее лицо. Он умер, затянувшись. И послал ее закрывать окошко, видно, для того, чтобы она не уговаривала его не курить после сердечного приступа. Такая банальная история...

И банально также, верно ведь, что у Вали после этого сделалось, как его, реактивное состояние. От слова реакция, что ли? И она вбила себе в голову, что вызванная вовремя „Скорая помощь” спасла бы мужа, ну, хоть на несколько лет. И значит, она убила его, не нарочно, конечно, невольно, но убила. А судить за страшное преступление ее никто не будет. Значит, она сама, сама, сама должна себя судить.

Ведь и кроме последнего преступления ей было, что поставить себе в вину. Боясь за Юркино сердце, она последние годы осторожно выжила из дому всех сильно пьющих его друзей, убежденная, что никакие они не друзья, а просто собутыльники, любители выпить на чужой счет, лизоблюды и подонки.

А Юрка вдруг заскучал и стал сутками лежать в своей комнате и грустно молчать. Неужели тосковал по этим беспробудным выпивохам? Ведь он и сам как будто начал чуждаться их, понял им цену... Неужели разлука с ними сделала его таким вялым и несчастным?

А может быть, нет? Может, ему в эту зиму вообще все стало безразлично? Он не раз тоскливо повторял Вале: „Скоро я уеду... А тебе плохо станет без меня”.

И Валя не понимала, что это значит? Куда он уедет? И думала, что все это нервы, нервы. Или переутомление. И уговаривала его пойти в поликлинику. И он врал, что ходил, и что кардиограмма у него лучше, а давление в норме. И только после его смерти она узнала, что он уже много месяцев не был у врача.

Он стал частенько приходить домой не очень пьяным, но и не очень трезвым. Поил где-то редакторов своего будущего фильма. Он утверждал, что угощать их постоянно необходимо, так же, как и делиться значительной частью гонорара.

Насчет последнего Валя на собственном опыте узнала, что это чистая правда. Ее тоже, как правило, грабили, если не редактора, так мнимые соавторы, часто и не читавшие их „общих” произведений.

Но ведь можно платить да не пить? Она так и поступала, не пила вовсе, хотя на ее глазах спились несколько баб-сценаристок, хотя женщин в их профессии встречалось вообще немного, и то обычно сильно защищенные влиятельными папами или мужьями. Хотя нередко было так горько на душе, что впору напиться в усмерть.

А Юрке с его слабым сердцем вовсе нельзя было пить. Алкоголь убивал его. Он знал это. Но словно сам торопил смерть. Ему очень не везло в ту зиму. Один за другим на больших киностудиях закрылись три его было запущенных фильма. И трудно было понять причину...

Итак, всю ночь в Валиной комнате шел суд. Тени деревьев с бульвара царапались в окна. Издали кивала удивленно колоколенка церкви, где венчался когда-то со своей роковой Натали Александр Пушкин. Но Валя не открывала форточку и не впускала старых друзей. Суд длился до рассвета.

Гаврошка и Старшая Сестра становились поочередно то обвинителем, то преступником, то свидетелем. Стороны яростно спорили:

И сказала Старшая Сестра:

— Ну и что? Все в конце концов помирают, и все теряют близких. Не ты первая, не ты последняя. И все тут!

И ответила Гаврошка:

— Ты пошлачка!

И обиделась Старшая Сестра.

— Это поговорка, невежа. Как ее, эта самая, народная мудрость!

И ответила Гаврошка:

— Такой не существует! В каждом народе лишь несколько тысяч — народ. Остальные скользят по проложенной кем-то сильным лыжне и повторяют бессмысленно избитые истины. Это роботы, запрограммированные повторять, повторять... Я тоже ползла по чужой лыжне. Тащилась, спрятав в душе проклятья, спрятав от мужа, от друзей, даже от себя. Как все вокруг, я день за днем, год за годом покорялась чужой воле и совсем потеряла свою. Я человек, привыкший поступать как робот, и поэтому я выполнила то, что мне приказали: не позвала врачей к тяжело больному мужу. Я — убийца!

И развела руками Старшая Сестра:

— Чепуха! Его убила неизлечимая болезнь. Он знал, что уходит, и хотел умереть дома, в своей постели. Все произошло, как он пожелал, ты не нарушила его последней воли. А сейчас у тебя шок, от горя. Ты временно немножко не в себе, понимаешь?

И возразила Гаврошка:

— Почему временно? Мещане считают сумасшедшими тех, кто не корова и не свинья, для кого не стал целью жизни тепленький хлев, отделанный блестящей плиткой. Разве я кусаюсь или бегая на четвереньках?

И ухмыльнулась Старшая Сестра:

— А руки, ручки? Такие бывают у здоровых? Ты тысячу раз в день, сама того не замечая, словно крутишь пальцами телефонный диск. Звонишь в „Скорую”, а? Переигрываешь ту сцену? Дубли, дубли, дубли. В кино можно запросто оживить убитых, но ведь мы не на съемках!

— Страдаю невыносимо, — призналась Гаврошка.

— Пожалуй, в этом ты права, — согласилась вдруг Старшая Сестра. — А зачем нам страдать? Человек рождается для этого самого, для благополучия. А что у нас с тобой впереди? Какие перспективы? Мы — из низшей касты. Халтуры, халтуры, халтуры, крупные иногда, редко, мелкие — часто... Ханжество, ложь, унижения... Зачем? Знаешь что, Гаврошка, не сделать ли нам дубль другой сцены, той, что у нас постыдно когда-то не получилась. Ты понимаешь, о чем я?

И Гаврошка шепнула:

— Да.

— Но только без боли. Мы достаточно намучились за жизнь, — потребовала Старшая Сестра.

— У меня готовы снотворные таблетки, — успокоила ее Гаврошка. — Может, мы и не заслужили легкого ухода, но здесь я помилую нас. Как добрый государь-император, заменивший декабристам четвертованье повешеньем. Мы заснем и не проснемся. Я не могу без

Юрки. Без его зеленовато-карих глаз с искорками. Все время менявших выражение, помнишь? Горестно-тусклых от водки, когда он пил ее по литру, превращаясь в своего антипода, грубого, злого, поливающего весь мир нецензурной бранью, радостно засветившихся, когда он случайно нашел и прочитал впервые за два года до смерти мои настоящие рассказы, запертые в дальнем ящике, и вдруг понял: я не только халтурщица. Помнишь? Офелия и Джульетта — щенки по сравнению с нами, современными советскими бабами, такими истрепанными жизнью с юности, такими усталыми с детства, и все же умеющими любить!

— Друг Аркадий, не говори красиво! — язвительно оборвала Гаврошку Старшая Сестра. Она вообще обожала братья напрокат чужие афоризмы. — Таблеток-то хватит? Не ошибись как в тот раз, помнишь?

— Не надо, — попросила Гаврошка. Она все помнила, всегда помнила, а в эти дни помнила так, будто бешеный лисенок грыз ей ребра.

— Да, а что ты сделаешь с Юркиными рукописями? — спохватилась Старшая Сестра, когда приговор к высшей мере был окончательно вынесен ею и Гаврошкой и утвержден Вaley. — Сожжешь их, а? Или отдашь кому на сохраненье?

Лишь теперь Валя вспомнила об Юркиных рукописях. Когда-то давно, утешая мужа после очередной киношной обиды, Валя уговорила его попробовать писать прозу. Ведь кино — ширпотреб, семечки, а проза — истинное искусство, хлеб.

И Юрка стал писать повести. Он написал их целых восемь, в промежутках между халтурами, художественными, документальными, научно-популярными сценариями. Повести были добры и яркие, а главное — честны. В них тосковала правда. И притом не очень уж криминальная правда. Юрка писал о своем детстве и юности, о маленьком городке, где вырос, о сломленных, тихих людях, там обитавших.

Но редактор издательства, куда Юра принес самую обтекаемую из этих повестей (нарочно такую выбрал — вместо визитной карточки), почтенный, эрудированный, похожий ликом на Чехова в старости, опытный редактор изумленно развел руками:

— На улице зима, молодой человек, — сообщил он образно, — морозы и метели... Оттепели как будто не предвидится.

И эта неудача до глубины души потрясла Юрку, обычно умевшего все пересмеять. Он вдруг начал пить. И несколько месяцев пил по-страшному. Валина мать, с ужасом косясь на зятя, уверяла, что впервые в жизни видит синего человека. А Валя с отчаянья начала молиться Будде, чью сказочно славную статуэтку из розового камня, поддавшись непреодолимому искушенью, купила как-то на Арбате в комиссионке вместо необходимых зимних сапожек, за которыми отправилась.

Будда на время помог. Юрка вернулся в кино. Он писал запоем сценарий за сценарием, о любимом Валином Грине и о первой любви современного парнишки, живущего в мире стихов. По сценариям сняли фильмы. Но Юрка им не обрадовался.

Множество равнодушных глаз, каждая пара — барьер, — словно зачитали сценарии, смыли с них свежие краски. Мысли и слова кромсали, всяк на свой лад, добрый десяток тупиц, боявшихся каждого незатертого слова, не говоря уж о мыслях. Юрке казалось, что все безнадежно испорчено.

Но фильмы продали за границу, они получали там премии и шли с успехом. Только у себя дома их почти не прокатывали. И Юрка жестоко страдал от этой дискриминации и еще оттого, что Валины заработки стали играть значительную роль в их бюджете. Ему было невыносимо в чем-то зависеть — даже от нее. Он был горд. А копий фильмов печаталось так мало. И так мало начисляли потиражных! Его имя знали лишь снобы, киноманы... А он был честолюбив. Что с них возьмешь — с мужчин!

И постепенно, постепенно, постепенно он перестал верить в себя. Ему раздавили душу. Вот что с ним произошло. И он стал болеть и не захотел больше жить. И даже жалость к Вале не удержала его. А повести остались. Последнюю, слабея, упорно не желая лечиться, он написал уже от руки, не на машинке, как работал всю жизнь, и закончил в утро смерти.

Валя поняла, что не сможет бросить эти повести, восемь Юриных детей, на произвол судьбы. Но отдать их было некому. Как и большинство ее современников, она привыкла, давно привыкла не доверять ни единому человеку. Даже с мужем никогда не была до конца откровенна: ведь пьющий человек болтлив, а болтовня доводит до беды.

Спасая повести, она спасет лучшее, что было в Юрке, и, значит, он останется жить, останется, останется... И она начала спасать. От нуля. Знала, что рукописи нужно отправить из Москвы, ну, скажем, в Ленинград, чтобы там их напечатали или хоть в сейф какой-нибудь литературный положили и хранили до поры до времени... Валя понятия не имела, как это делается и через кого. Стало быть, требовалась отсрочка в исполнении собственного смертного приговора. А у нее не хватало сил тянуть. Она слабела с каждым днем.

От головокружения вся окружающая жизнь — и сиреневые с зеленым стены ее комнаты, и привычные гравюры на стенах, и люди, и дома, и деревья, — все словно просвечивало сквозь молочную пленку и казалось иллюзорным, как в кино.

Со своей крохотной близорукостью (минус единица) она вдруг начала спотыкаться на ровном месте, наткаться на стены, падать. Ноги сделались как будто непарными и за все цеплялись. Спина стала мягкой и гнулась, как у древней старушки. В эту компанию включились и волосы: за несколько первых бессонных ночей лоб пронизала седая прядка. Что-то сломалось в машине ее тела, и было занято наблюдать за этим как бы со стороны.

Подруги Валиной матери все чаще ужасались ее виду, утверждали, что она тает на глазах, а тетя Нюра все настойчивей твердила, что Валя от горя несомненно потеряет рассудок. Уж она знает!

И в конце концов Вале начало тоже казаться, что рассудок ее в опасности. В стене ее комнаты, сверху, был вделан вентилятор, закрытый плетеной дверцей. Вентилятор, похожий на клетку без птицы, похожий на тюремное окошко, похожий на кружева паутины огромного паука-невидимки, ни на что не похожий, ненужный.

Как-то на рассвете, проснувшись после очередных тяжелых снов, Валя увидела, как из вентилятора выскользнули длинные, крючковатые, красные пальцы и, извиваясь, понеслись по стене.

Валя пыталась убедить себя, что это просто тени, тени от ранних солнечных лучей, упавших на стену, но в глубине души она знала, что тени не могут быть кроваво-красными...

Они появились на миг и сразу исчезли. А утром, умываясь, она заметила на обеих своих руках странные черные пятна, словно следы тех пальцев, обжегших ей кожу. Валя старалась улыбнуться, представляя себе, как эффектно выглядели бы эти детали в фильме какого-нибудь Альфреда Хичкока, которого в институтских учебниках третируют как постановщика дешевых развлекательных картин, щекочущих нервы зрителей искусственными ужасами. Однако достаточно было поглядеть хоть одну из этих картинок, чтобы убедиться: Хичкок ставит талантливые и гуманные ленты, конечно, не без кассовой жути.

Но пальцы были не в картине... Валя отлично понимала, что такое может быть лишь в бреду, но черные пятна, сколько она ни мыла их всеми существующими средствами, не смывались и не меркли. Значит, она действительно сходит с ума, и ей грозит лечение у эскулапов образца тех, с которыми она уже имела честь познакомиться! Нет, много чести...

Даже если бы сам маститый старичок Зигмунд Фрейд, вернувшись на очаровательную планетку, где благодарные земляне едва не сожгли его в Освенциме, взялся бы лечить Валию, она ни за что бы не воспользовалась его помощью. Жить, хотя бы и здоровой, было ей невозможно. Незачем. Одинокому — везде пустыня, но Валина пустыня была еще населена скорпионами и ядовитыми змеями, и не обитало в ней ни единого, хоть сколько-нибудь близкого человека.

Страх перед собственной смертью был вообще ей чужд. Вале всегда было занято: а что Там? Иногда она верила в Христа с Его самоотверженной душой, в доброго еврейского фантазера, две тысячи лет назад решившего умереть в муках ради счастья всех людей вообще и Своего народа в особенности, как Ян Палах в наши дни, как многие другие антимещане во многие века, может быть, и на других планетах. Потому что именно в их пренебрежении к жизни таились истоки жизни.

А иногда она верила в антимиры, куда переселяются человеческие души и где им, конечно, конечно же, будет лучше, чем на Земле, словно запрограммированной для счастья тупиц. Только... Антимиров, наверно, бесконечное множество, и вряд ли она когда-нибудь разыщет там Юрку, да и других друзей, опередивших его.

Но даже если на том свете будет ничто и она просто исчезнет, распадется на атомы — и это мило! Ведь у атомов не болит сердце и они никого не любят сильнее, чем себя. Счастливые атомы!

Почти не высыпаясь, страдая от мучительной тоски, казня себя за смерть мужа, слабея час от часу, Валя находила еще силы днями мотаться по городу в поисках любого утешения, которое помогло бы ей протянуть время, необходимое, чтобы пристроить рукописи мужа. И главное — искать, искать, искать тропки к людям, какие могли бы ей помочь.

И в конце концов она нашла таких людей. Но они не могли помочь сразу. Нужно было ждать две недели. Это казалось невыполнимым. Неужели она не выполнит долг, свой святой долг перед Юркой?

И встревожилась Старшая Сестра:

— Беда мне с тобой, Гаврошка! Опять нас судьба в угол загоняет, а? Одно из двух: либо отчаянье неуправляемым станет и ты таблеток наглотаешься раньше, чем Юркины повести пристроишь, либо тебя саму к настоящим психам загонят. Пропаду и я, пропаду по твоей милости, ведь я к тебе приставлена как сиамский, нет, не кот, близнец.

— Да, — вздохнула Гаврошка, — с таблетками, я думаю, еще недельку-другую сумею обождать, но вот желтый домик уж очень нашим планам опасен. Вольют там в вены какое-нибудь лекарство, а я и забью язычком, как рыбка хвостиком. А со мною ведь солидные люди дело имеют. Кто я тогда буду? Хуже смерти всякой! Никого и ничего я не боюсь на свете, кроме Лифшица.

— Это еще кто? — удивилась Старшая Сестра.

— Запamятавала? Ну, тот самый психиатр, каким в литературных компаниях друг дружку пугать любят: сожми, мол, губы покрепче, не то к самому Лифшицу в лапы попадешь! Наверно, он какие-то недочеты в своей анкетке таким способом желает исправить и в спецбольнице для заключенных политиков не за страх, а за совесть трудится. Под его личным руководством, кажется, вливали какие-то лекарства и ученому с критическим направлением ума, и что-то где-то не то сказавшему генералу, и множеству мелких, неизвестных людей, помешавшихся на том, что не все вокруг них правильно и справедливо... А может, он и просто тупица...

— Тупишу-то обмануть легко! — рассудила Старшая Сестра. — Прикинуться, что ты еще глупей и невежественней его самого, есть такой приемчик. Только лучше к нему вообще не попадать, а?

— Скажу тебе откровенно, — призналась Гаврошка, — знаешь, что самое смешное?

— Нам не до смеха! — отрезала Старшая Сестра.

— И все же... При моем любопытстве неистребимом мне было бы занятно и дяденьку Лифшица пови-
дать, только возможности не представляется позволить себе подобную роскошь. Наш поезд на тот свет уже по-
дан. А если даже я в психушке смогу себя как умная
девочка вести, онемею вовсе, меня ведь там не меньше
месяца протерзают. За это время, чего доброго, и слу-
чай счастливый Юрины рукописи пристроить исчезнет.

— Удаль карлика в том, чтобы далеко плюнуть! —
присвистнула Старшая Сестра. — Кому ты что дока-
жешь, если даже Юрины рукописи и напечатают где-то
неведомо? Сам-то он, может, в глубине души и мечтал
об этом, но ведь не решился хоть одну попробовать
пристроить. Чего ты на рожон лезешь? Не лучше ли
сразу принять снотворное? Все равно впереди тьма бес-
пробудная!

— Я скорее дам себя сжечь заживо, чем допущу,
чтобы Юрины строчки погибли, — торжественно покля-
лась Гаврошка. — Не забывай: у всех людей в душах
обитают по нескольку жильцов, но один всегда глав-
ный. И у нас пока что командуешь не ты, не ты, не ты!

И молилась Валя розовому Будде: „Помоги, помо-
ги протянуть две недели. Честное слово, я очень пло-
хая, но не самая плохая на свете. А Юрка был совсем
хороший. Ради него помоги!“

Все же, наверно, она не выдержала бы этих черных
недель, если бы старая знакомая не нашла Вале врача.
Он работал в ведомственной закрытой поликлинике.
Валю временно туда прикрепили, знакомая сама слу-
жила там, в регистратуре, и знала всех врачей до тон-
кости, кто чего стоит. Регистраторша уверяла, что этот
психотерапевт — Настоящий врач, гипнотизер, и даже,
шутка сказать, недавно вылечил одну старушку от го-
ря, когда у нее внезапно умер муж.

И мать настойчиво стала заставлять Валью идти к этому Настоящему врачу. Правда, долго заставлять и не пришлось: повидать человека, который может гипнозом излечить от горя — смерти близких — занятно. К тому же помощь его, если он действительно мог ее оказать, была Вале необходима.

Многие считают гипноз каким-то шаманством или чепухой, но сама она давно еще случайно узнала, что это — могучая, логикой почти не объяснимая сила и что почему-то она ей здорово поддается. А вдруг? Ведь всего две недели... Четырнадцать дней и столько же ночей, и ужасные сны, и тоска по мужу, помноженные на четырнадцать. Она пошла бы к гадалке, к настоящему шаману, к бабе Яге!

Одно только беспокоило ее:

— Я, понимаешь, чего жду? Заставит он меня, как тот пропойца из диспансера, дяденька-психолог, о смерти Юрки подробно рассказывать, а я совсем с катушек долой, — заныла Гаврошка. — Ох, заранее тошнехонько, к сердцу ком полынный подкатывает.

— В подобных случаях следует брать себя в руки, — наставительно сообщила Старшая Сестра.

— Ну в каком смысле „в руки“? — возмутилась Гаврошка. — А если я не могу не чувствовать боли? А если я не академик Павлов, тогда как?

— К чему ты академика-то приплела? — удивилась Старшая Сестра. — Несчастье мое, даже к академикам и то уваженья нету. Чай, заслуженные они.

— Бес его знает, чем он заслуженный! Всю жизнь в Колтушах каких-то, под Ленинградом, голодных дворняжек куском мяса дразнил, а отсюда глубокомысленные выводы о человеческой психологии делал, потому что у них, вот чудо, слюнки текли. А потом некий Кольцов, тоже ученый, антагонист его, помнишь, одно из павловских основных положений — раз — и опроверг, и безо всякой собачьей помощи. Просто собственные мозговые извилинки напруг. А Павлов, ду-

шенька, сына любимого схоронил и сразу, чуть не с поминоком, собак истязать отправился. Да еще гордился, что после эдакого удара сумел овладеть собой не только внешне, но и внутренне даже. Во, герой какой!

— Мужественный человек, сильный, не тряпка, как ты! — одобрила Старшая Сестра.

— Ой ли? — скривила губы Гаврошка, — так ли? Насчет того, что человек звучит гордо, я с Алексей Максимычем согласна, но главное — то, что нас, двуногих, человеками делает: человек звучит добро, вон что! А какая доброта не содрогнется, не треснет до основ своих, коли смерть у нее любимого человека отберет, еще страшней — сына? Чего бесчувственностью гордиться? Самый тогда великий человек — крыса. Возьми у ней крысенка, дай кусок сала, и не поглядит в сторону детенышей, хоть режь на ее глазах. А тут человек откровенно, безбожно, вивисекцией занимался, что во многих цивилизованных странах еще лет сто назад запрещена была, и справедливо вполне, потому что иная ипостась у зверей, и дико на них людскую нервную деятельность изучать.

— Ты еще вслух где такого не вымолви! — испугалась Старшая Сестра. — Нельзя, говори, что положено, при случае соглашайся, что Павлов, мол, великий ученый. Стоп!

— Опять лгать учишь? — зло сощурилась Гаврошка.

— Ду-ура! Я тебя не лгать (все равно не научишься), я тебя правильно вести себя учу. Слово — серебро, молчанье — золото. Поняла?

— Не-а... Все поговорки — сгусток пошлости. Вот это понятно. И еще: скажи мне, какие у тебя в стране в ходу поговорки, и я узнаю, что это за страна. Во! Это тебе не народная мудрость, это я сама сочинила! — расхвасталась Гаврошка.

— Да помолчи ты! Как с цепи сорвалась. Жить нам осталось всего-ничего. Зачем о земном думать?

— А помнишь, давно, был дяденька, Сократом зва-

ли? К смерти его приговорили, уже на тюремной кухне чашку моют, чтобы цыкуну ему в ней подать, яд такой. А он что? Он урок музыки тем часом берет, новую мелодию на скрипке разучивает под руководством наилучшего музыканта. Вот это по-моему — так себя держать! Чем острее способность чувствовать — тем больше ты человек. И тем сильнее!

...Так рассуждая и привычно споря, прошли они Калининский проспект, свернули в переулок, потом в другой и наконец вышли к длинному зданию поликлиники, где принимал Настоящий врач. Вошли вдвоем в его кабинет.

Но он-то, разумеется, увидел одну женщину, бледную, с уродливо отекившим лицом, Валу. У нее все вдруг расплылось в глазах, стало не в фокусе. Стены кабинета таяли. Она разглядела только большой письменный стол и обрадовалась, что он старый. Людей, меняющих крепкие, заслуженные столы на полированную дешевку, она презирала.

Зато сам Настоящий врач показался Вале довольно молодым. Она ожидала увидеть почтенного дедушку с остывшим от многолетнего созерцания психов сердцем. Черты лица его как-то все время менялись. Бросалась в глаза только хорошая профессиональная маска: четкая улыбка, доброжелательный взгляд. И пожалуй, не полностью стертый однообразием жизни интерес к людям.

Но какую-то маску носят все взрослые гомо. Валя тоже постоянно напяливала маску солидной дамы, только та часто с нее сваливалась, обнаруживая истинный облик безмерно любопытной и инфантильной Гаврошки.

Теперь-то, конечно, ей было не до маски. Она не могла притушить лихорадочный блеск глаз, изменить искаженные линии лица человека, вздернутого на дыбу. И врача вряд ли могло это удивить.

Хуже было, что он заметил черные пятна у нее на

руке и спросил, отчего это? А она и сама не знала, в эту минуту здраво сознавая, что пальцы из вентилятора были всего лишь миражем.

Валя пробормотала что-то не совсем складно. Это никуда не годилось. Нужно было скорее сматывать удочки, тем более, что у нее были назначены на тот вечер две встречи. Первая — с парнем-художником, с ним попросила ее познакомиться приятельница, должно быть полагая, что новое знакомство окажется целительным для них обоих. Художник, как и Валя, был тяжко ранен несчастьем: несколько месяцев назад его двадцатилетняя жена попала под автобус, перебегая улицу не на переходе. И хотя двадцатипятилетний муж был к этому совсем не причастен, просто в обеденный перерыв молодая женщина, как одержимая, порвала когти с работы в ближайший обувной магазин, где будто бы выбросили модные босоножки, а уж если кто и был повинен в ее гибели, то министр торговли или начальник обувного главка, заставившие женскую половину населения страны кидаться за босоножками, как за куском хлеба, все же убитый горем вдовец, неведомо в чем упорно себя виня, на первый случай порезал сильно вены на руках, правда, довольно удачно, его быстро привели в чувство, а потом совсем затосковал, перестал писать картины и давно уже не выходил из дому.

Вторая встреча — в Доме Кино. И она была очень важной. Про товарища по несчастью Валя сказала врачу, чтобы объяснить свой быстрый уход, про вторую, конечно, умолчала. И, прихватив рецепт на новое снотворное, поспешила смыться, договорившись, что придет через несколько дней.

Безутешный вдовец, казах с растерянными глазами, с длинными завитыми космами, был откровенно пьяным. Он ныл что-то на непонятный, но заставляющий сопереживать мотив и кивком радушно указал Вале на только открытую бутылку „Столичной”. Не-

сколько пустых бутылок валялось уже по углам комнаты, в которой единственной мебелью были подоконник и продавленный диван.

На этом самом диване восседали в обнимку тоже совершенно пьяные девушка и парнишка. Девушка — в мужских брюках, бледная, веснушчатая, как опенок, с рыжими, обкарнанными под парнишку волосьями, была здорово беременна, но не от своего мужа, как она сразу же объяснила Вале; кроме того, она этой осенью не попала в театральный институт, а муж ее оказался подонком.

Розовощекий муж, разительно похожий на пятилетнего ребенка из страны великанов, изо всех сил старался младенческим своим язычком, но никак не мог выговорить сложное ругательство, застрявшее у него в горле.

Эти трое, по-видимому, считали себя советскими хиппи, и хотя что-то неумное накладывало схожий отпечаток на различные по чертам лица, легко было понять, что все трое действительно несчастны. Только Валя не умела гипнотизировать, излечивая от горя, и поэтому сразу ушла молча от племени молодого, осторожно ступая по ковру из окурков, покрывавших весь пол в большой с нависшим потолком пещере дома-новостройки.

В фойе Дома Кино было почти пусто. И в Большом и в Малом просмотровом чего-то крутили. Лишь несколько старичков, отставных кинодеятелей, дремали у обширного цветного телевизора, до того опустившись с годами, что глотали, не морщась, анилиновых оттенков муть. С некоторым удовольствием Валя узнала свою прошлогоднюю халтурку, небольшую пародию на детектив.

Человек, с которым она должна была встретиться, неожиданно вышел откуда-то сбоку. Они обменялись парой слов и разошлись с равнодушными лицами, как

актеры в плохоньком Валином детективе. Валя успела передать Юркину биографию (завывая от боли, написала ее в прошлую ночь) и большую его фотку. Красивым и юным выглядел на ней Юрка, он вообще отличался киногоеничностью, и режиссеры охотно снимали его в эпизодах, даже уговаривали.

Прождав несколько минут для конспирации (Господи, как бы в других обстоятельствах она посмеялась!), Валя выскользнула на лестницу, радуясь несказанно, что не повстречала никого из знакомых. Она вдруг сообразила, что уже поздно и Юрка, конечно, волнуется, почему ее нет так долго, и поспешила домой, забыв вызвать лифт, перепрыгивая сразу через несколько ступенек и радуясь предстоящей встрече с мужем.

У нее было, это, как его, реактивное состояние.

Глава 2

ЭТОТ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ВГИК

*По улицам заснеженной Москвы
Поеду я и побредете вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет...*
М.Цветаева

Проснувшись, как обычно, на рассвете, Валя обнаружила некоторый прогресс в своем состоянии. На этот раз пальцы только погрозили ей из вентилятора, но наружу не вылезли. Да и цвет у них стал более приятный — в то утро они сделались почему-то нежно-голубыми и казались не такими зловещими.

Оставалось тринадцать дней жизни, чертова дюжина. И, обдумав все, как оно есть, серьезно обсудив перспективы, Гаврошка и ее Старшая Сестра выработали

единый план действий: к невропатологу больше ни ногой, ну его, с его внимательной улыбкой, а постараться в каждом из оставшихся дней соединить приятное с полезным. Например, проститься со всеми местами, где Вале когда-то было неплохо.

Раньше всего ей захотелось повидать истоки своей юности, киноинститут, ВГИК. Жаль, дорога туда была далека.

В автобусе оказалось нестерпимо душно. Вале пришлось несколько раз вылезать, чтобы отдышаться где-нибудь на первом попавшемся сквере. В одном из таких пыльных, треугольных садиков воспоминания прижали ее к длинной, пустой, забившейся под тихие березы, скамейке.

Как это было? Как же это было? Ей тогда только стукнуло семнадцать. Окончив школу, Валя, невзирая на сердитые насмешки отца, считавшего, что учиться следует только в солидных институтах, и не замечавшего у дочери ни малейших литературных способностей, хотя два ее рассказика напечатали не где-нибудь, в самой „Пионерской правде“, а третий даже передали по радио — все заботами школьной учительницы литературы, неустанно выискивавшей таланты у своих воспитанников, — Валя решила попробовать поступить на сценарный факультет киноинститута, почти не надеясь на успех, со свойственной ей всю жизнь беспечностью, полагая, что от попытки никому хуже не будет.

Как ни странно, за беспомощные рассказыки ее допустили к приемным экзаменам. Последним, решающим из них, оказался какой-то коллоквиум, загадочное слово, напоминавшее Вале почему-то аквариум с рыбками и тем более приводившее в недоумение. Конкурс достигал человек пятнадцать на место. Почти все абитуриенты были значительно старше Вали и, расхаживая группами по холлу института, обменивались настолько умными фразами, что непонятно становилось: зачем подобным мудрецам еще чему-нибудь учиться?

Ее вызвали в аудиторию на пару с каким-то солидным черноусым гражданином. Не обратив на Валю поначалу ни малейшего внимания, члены комиссии, во главе с подвижным курносый стариком, накинлись сходу на усача, задавая ему множество вопросов, на какие Валя не смогла бы ответить, даже если бы думала сто лет. Но усатый щегольски, как теннисный мяч, отбивал все наскоки.

Наконец, старик спросил его, кем из литературных героев он захотел бы стать, если б смог, и что делал бы сейчас, коли бы его желание сбылось?

Ни на миг не смутившись, усатый сообщил, что желает быть не кем иным, как Павлом Корчагиным, и дальше заговорил так плавно и продуманно, что даже Вале сделалось ясно: он ждал почему-то именно этого вопроса. Усатый произнес с жаром целый монолог, он купался в образе, он вызываясь улыбался членам комиссии и, закончив словами „Да здравствует комсомол, сын коммунистической партии!“, картинно раскинул руки, словно желая обнять висящий на стене портрет Сталина.

Валя только теперь полностью осознала, как была жалка ее попытка соревноваться с подобными одаренными людьми. Убежденная, что ее не примут, она все же довольна была, что хоть увидит столько интересного, и старалась, как всегда, запомнить не только, что говорят все присутствующие, но и как они при этом держатся, малейшие особенности их поведения, черты, приметы. Старалась словно сфотографировать в памяти, как расставлена мебель в комнате, как висят пыльные серо-синие занавески над выпуклым окном, какой причудливый узор (не то цветы, не то птицы) вышит на белом свитере самого молодого и потому, должно быть, самого молчаливого члена комиссии. И даже штопку у него заметила у локтя, аккуратненькую, сделанную, конечно, руками любящей мамы, опытными и терпеливыми, и порез от бритвы на щеке, чуть замет-

ную темно-розовую черточку, — торопился, младшим опаздывать нельзя...

Но зачем? Зачем нужно было все это запоминать? Откуда взялась у нее с детства странная привычка и вызванный ею слишком пристальный взгляд, раздражавший ее родителей?

Старичок вдруг прервал усатого, пренебрежительно махнув рукой. Господи, чего ему было нужно, раз даже этим явным гением он остался недоволен! Повернувшись к Вале, старичок весело осведомился:

— А ты, девочка с косичками? Тебе сколько лет? Семнадцать? А ты в кого хочешь превратиться?

И Валя, не ожидавшая вопроса, убежденно ответила:

— В Гаврошку!

Комиссия покатила. Свекольная от смущения, она пыталась объяснить, что имела в виду Гавроша из романа Виктора Гюго, потому что ей нравится, как он пел перед расстрелом под наведенными на него ружьями.

— Вон что! — догадался старичок, — тебе нравится безрассудная смелость. Но... — он помолчал, — понимаешь, у Гавроша ведь минутная смелость, она присуща вообще юности. А подлинное мужество, как бы тебе лучше объяснить, это бег на длинную дистанцию, марафон... Когда подкашиваются ноги, а ты бежишь все-таки с высоко поднятой головой... — Он ушел в какие-то свои мысли, тяжелые его веки зашторили на мгновение глаза, и у членов комиссии, как по команде, сделались вдумчиво-грустные лица. Подхалимы они были все, что ли? Или как работники искусства легко заражались чужим настроением?

Много лет спустя, уже после смерти старого профессора, Валя узнала, что его дочь была в то время женой большого ученого, только никто не знал тогда, что он вообще ученый, а был он обыкновенным зэком, и несчастную его молодую жену усердно выгоняли из

университетской аспирантуры. Им обоим нужна была смелость в те годы, ах, как была нужна, и, наверное, поэтому еще ему понравилась Валя, а его мнение решало все.

— Что ж, у тебя пятерки по всем творческим экзаменам, да и по остальным тоже, — подытожил председатель комиссии. — Ты принята. А вы, молодой человек, к сожалению, нет, — повернулся он к черноусому, — хоть и совершаете попытку в третий раз. Советую вам на этом закончить.

И бедный усатый вышел, бросив на Валю испепеляющий взгляд. В ту минуту они оба были уверены, что Валя — редкая счастливица... Людям свойственно ошибаться!

И все же, вспоминая теперь пять долгих институтских лет, бурные коридоры института, где будущие операторы и режиссеры, художники и актеры, сценаристы, киноведы проводили, кажется, большую часть суток в говоре, в движении, в спорах, вспоминая тишину небольших аудиторий, вгиковских профессоров, среди которых попадались люди, по-настоящему знающие свой предмет и даже дерзающие иногда поделиться со студентами собственными мыслями, вспоминая развеселые вечера, капустники, сотни фильмов разных времен, стран и народов, крутившихся постоянно, как перпетуум-мобиле, в институтских залах, Валя не жалела, что попала тогда в киноинститут, несмотря на то, что жизнь ее оказалась бесплодной творчески и заканчивалась трагедией.

Беззаботно жилось, в общем, всем в милом ВГИКе, хотя первый семестр и назывался испытательным: после него отчисляли за творческую непригодность примерно четверть первокурсников; правда, время от времени по разным причинам отчисляли и со старших курсов, попросту выгоняли на улицу; хотя кажинное лето в киноэкспедициях, где всякая там техника безопасности начисто отсутствовала, а вгиковцы неудержимо

рвались туда в администраторы, в ассистенты, в помрежи, чтобы подработать, обязательно погибали один-другой студент, а случалось в их маленьком институте за каникулы недосчитаться и трех-четырех; — и все-таки каждый счастливо уцелевший вгиковец вспоминал потом институтские годы как самые славные в жизни.

Ведь большинство студентов признавались в минуты откровения, что только здесь почувствовали себя не отщепенцами, какими они были в родных семьях. В глазах обывателя любое самое скромное дарование, любая примета, выделяющая тебя из общего стада — смешное чудачество, жалкая глупость, словно бы уметь видеть в стране слепых.

И вот, стремясь как-то выявить себя и свое дарование, многие поступали в так называемые творческие вузы. Особенно стремились во ВГИК. Тут девочки ходили в костюмах, собственноручно сшитых, пусть из самой дешевенькой материи, зато по модам последнего западного фильма, и с размазанными полудетскими лицами. Пусть грубый грим старит и уродует их, зато в другом институте, попробуй, явись так на лекции — живо и из института, и из комсомола вышибут, а во ВГИКе — пожалуйста, профессия якобы требует.

Хорошо во ВГИКе, привольно! Насколько может быть привольно в Советском Союзе в лихую пору пятидесятых годов. Особенно потому, что почти все студенты происходили из зауряд-мещанских семей, где им не прощали таких странностей, как пристрастие к чтению, например, к рисованию или к музыке, страстную любовь к театру или что-нибудь подобное и в той же мере порочное.

Их братишкам и сестренкам, не наделенным злополучной искоркой, но учившимся, скажем, на двойки, начинавшим с ранних лет пить и курить, бросавшим школу, даже попадавшим в шайки, родители прощали их грехи легче и любили их больше. Ведь способные дети, по мерке обывателей всех времен и народов, — неудачные дети.

Все, что в Валиной семье осуждали, как тяжкие ее недостатки: постоянное стремление украшать тусклую жизнь мозаикой мечты, превращать самые скучные обязанности в игру, — все это в институте оказалось достоинствами. Именно этому их, в сущности, обучали на творческих занятиях, и тот, кто обладал от природы особенно развитым воображением, шел у своих мастеров первым номером.

Лишь одно немного омрачало Валину жизнь: иногда она неожиданно для себя срывалась и говорила искренно. Что поделаешь! Она прожила тогда уже семнадцать не самых легких лет, не в самую ласковую историческую эпоху. После очередного срыва ей снился обычно несколько дней подряд мальчик в коричневом мягком костюмчике. Мальчик, которого она предала. Или нет? Просто прошла мимо?

Она бегала тогда в младшие классы. Наступил год, заставивший намертво замолчать даже самых легкомысленных и говорливых. По ночам в их доме, где были очень гулкие лестницы, взрослые не спали. Часов в двенадцать у подъезда начинали хрипеть темные автомобили. Потом по ступенькам цокали, как судьба, уверенные шаги.

Однажды они почему-то опоздали. Утром, когда Валя, дожевывая на ходу яблоко, летела в школу, на площадке, этажом ниже, открылась дверь и двое симпатичных, улыбчивых парней в военных костюмах вывели третьего, штатского. Он тоже улыбался, смущенно, и держал руки сзади, и словно спал на ходу. А за этими тремя бежал и все не мог догнать их мальчик в расстегнутой вельветовой куртке и таких же рубчатых, до колен, брюках, мальчишка лет семи с густой челкой над светлыми, прямо прочерченными бровями.

Наконец он сумел схватить отца за отведенную руку и молча повис на ней. В глазах его было отчаянье. Он казался в эту минуту и старше, и умнее троих взрослых и будто понимал нечто такое, что им было неиз-

вестно: должно быть, понимал, что отец его навсегда уходил в смерть, в бессмертье.

Один из улыбчивых схватил мальчишку за плечо и легонько, не желая нанести ему ущерба, откинул в сторону. Мальчишка упал на спину и закрыл глаза. Валя порывом шагнула к нему, но, заметив искоса неодобрительный взгляд второго улыбчивого, обошла лежащего и быстро спустилась вниз по лестнице.

Вечером в доме шепотком рассказывали, что арестовали ученого, специалиста по высшей математике. Он оказался шпионом, чуть ли не Бразилии. Ездил туда на совещание по алгебре, бразильцы и завербовали. Капиталисты ведь, наверно, напасть на Советскую страну планируют.

Семью шпиона-математика сразу куда-то выселили. Несколько раз Вале казалось, что она узнает соседского мальчишку в случайно встреченных подростках, а потом и во взрослых мужчинах, но она никогда не решилась спросить...

А сорвалась она в институте первый раз на занятиях Великого режиссера. По крайней мере, таким он считал себя сам и так именовали его в книжках по истории советского кино, вероятно, несколько преувеличивая.

Великий преподавал винегрет, который в меню их лекций назывался теорией режиссуры. Предмет этот был строго обязателен для студентов режиссерского факультета, а будущие сценаристы должны были лишь присутствовать на лекциях, но не сдавать экзаменов. Для них то был так называемый факультативный предмет.

Однако Великий знать не хотел, кто там из студентов на каком числится факультете, и не помнил их ни в лицо, ни по фамилиям. Все они служили для него каким-то безликим ухом, в которое должны были поступать его пестрые, сбивчивые, порой противоречивые и бессвязные мысли.

Время от времени на него словно что-то накатывало. Великий вызывал очередную жертву к своему столу и стремительными, неожиданными вопросами терзал ее до полного изнеможения, до того, что здоровенные парни отревывались потом в коридорах, как школьники. Тешился всласть!

На злые эпитеты и уничижительные характеристики в аудитории Великий режиссер не скупился, зато на экзаменах был милостив и сколько-нибудь бойким студентам дарил по медному пятаку с таким видом, будто награждал орденом, и, как-то справа налево двинув головой, размашисто рисовал в зачетке цифру четыре. Он полагал, что на пятерку знает режиссуру во всем подлунном мире лишь один человек: он сам. При всем этом Великий был щедр и охотно, по собственной инициативе, помогал нуждающимся студентам. Он весь был сформирован из контрапунктов.

В тот день Великого режиссера обуюл особенно злобный бес. Одного за другим вызывал он студентов, сбивал с толку какой-то абракадаброй, топал ногами, кричал... Вдруг ему вздумалось потерзать кого-нибудь из девушек. Студенток, к его удовольствию, было очень мало, и он, старый женоненавистник, обычно величественно их игнорировал. Случайно он ткнул пальцем в Валю, которую, с легкой руки старого профессора, в институте обычно называли Гаврошкой.

Увидев поднимающуюся девчонку с косичками, Великий разочарованно поморщился. Триумф над таким существом давался слишком легко.

— Решайте задачу с места! — приказал он. — Вам сколько лет? Еще нет восемнадцати? Врете! Вам втрое больше. У вас только что умер единственный сын, погиб в авиационной катастрофе. Вы были рядом, но уцелели. Рисуйте словами! Мизансцену, мизансцену... У вас умирал кто-нибудь из близких? Представьте его мертвое лицо! Ну, чего язык проглотили? Совсем не соображаете? Я так и знал!

— Но это же нравственно недопустимо! — возмутилась Валя.

— Что-о? — От рыка Великого хлопнули оконные стекла, и в аудитории наступила зловещая тишина.

— Я хочу сказать, это самое... — Вале всегда легче было писать, чем говорить, и она стала давиться словами, не желавшими уступать друг дружке дорогу. — Я хочу сказать: недопустимо так учить будущих работников искусства. Потому что смерть близких — страшное горе, непоправимое... У меня из родных умер только дедушка. Зачем я буду представлять его лицо для какого-то этюда? Это, мне кажется, бесчеловечно.

— Но... — мягко удивился Великий режиссер, — ведь должны мы все уметь создавать на экране трагедии? Откуда же брать краски, как не из жизни?

— Вот когда нам поручат поставить трагедию, может быть, и нужно станет мучить себя воспоминаниями, но, наверно, они сами, без зова, интуитивно придут. Ведь художники, которые пишат кистью, берут краски с натуры, когда они им нужны для определенной картины, а не заранее кладут их на всякий случай в какой-то запасник. Разве лучше будет, если мы научимся очень точно изображать детали, а глубокой мысли и чувства в наших работах не станет, потому что мы сделаемся, как камни, бессердечными?

— Да, метод Алексеева больше подходит для холодных сапожников, — неожиданно согласился Великий режиссер, о котором известно было, что он терпеть не может Станиславского и не желает именовать его по псевдониму. — То, что вы говорите, трогательно и инфантильно, а инфантильность я считаю неотъемлемой принадлежностью художника, если, конечно, он сумеет ее в себе преодолеть. Но...

Великого быстро занесло куда-то далеко от девчонки, лепечущей чепуху, от длинной, как труба, режиссерской студии, от примитивных задач, которые ему так нудно было решать со студентами, ему, пытав-

шемуся проникнуть в глубины философии искусства и убежденному, что не сегодня-завтра он снимет шедевр, превосходящий все, что было, есть и будет когда-либо в кино, в любом жанре, в любой стране, в любом веке. Щеки Великого запыхали, глаза зажглись, к нему пришло вдохновение. Студенты впервые увидели его совсем иным человеком, чем обычно. Мастером.

Должно быть, Великому режиссеру казалось, что никто из его учеников не догадывается, отчего он с каждым днем все пуще лютует на занятиях. Но все все знали. Великий недавно поставил картину о злющем царе, фильму странно замедленную в ритме и оттого похожую на великолепную, многокрасочную оперу.

Полоумный убийца, ставший волею судеб государем российским, был разрисован там умником и героем, что, конечно, должно было маслом по сердцу смазать почтенного дяденьку, бывшего в ту пору Отцом и Учителем все той же злосчастной, огромной, забытой Богом стороны.

Но и Великому режиссеру, все же очень одаренному человеку, тоже, видно, свойственно было срывать, и во второй серии своего опуса он показал группу приближенных царя как стадо палачей, наслаждающихся, к восторгу своего повелителя, бессмысленной жестокостью. А в самом выразительном эпизоде через забор долго-долго лилась сначала струйка, потом ручеек и наконец огромная река крови, хлынувшей заливать несчастную страну, как символ той (да и не только той) эпохи.

Эффект оказался чрезвычайный! Великий рябой разгневался на Великого режиссера, поняв дерзкий намек и увидев кукиш, показанный ему в кармане. По приказу сверху фильм порезали в клочья, смыв все острые эпизоды. Теперь он сделался похож на именинный, украшенный цветными розочками торт, радость мещанина.

А Великого режиссера начали травить, тихохонько,

но пунктуально. И он вымещал свое горе на студентах, которые, как он полагал, простят ему издевки, зная, как он гениален.

Но студентики, со свойственным их возрасту максимализмом, вовсе не восхищались даже самой хвальной его картиной, первой, где взбунтовавшиеся матросы убивают своих офицеров и захватывают броненосец, обидевшись на плохие обеды (им бы мороженую картошку полопать во ВГИКовской столовой!), и в апофеозе поднимают над кораблем флажок, находчиво покрашенный режиссером в красную краску.

При общем черно-белом изображении (иного тогда и не знали) это показалось и самому режиссеру, и некоторым маститым киноведам, гениальной находкой. Но с тех пор минуло очень много лет и событий. Студенты знали о девятьсот пятом хотя бы по лекциям истории, и даже по сравнению с этими лекциями фильм Великого виделся им просто примитивом. Но они были молоды, их души не очерствели, и жалость к измученному человеку заставляла их снисходительно прощать его выходки.

„И все-таки срывать на зависимых от тебя людях свое горе — неблагородно”, — подумала Гаврошка.

— Молчи, инфантильная, а то я тебе! — беззвучно пригрозила ей Старшая Сестра. — Выскочила! Не могла напуганную козочку разыграть, он же этого жаждал. Не дотумкала?

Но что уж было делать! Великий не рассердился. На перемене он, коренастый, большеголовый, с черепом не по-земному гипертрофированным, — огромный лоб над маленьким лицом, — подошел к Вале и спросил с необычным для него смущенным любопытством:

— Дедушка чудесный человек был, да? Вы очень его любили? А у меня была бабушка, настоящая русская бабушка, добрая до святости. И сейчас, когда лежу один, хвораю, все чудится: шаркают ее туфли, несет она мне сладкую микстуру...

Вскоре Великий режиссер помер. Он был совсем еще не стар. Может быть, он действительно мог создать нечто прекрасное... Может быть. Кто теперь знает?

Экзамены, экзамены, экзамены... Зачеты, зачеты, зачеты... Господи, сколько их было! И почему почти все выученное забылось, затянулось новью, зачем же вызубривалось, зачем отнимало дни и бессонные ночи ненужное, скучное, бесполезное?..

Правда, уже несколько поколений вгиковцев узнало легендарные анекдоты о некоем студенте Петрике, прославившимся тем, что некоторые экзамены он сдавал по десять и более раз, беря преподавателей измором.

Валя запомнила лишь пару ответов Петрика, которые слышала собственными ушами. В студенческий фольклор их вошло значительно больше, но и эти говорили за себя.

На экзамене по истории искусства, во время которого беленький, как мышка, глуховатый добряк-профессор протягивал им одну за другой репродукции известных картин и просил вкратце рассказать о них, на легчайшем экзамене, к которому никто не готовился, потому что за самые приблизительные ответы искусствовед дарил всем пятерки, Петрик блеснул.

Уставившись испуганно на странную картинку: кто-то бледный спускается с горы к, по-видимому, загорающим на пляже смуглым людям, Петрик неуверенно сообщил:

— Собственно говоря, это курлорт. (У него был дефект произношения, заставляющий к букве „р” непременно приставлять еще „л”).

— Что вы сказали? — переспросил профессор, приставив ладошки трубой к раковине своего уха, так густо заросшего пухом, что казалось, будто из него растет одуванчик.

— Кур-лорт! — уже уверенно повторил Петрик и с видом победителя оглянулся на аудиторию.

— Явление Христа народу... Явление народу... — по-неслась из разных концов большой комнаты подсказка: — Христа... народу...

— Явление Христа на родину! — громко отчеканил Петрик. — Христос явился на курлорт. На родину.

Профессор уронил голову на сухие ручки и затрясся. Потом, вытирая кружевным платочком слезы с седых ресниц, он с благодарностью сказал Петрику: — Спасибо, молодой человек! Уж так потешили. Сколько лет принимаю экзамены — не встречал подобного шутника! — и вывел Петрику пятерку, первую и последнюю в его жизни.

И еще один ответ Петрика часто в эти дни почему-то вспоминался Вале. Профессор диамата шутить не любил. Низкорослый, чернявый армянин, вечно в наглаженной военной гимнастерке без погон, с мягкой поступью кота в сапогах, он был похож на канонический портрет Сталина и явно гордился этим, сильным акцентом, грубостью и осанкой стараясь подчеркнуть счастливое, по его мнению, сходство.

Его опасались все студенты, но к девушкам он был по-восточному снисходителен и всем подряд ставил тройки, полагая, должно быть, что жалкими своими умишками они, как ни стараются, все равно постигнуть марксистскую премудрость не могут.

Петрик зубрил диамат дни и ночи и в конце концов вызубрил все конспекты лекций наизусть. Поэтому он явился на экзамен довольно бодрым. К тому же он был членом партии, что диаматчик учитывал в сторону завышения оценок.

Случилось так, что Петрик и Валя последними остались в аудитории. Валя в те дни зачитывалась Спинозой и остерегалась, как бы не брякнуть что-либо немарксистское очень наблюдательному диаматчику. Оба разумно рассудили, что уставшие к концу экзамена преподаватели обычно добреют и теряют бдительность. Так и вышло.

— Не нужно брать билет, — зевнув, повелел осоловевший профессор Петрику. — Ответьте мне только на один вопрос и я отпущу вас с миром. Итак, основной вопрос философии. Прошу! Вопрос легкий. Оцените мое к вам расположение. — Он милостиво улыбнулся Петрику, заместителю секретаря партийной организации сценарного факультета.

Петрик опешил. Мгновенно все выученное смешалось у него в голове в нелепую какофонию цитат и фраз. Однако, откашлявшись, он сообщил:

— Собственно говоря, на устаревший вопрос — существует ли Бог, мы, марксисты, отвечаем положительно! Да! — И, подумав, добавил: — А Бога нет.

Опомнившись, потерянно взглянув на диаматчика, он, вобрав голову в плечи, ожидал его возмущенной реплики, сообразив, что сморозил что-то особенное. Но диаматчик не закричал. Он вдруг испугался еще больше, чем Петрик.

— Боже мой! — проговорил он безо всякого акцента, с произношением, какому позавидовали бы корифеи Малого театра. — Какое счастье, что на экзамене не было никого постороннего, вы же своими ответами погубить можете, опасный вы человек! Уходите, уходите скорей!

И когда Петрик с вожаденной тройкой покинул аудиторию, профессор вдруг, ласково потрепав Валю за кончик ее длинной косы, промолвил:

— Трудное время для нас, интеллигентов, очень трудное время, деточка. Ну, давай зачетку. Я не сомневаюсь, ты знаешь больше, чем следует.

Так Валя единственный раз в жизни заработала пятерку за свою подлинную или мнимую интеллигентность. А Петрик, общее посмешище, еле-еле окончив институт, принялся споро делать карьеру, и многие маститые кинодеятели через какие-нибудь пару лет униженно заискивали перед ним. В их числе были и бывшие его преподаватели.

Второй раз Валя сорвалась уже на третьем курсе. Она дружила тогда с Мединой, актрисой-однокурсницей, замечательно красивой девчонкой по прозвищу „королева ВГИКа”. Медина и затащила ее на аэродром в Тайнинку заниматься парашютным спортом.

Обе легко прошли медицинскую комиссию: глаза, сердце, ухо, горло, нос, невропатолог. Через месяц теоретических занятий их выпустили на первый прыжок. Это было замечательно! Великоватые комбинезоны с подвернутыми обшлагами брюк, туго стянутые настоящими военными ремнями на узких, детских еще талях. Два парашюта у каждой: основной — на груди, запасной — на спине. И самолетик У-2, деревянная этажерка.

Летчик-инструктор, молодцеватая, широкогрудая тетка, басом командует:

— Приготовиться!

— Есть приготовиться! — Девчонка вылезает на крыло, будто на крылечко из дому выходит, с усмешечкой, приклеенной к заолодевшим губам. И в сердце шелестит тревога.

И немедленно второй приказ: „Пошел!” — и отзыв: „Есть пошел!” — и сразу — прыжок вниз, в сгустившийся воздух, в небо, потому что легкий самолетик уже кренит под твоей, ах, какой небольшой тогда, тяжестью. И ничего страшного: кольцо основного парашюта в левом кармане комбинезона, дерг за него — и через мгновенье купол раскрывается.

Секунду, сам поражаясь, как это возможно, летишь вниз головой, но вот уже ноги опускаются, куда им положено, и воздух, плотный и сочный, надувает легкие, и ты — перчатка, брошенная в огромную щеку мира, ты — семя невиданного растения, расцветающего в облаках, ты — древний охотник, победивший бизона и пляшущий на его туше, ты — счастье!

И за первый, и за второй прыжок Медина и Валя схлопотали по пятерке у своего строгого инструктора.

Жизнь им казалась прекрасной: поездки в подмосковную Тайнинку, веселые, вдвоем; Медина все что-то рассказывает, Валя слушает, изредка подает реплики; понимают они друг друга с полуслова, в институте их любят, поездки эти продлятся вечно; время больше не движется, они словно в беличьем колесе, а оно, как фейерверк, многоцветно и празднично; и остро, ни с чем не сравнимо наслаждение полетом; изумителен вкус жизни на не знающих еще ни помады, ни поцелуев обветренных губах.

Третий прыжок у Вали тоже прошел тип-топ. Но едва она сдала на склад парашютик, погладив на прощанье его шелковый бок, как ее вызвал в кирпичный загон-кабинетик старший инструктор.

Поглядев с недоумением на слабую на вид девчонку, он пожал плечами, но объявил решительно:

— Ты нам не подходишь. Жаль... Не сможем довести и до значка. Процент успеваемости всей группе испортить!

— Отчего я не подхожу?

— Сейчас не война. Нам камикадзе не требуются. Еще ответишь за тебя!

Значок выдавали за пять прыжков. Завидный, с белым парашютом на блестящем синем фоне. Считалось: кто его получил — тот смельчак и вообще человек что надо. А камикадзе... Кто такие камикадзе? Кажется, японцы-смертники, на управляемых торпедах врезались они во вражеские корабли или самолетами таранили. Фанатики! При чем здесь она?

— Ты хоть немного боишься прыгать? — хмуро осведомился старший инструктор.

— Не-а... — ответила правду Валя.

— Ни разу не боялась?

— Нет. По-настоящему не боялась.

— Ты сейчас, после третьего прыжка, приземлилась прямо на взлетную площадку, возле стоявших ИЛов, неужто не смогла сманеврировать в сторону?

— Могла, конечно, нужно было только стропы подтянуть. Но ведь так интереснее, ну, словно поиграть с опасностью.

— Интересно тебе?! Я из окошка глядел — в глазах потемнело. В войну бы тебе цены не было, таких и набирали, зато и погибали быстро. Надо же, на вид чихнуть не на что, а, выходит, отчаюга!

Валя все еще ничего не понимала. После первого прыжка из их группы отчислили сразу четверых, трех девчонок и здоровенного парня. За трусость. У них руки замлели на бортике, пришлось летчику сбрасывать трусишек насильно и самому открывать им парашюты страховочным тросиком, привязанным на тот случай к кольцу. Но ее-то за что?

— Ты еще хуже, чем камикадзе, — подумал вслух старший инструктор. — Они патриоты были и вообще — по приказу жизнью жертвовали. Смелость им, конечно, необходима была, но и дисциплина тоже. А у тебя вольная смелость какая-то, как у жеребенка необъезженно-го. Гляди, зря пропадешь!

Вале очень захотелось рассказать, что и у нее порой просыпается чувство самосохранения, да еще в какой подлой форме, про мальчишку в коричневом костюме захотелось поведать. Но она уже догадывалась тогда, что некто изнутри страхует ее от открытого выражения своей сути, только не знала, что живут в ней две сестры: Младшая — Гаврошка и Старшая, вроде как бы ее гувернантка, редактор, охранительный тормоз. В опасные минуты, перестав нудно читать нотации, она перехватывала руль.

И сейчас Старшая Сестра велела уйти. Гаврошка послушалась. Все равно ничего нельзя было поделать: старший инструктор, литой дуб, дрожал за свое, как он полагал, чрезвычайно важное место.

Медина из солидарности ушла вместе с Валею. К тому же при последнем приземлении она здорово покорябала подбородок. Это никуда не годилось: у актри-

сы и подбородок, и шея, и нос, и брови — орудия производства, их, как фарфоровые, беречь надо.

В это же лето Медины не стало. Ей пофартило вдруг: ее взяли на маленькую рольку в новую картину. Снимали на просторной, заболоченной у берегов, дремотной реке. Режиссеру, типичному представителю своей профессии, волевому, бессердечному, не слишком умному, пришло в голову зачем-то протянуть через реку толстый канат. Искания... Разумеется, когда приказ был выполнен, режиссер передумал и распорядился немедленно убрать канат.

Отцеплять его от другого берега он послал случайно подвернувшуюся Медину. Девчонка, впервые получившая роль, опьяненная удачей, глядела на своего режиссера, как верующий буддист на Панчен-ламу, и, конечно, не посмела отказаться. К тому же она хорошо плавала (одесситка!), но очень устала в тот день от капризов своего мэтра, от грубостей оператора, от ядовитых укусов исполнителей главных ролей, привыкших цукать начинающих, и просто от многочасовой съемки.

Мальчишечьими сажонками она перемахнула реку, отцепила канат. Его тут же заботливо вытянули, как же, казенное имущество, на балансе группы. В напоздших сумерках никто не обратил внимания, что девушка не вернулась.

Лишь утром ее соседка по комнате, сварливая старая актриса, пожаловалась режиссеру, что девчонка всю ночь где-то протаскалась. Молодящийся пошляк передернул плечами. Он не желал вмешиваться в личные дела. Молодежь, гуляет, так ей и следует...

Искать Медину начали только днем, когда она понадобилась в следующем эпизоде. Да где там! Должно быть, она захлебнулась, переплывая назад реку, и ее занесло куда-нибудь под сваи старого моста, под заросшие ряской серо-зеленые сваи, занесло, затянуло в никуда.

И, наверно, родители Мединки в горячей Одессе, порывав шумно, утешились быстро, потому что хотя дочка была красивой, но чужой и даже чем-то враждебной. Кукушкина дочка, подкинутая в гнездо деловитых птичек с маленькими головками, заботливо взлелеянная ими и выросшая в непонятное существо со слишком яркой расцветкой и диковинными стремлениями. Кукушкина дочка, как большинство вгиковцев.

Ведь и ее смуглая мать, которую в годы войны приходилось запереть в подполе от слишком галантных румынских солдат, и большеносый отец-мороженщик, продававший свой сладкий товар в лучшем ларьке на центральном бульваре города, и ее старший братик, могучий, как биндюжник, старательно помогавший отцу в работе и обещавший стать достойным наследником семейного дела, — все члены клана окончили всего лишь по четыре школьных класса.

И жили покойно и зажиточно, по одежке протягивали ножки. В их большом доме, возле красивого, волнистого, как от химической завивки, Черного моря, с фундаментом, облицованным ракушечником, было много-много замечательных красно-оранжевых ковров, а в потайном шкафчике в родительской комнате — масса золотых украшений с драгоценными камушками, какие бы не постеснялась нацепить и настоящая принцесса, а не то что простая девчонка из семьи крымских греков.

А дочка, вместо того чтобы помогать матери по хозяйству и искать солидного жениха, целых десять лет портила глаза над книжками (какие глаза, звезды!), а потом, небрежно хлопнув дверью, уехала искать добра от добра...

Сама виновата! Сама, сама виновата.

Но, тоскуя по Медине, и еще на что-то надеясь, по-детски веря в добрую справедливость, Валя не ведала еще, что кровожадный бог Кино, неизвестный древ-

ним, но, должно быть, самый жестокий из всех божеств мира, непрерывно требует жертв и придирчиво выбирает самых лучших, самых талантливых и прекрасных, и всегда именно в фазе их расцвета, когда из бутонов они начинают распускаться в неповторимые цветы. Дальше, с годами, таких потерь становилось больше, и все тяжелее они переживались.

А учили их по-чуждому. Основным предметом считалось пресловутое сценарное мастерство. Два слова, на которые отец Вали реагировал, как бык на красную тряпку.

Несколько часов в неделю студентиков натаскивали, как писать сценарии. Те самые произведения (наполовину проза, наполовину пьеса) с особенным ритмом, только им присущим. Не слышишь его, бросай сценарное ремесло, потому что, если взаправду сценарий — это и музыка немного. А вообще-то он — как убеждены кинорежиссеры, — тот полуфабрикат, из которого при участии актеров, операторов, художников, инженеров кино, пленки и шума, а главное, при руководстве самых важных в киноискусстве, то бишь, режиссеров, сварганивается то, за что зрители уплачивают тридцать копеек и немилосердно зевают потом два часа. Фильм!

На первой же лекции, в первый день занятий, их мастер, учитель драматургии, старый киношный волк, сообщил им, что сценарий — это и есть фильм, а сценарист — его папа и мама сразу, все же остальные, ну, вроде акушеров и нянек. С помощью яркого света, суеты и ругани они помогают младенцу родиться и издать первый вопль. Они все взаимозаменяемы. А сценаристы — нет. И старик был прав, в общем-то. Только, как вскоре выяснилось, никто не желал считаться с этой бесспорной истиной.

Все остальные лишь помогали по мере способностей образам и мыслям сценаристов отпечататься в сет-

чатке и мозгу зрителей (ежели, конечно, у последних имелись мозги).

Но эти самые остальные числились штатными работниками киностудий. То были существа казенные, занесенные в платежные ведомости, регулярно посещающие собрания, по табельным дням предстающие пред светлые очи начальства. Дружно, в ножку, под бодрые марши меряющие городские улицы в дни демонстраций.

А Валя и ее однокурсники, готовясь стать советскими литераторами, даже и не подозревали, какую горькую судьбину нечаянно избрали себе... На самом первом занятии во ВГИКе, в первый день учебы, их мастер закончил вступительную беседу веселым вопросом: „А знаете ли вы, мои юные друзья, за что платят деньги кинороботникам? — И сам ответил: — Режиссерам платят за наглость, актерам — за умение торговать смазливymi лицами, ну, а сценаристам... за унижение. — Рассмеявшись несколько деланным смехом, он добавил: — Это, разумеется, шутка”.

Это, разумеется, была не шутка. Но совсем зеленые, глупые, как новорожденные рыбки, они ровнехонько ничего не понимали, никто не понимал, даже те, кто впоследствии проявил себя пройдохами высшей категории.

Почему они были так наивны? Почему видели и не видели того, что творилось вокруг?

Они были воспитаны в тех понятиях, что, невзирая на действительность, следует писать о советских людях как о вкусивших райское блаженство, потому как скоро-скоро наступит рай на земле. По щучьему веленью!

Они полагали, что занимаются Искусством, слагая дифирамбы рабскому строю. Да, рабы они были... Эдакие юные, румяные, интеллектуальные рабы. Только, в отличие от своих предшественников в прошлых исторических формациях, сами об этом не подозрева-

ли. Позднее, много позднее, стали проясняться их слабые головы.

Однажды, уже на третьем курсе, им повелели написать сценарий, где должны были обязательно фигурировать три элемента: девушка, лейтенант и книга. А что произойдет, когда и почему — дело их фантазии. Эдаким способом проверялись и развивались их творческие возможности.

Увлечшись, Валя за семестр накатала не один, а два сценария. В первом героями стали: девушка Маша Раевская, лейтенант превратился в ее жениха, генерала Волконского, а книга — в альбом рукописных стихов Пушкина.

Она напридумала Пушкину и Волконскому романтическую дуэль (из-за Маши), на которой оба будто бы благородно выстрелили в воздух... Горячие, искренние стихи, споры о Свободе, любовь, балы, мечты! Как славно было писать об этом, уходя в мир, далекий от рекордов по посадке кормовой свеклы!

Мастер, благоволивший к Вале, прочел ее сценарий, одобрил и... повелел убрать его подальше и никому не показывать.

— Понимаете ли, деточка, — туманно объяснил он. — Люди есть разные. В том числе и не очень благожелательные. Не полностью, так сказать, дружелюбные. Они могут обнаружить аналогии с современностью, с нашей молодежью. Не стоит.

Мастера во ВГИКе обладали фараоновой властью над своими студентами. Захочу — помилую, захочу — с кашей съем... И Валя послушалась. Но долгие ночи после беседы с глазу на глаз с мастером она все ворочалась и думала, думала.

Ну какие аналогии могут быть между дворянами дальнего века и теперешними студентами киноинститута? И неужто звезда их курса, Саша Гуревич, похож, скажем, на Александра Пушкина? А сама она, Валя, на Марию Раевскую, дочку прославленного генерала, героя восьмьсот двенадцатого года. Что за чушь!

Лишь несколько лет спустя она сообразила: нельзя было напоминать, что когда-то в России существовала свободомыслящая молодежь, просто честная, просто молодая. Молодая молодежь — это преступно!

И тот, кто одобряет декабристов, сам... э-э... чуточку подозрителен. (Даром, что их одобряют в официальных учебниках.) Советский студент сдает про декабристов на экзамене: несколько казенных фраз. И точка.

Но тогда, ничего не поняв, она старательно накатала новый сценарий на тему, которую — была уверена — одобрит ее мастер. И он одобрил! Даже рекомендовал на студию. А там, редчайший случай, с третьекурсницей заключили договор.

Какой то был правильный сценарий! И почти документальный. Героиня его, медицинская сестра, Лариса Васильева, имела живой прообраз — девушку с такими точно именем и фамилией. Восемнадцать ей исполнилось в утро смерти.

Девочка-скрипачка из музыкального техникума ушла добровольно по комсомольскому призыву в диверсионно-разведывательный отряд, в тот самый, где несколько дней состояла и будущая знаменитость — Зоя Космодемьянская.

Их мастер как раз незадолго до того поставил фильм о Зое и много рассказывал о ней, строго предупредив, что эти сведения „не для стенограммы”.

У бедной Зои, оказывается, было несчастное детство. Дочка репрессированного и неведомо куда засланного отца, внука расстрелянного священника. Черноглазая, чернокошая, похожая на испанку, русская девушка, очень способная и ранимая, убегая от истерзавшей ее реальности в мир фантазий (куда еще скрыться замученному юному человеку?), убедила себя, что ей суждено вскоре сделаться русской Жанной д'Арк. На ее теле даже выступили стигматы, как у Орлеанской девы, раны от гвоздей, которыми был прибит к Своему

кресту Иисус, следы мученического избранничества. Зоя говорила всем, кто хотел и не хотел ее слушать, что приближается самая жестокая в истории человечества война и ей дано узнать, что она погибнет в ней, смертью своей принесет помощь своему народу.

И это за год до второй мировой войны! Такую бы силу предвидения Великому Рябому, убежденному, что он нашел душевный контакт с Гитлером и что никогда фашисты не посмеют на него напасть. Такое благородство помыслов и смелость! Но пока суд да дело, десятиклассницу, упорно не желавшую ощущать себя забитой школьной отличницей, которой за предосудительное происхождение закрыт путь к высшему образованию, — отправили в больницу для психов.

Слава советской медицине, лучшей в мире! Через несколько месяцев Зою, с диагнозом залеченной шизофрении, отпустили домой, к маме, учительнице, с которой дочка не разговаривала, к братишке, начавшему заикаться, когда на его глазах арестовали отца.

А тут настала военная пора. И Зоя сразу ушла в отряд. Лечение не превратило ее в расчетливую мещанку. Взрослой она тоже не успела стать. И через несколько дней погибла, пытаясь (кажется, по собственной инициативе) поджечь немецкие конюшни. Погибла, но стала Жанной, стала святой этой войны.

Немногие волевые мужчины, запрограммировав себе жизнь, так точно осуществляют свою программу. Вряд ли она действительно болела нервами, просто была романтична, много читала и много страдала... Истинных советских врачей, уверенных, что предсказание надвигающейся войны и есть главный симптом Зоино-го сумасшествия, ведь никто почему-то не лечил от умственного недоразвития, даже когда война действительно обрушилась, даже когда Зоя погибла — так, как захотела, отплатив добром за зло мачехе-Родине.

Ее посмертная слава принесла много чести Зоиной маме, с которой она не нашла общего языка при жиз-

ни. И даже кое-кто из лечивших ее премудрых эскулапов напечатал воспоминания, в которых превозносил свою больную, деликатно скрыв, от чего, собственно, ее пользовали.

Ларису, девушку из того же отряда, никто не считал нервнобольной, и она вовсе не помышляла о мученической кончине. То была хохотушка и певунья, при том очень крепкая физически, сильная своей деятельной добротой. Настоящая сестра милосердия. В отряд она пришла шестнадцатилетней и прослужила там около двух лет, перевязав за это время десятки раненых. Многих вынесла с поля боя, доставила в госпиталь, иным отдавала свою кровь, в мороз укрывала своей шинелью.

Наконец, сама раненая, она попала в руки пьяных садистов, неизвестно зачем ее замучивших... Ее последними словами, какие смогли выговорить обескровленные губы, были действительно: „Да здравствует товарищ Сталин!” И еще: „Пожалуйста, позаботьтесь о моей маме”.

Хорошая девочка, светлая девочка. Если бы эту планету не держали на своих плечах, как атланты, Ларисы разных поколений, то под тяжестью совершенных на ней преступлений она давно бы уже утонула в мировом океане.

Но сценарий о Ларисе, который на студии схватили было с жадностью, вдруг прикрыли. Выяснилось: запрещено продолжать писать об отряде, где служили около тысячи юношей и девушек и мало кто из них уцелел.

Мать Ларисы, с трудом узнав о судьбе дочери, раздавленная горем, сделалась инвалидом, но, разумеется, не получала никакой пенсии за погибшую дочь: ведь ее Лариска, как и другие отрядники, не была занесена в списки Советской армии. Им полагалось умирать безымянными.

Иным подружкам Ларисы неправдоподобно повезло: они выжили. Эти девчонки были замечательными разведчицами, совершали фантастические побеги из плена, но кем-то подписанный приказ, чья-то закорючка в подписи сделали их как бы не существующими. И, очевидно, этот приказ отдал малорослый дяденька с вафельным ликом, с чьим именем они умирали. Отблагодарил!

Мертвые, конечно, молчали. Немногие живые — тоже. Они скрывали после войны свою биографию, потому что прослышали: бывшие разведчики добром не кончают. Их не принимали в институты или на сколько-нибудь приличную работу, не прописывали в больших городах. Как же, ведь во время войны, повинуясь приказам своих начальников, они побывали на вражеской территории! Им, стало быть, нельзя доверять.

Камикадзе. Винтики. Маленькие люди. Не люди.

Договор расторгли. Внезапно. Еле объяснив причину. Так Валя получила первый удар на студии, в чем студия, конечно, вовсе не была виновата. Первый удар и первый урок, если Гаврошку вообще можно было чему-нибудь научить, а Старшая Сестра была пессимисткой от рождения и постоянно ждала удара ножом в спину.

Получив все же и первый аванс и став на время материально независимой, Валя переселилась во вгиковское общежитие, где всегда были свободные койки, переселилась, чтобы отдохнуть немного от своих „предков“, с которыми все меньше находила душевный контакт.

— Общежитие кино, ты на радость нам дано, ты на горе нам дано-о... — пели, бывало, вгиковцы.

Ух, сколько будущих знаменитостей прошло через его стены, относительных, конечно, знаменитостей. И еще больше будущих чернорабочих советского искусства. Таких, как Валя.

В подмосковном поселке, тихом, малолюдном, будущие звезды экрана обитали в старинных, покосившихся дачках, в небольших келейках по три-четыре человека. Полы, щелястые и скрипучие, дрожали под ногами. С давно не беленых потолков сыпался сор. Громоздкие кирпичные печи без отдыха глотали дрова, но отдаривали больше дымом, чем теплом.

Сквозь тонкие, в просветах, перегородки, заклеенные плакатами, афишами, газетами, большими фотографиями, всем, что попадалось под руку, прослушивалось все общежитие. Один зубрит диамат, другая учит роль Наташи Ростовской, а там твердят английские фразы.

Всем все слышно, но скоро привыкаешь и выучиваешься, когда нужно, отключаться. Шумно, холодно, голодно и все равно почему-то хорошо! Возраст счастливый, что ли, и полное, полное неведение жизни, даже у тех, кто много успел испытать. Нет, не то: не неведение, а непонимание, прекрасное непонимание юности.

А сколько этой самой, как ее, романтики! Дров почти не дают, и приходится воровать хворост из лесу. Каждый такой молодецкий поход сопровождается множеством приключений, опасностей, происшествий. (Ночью! В мороз! В плохой одежде!)

Но случались вещи и почище. Как-то утречком, попытавшись отворить двери на улицу, вгиковцы узрели, что в институт им нынче не попасть. Домишки общежития, как синими бусами, оказались обвитыми цепями милиционеров. Бравый капитан, возложив руку на кобуру, истошно приказал студентам не шевелиться во избежание...

Потом мильтоны схватили Акмаля, студента-актера второго курса, худенького узбека, и, сурово подталкивая, повлекли за собой. У бедняжки уже несколько дней болели уши, он ходил еле-еле, в температурном румянце, грустно щуря оленьи глаза. И вот еще напасть!

По сиреневому нетоптанному снегу вгиковцы негодующей толпой потекли к красному домику милиции, куда укатили на визгливом мотоцикле их товарища. Выручать! Никто не сомневался, что преступление этого мальчика-фрески из Ташкента не страшнее полешка, стянутого из чужой поленицы, или проезда без билета на электричке. Ну, может, с отягчающими вину обстоятельствами в виде драчки с лесником или перепалки с подвернувшимся мильтоном.

Однако все оказалось куда хуже. В милиции им объяснили, что душенька Акмаль, такой ласковый, способный, такой участливый товарищ, оказался главой шайки бандитов, уже не первый год грабивших и убивавших прохожих на соседних станциях. И ушки ему якобы прострелили собственные подчиненные за шулерство в картах. Такие принципиальные бандиты!

Весть об аресте Акмаля не успела, обрастая потрясающими подробностями, обежать весь институт, как однажды, через какую-нибудь неделю, все узрели милостивого друга Акмаля мирно прогуливающимся по натертому коридору института в обнимку со своей подружкой и однокурсницей по имени Муза.

Удивительно, как будто нарочно будущим киноактрисам жалуют при рождении вычурные имена: Муза, Изольда, Ия, Люсьенна... Бог метит!

Так вот, Муза, беленькая, вся в ямочках, душистая, лукавая, светилась, как абажур, от счастья, а Акмаль, воспитанный мальчик, почтительно здоровался с проходящими преподавателями, наклоняя голову все с той же повязкой на ушах, и весело улыбался студентам.

Сразу всем все стало ясно: лопухнулись мильтоны. Чего от них ждать: ясное дело, спутали бедного студента с каким-то громилой. Сюжет!

А еще через лекцию милиция оцепила уже все (похожее на океанский лайнер) серое здание ВГИКа, и, к восторгу студентов и немому ужасу дирекции, по всем

пяти этажам заскакали поджарые казенные овчарки, тщательно обнюхивая встречаемых, рыча в ответ на попытку их погладить, заглядывая с подозрительными минами в аудитории и полностью дезорганизуя учебный процесс.

Акмаль, оказывается, удрал из тюрьмы и, отчаянная душа, заявился попрощаться со своей кадришкой. Овчарки отвалились с носом. Их увели в конце концов на сворках, рослых, с хитрыми и глупыми, не по-собачьи несимпатичными физиономиями.

Разбойник-Акмаль пропал с тех пор без вести. То ли все же попался, то ли совокупил новую банду и где-то до сих пор вершит свои мрачненькие дела. А может, давно его тонкое лицо прошила милицейская пуля.

Что ж, если и так, наверно, эта участь все же лучше, чем судьба среднего актера советского кино, с измыслом режиссеров, неизбежными пьянками, острой завистью к более преуспевшим коллегам и ранними инфарктами.

С тех пор, когда вгиковцам на лекциях рассказывали о больном буржуазном обществе, где, в отличие от здорового советского, существуют бандиты и гангстеры, студентики невольно расцветали улыбками. И помимо Акмаля уголовников в их среде хватало. Одних затягивало в шайки безденежье, других — полная бездуховность. На смену поколения Зои Космодемьянской пришло другое, не столь наивное и чистое.

Новую подругу Вали, с которой она сошлась в общегитии, звали, страшно сказать, Рогнедой. То есть это пушкинское имечко было записано у нее в паспорте, а откликалась она на ласковое прозвище — Гуля, Гуленька или несколько пренебрежительное: Гулена.

Гуленьке природа подарила приятные, но неправильные черты и порывисто-легкие, ветерковые движения. Выражаясь языком литературного штампа, она двигалась, словно под слышную ей одной музыку, под мелодию, в которой на традиционный вкус слишком

много звучало ассонансов. Мнения о способностях этой студентки актерского факультета во ВГИКе расходились. Одни считали, что Гуле следовало родиться где-нибудь во времена Веры Комиссаржевской и играть роли ее позднего репертуара, — какой-нибудь там блоковский „Балаганчик”. Другие — что это самая что ни на есть современная актриса, может, даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня.

Решить действительно было мудрено. На зачетах и экзаменах Гуля удивляла широтой профессионального диапазона. Она отлично пела и плясала, с одинаковой достоверностью изображала Сильву из оперетки и древнегреческую Антигону, прихватив в промежутке Анну Каренину и мадам Бовари, а заодно и знатную трактористку Пашу Ангелину из чьего-то непошедшего сценария. Трудлюбие ее можно было сравнить только с ее же поразительной чуткостью к эпохе, стилю, видению автора.

Когда Гуля сдавала на экзамене свою курсовую роль, каждый раз в ее мастерской наступала сущая Ходынка. Зрители не только теснились на всех стульях и подоконниках, но и заполняли проходы, и даже цеплялись на колосниках под потолком.

В ее зачетке красовались одни пятерки, но работы — съемочных дней на студиях даже в мелких эпизодах — Гуле выпадало куда меньше, чем другим студенткам-актрисам. Ее нестандартность отпугивала режиссеров: она никому не подражала. А в двадцать лет она уже была главой семейства: на иждивении Гули состояла ее младшая сестренка Светка.

Похожая на сестру, но беловолосая, будто норвежская девочка, спотыкавшаяся на каждом шагу, словно привыкла жить на планете с другой атмосферой, четырнадцатилетняя Светка при первом знакомстве с нею казалась воплощением здоровья: румяные щеки, яркие губы. Но достаточно было хоть раз приглядеться к ней внимательнее, как что-то в этом подростке начинало

бередить сердце. Круглые бледно-серые глаза ее были необычайно велики, и взгляд их словно заглядывал в душу.

Девочки из блокадного Ленинграда, потерявшие там мать и всех родных, росшие некоторое время в детском доме, остались навсегда ушибленными пережитым. Но младшая, наверно, и от рождения была не совсем здорова. Во всяком случае, такой ее все считали.

Когда Рогнеда, окончив десятилетку, поступила во ВГИК, Светка осталась в детдоме одна, и ее, непохожую на других, начали жестоко травить, главным образом не дети, а преподаватели. Однажды дяденька-воспитатель стибрил из кладовки новые простыни, загнал их на ближайшем базаре и пропил, а когда покража обнаружилась, свалил вину на безответную Светку. Директор, пытаясь добиться от нее признания, ударил девочку по лицу.

В ту же ночь двенадцатилетняя Светка убежала — без копейки денег, в одном платье, зимой; сумела добраться до Москвы, до ВГИКа и поселилась с Гулей в общежитии. Дирекция детского дома девочку почему-то не разыскивала, должно быть, свалили на нее еще немало покраж.

С тех пор уже два года она жила в общежитии на птичьих правах, ничему нигде не обучалась, ничем как будто не занималась, дружила со взрослыми девушками, была в курсе всех их тайн и замыслов и казалась вполне довольной своей участью.

Ей и голодать-то почти не приходилось: весь институт подкармливал ее, главным образом конфетами. На другую пищу, если даже она у сестер вдруг появлялась, Светка и глядеть не хотела, и ничего — не помирала, только зубы у нее часто ныли.

Случайно Вале дали койку в одной комнатурке с сестрами, и эта сырая нора неожиданно стала для них рестораном на троих, их семейным домом.

Сначала Валя подружилась, конечно, с Гулей. Но дружила с ней больше Старшая Сестра. Ей импонировало, что Гуля на все руки мастер: шьет, вышивает, вяжет из ничего, и все на редкость изящно. Долгие вечера проводили они вместе, распуская старье и перевязывая из него нарядные кофточки. Уютно было молчать вдвоем, только спицы шепотком подхватывали нитки, да распевали в печке вполголоса краденые дрова.

Но были у Гуленьки склонности, чуждые Вале. Может, связанные с воспитанием в детском доме? Хотя — почему? Просто так ее сконструировали из генов этих самых, наверно, гены во всем и были виноваты, маленькие зверюшки-гены, да еще ля-ви, конечно, веселенькая киношная ля-ви.

Временами Гуля пропадала на несколько ночей подряд, а вернувшись, бормотала, что у нее были ночные съемки. Через некоторое время, обычно, она дурнела, пила настои трав и вдруг — ни с того, ни с сего — принималась прыгать с высокой печки.

Однажды вечером, глядя на ее старательные прыжки, Светка возмущенно закричала:

— Опять?! Ты... ты... безнравственная женщина — вот ты кто!

Вспыхнув от обиды, Гуля кинулась к сестренке и больно дернула ее за волосы:

— Ах ты, неблагодарная! Мы перебиваемся на мою стипендию, на гроши. Из нее еще плату за общежитие вычитают, за двоих. И то скажи спасибо, что тебя не выгоняют! Только на дорогу в институт мне и остается. А жрать на что? Побирושка! Шляешься по всем комнатам, подачки ждешь! И мне так прикажешь? Режиссеры мне даром ролей не дают, что я могу сделать? И вообще — живем один раз!

Светка уткнула лицо в подушку и молча забилась, колотя ногами по прутьям железной койки с такой силой, словно то были не живые ее косточки, одетые боящимися боли мускулами и кожей, а такие же металлические прутья.

— Психопатка! — зло плюнула Гуля. И рассказала Вале, не стесняясь сестренки: — У нас мама общая была, а отцы — разные. Мой-то — поляк, актер эстрады, сгинул куда-то, адреска маме не оставил. А мама карелка у нас, скульптор, такая я, выходит, помесь. Мама, все считали, крупный талант была, но не дожила до признания, из-за работ своих не эвакуировалась, жалела их оставить, так вот и накрыло одной бомбой и статуи, и автора их. Нас уж вывезли тогда со Светкой, ее папаша постарался. Он у Светки художник известный, я даже не назову тебе кто. Зачем зря имя трепать?

Мы обе мамину фамилию носим. Мама сама захотела, чтобы Светка родилась, а он пил тогда сильно, на ребенке и отразилось. Убивался, что травили в газетах. Камнями его закидывали, а попало в Светку, в неродившуюся. Отцу ее, ясно, несладко было, когда его мордой об асфальт... Он помучился-помучился, а потом живо сориентировался, начал что надо малевать — портреты ударников, соцзаказ — и вылез в люди. Исправился! К Светке, к маленькой, он проявлял участие, а теперь забурел, в академики вышел, законную семью заимел, а она больная, учиться не может, ну и сделалась папаше до лампочки. Написала я ему, как мы тут бьемся, даже не ответил, мой крест, значит, на всю жизнь. Хоть бы инвалидность ей получить, пенсию самую малую, все легче...

Светка, изогнувшись пружиной, сорвалась с койки.

— Я не инвалид! Я... Гляди, Валя!

Откуда-то из-под кровати она выхватила картонную толстую папку и швырнула на стол десятка два рисунков. Это тоже были портреты, написанные акварелью на плотных листах бумаги, портреты девушек и юношей из общежития, сверкающие безумным контрапунктом красок, необычные, как сама Светка. На одних листах были полностью прописаны лишь глаза, а все лицо обозначено непрерывной цветной линией, у

других выделялся причудливый, похожий на щупальце медузы, рот. Но рот этот — кричал! Но глаза — жили! Магия присутствовала в этих рисунках.

И Гаврошка ахнула:

— Ты талант!

Но Старшая Сестра одернула ее сразу:

— Только вряд ли такие портреты куда-нибудь возьмут. Они — странные.

— У Модильяни брали! — блеснула образованностью Светка.

— Когда это было? — вздохнула Гуля. — И где? И брали *даже там* после его смерти. И вообще... Ты все-таки пишешь хуже, чем Модильяни, пойми!

— Я пишу лучше, чем мой отец — убежденно возразила Светка. — А он член Академии художеств.

— Ну это, наверно, еще не признак таланта, — подумала вслух Гаврошка.

„Придержи язык! — молча прикрикнула Старшая Сестра. — Тоже нашла себе полоумную подружку”.

Но тогда Гаврошка редко ее слушалась, не проучена еще была, и незаметно показала своей сестрице язык: „Не буду! Не желаю придерживать!”

После смерти дедушки, умершего, когда ей было всего десять лет, Вале показалось, что у нее не осталось ни единого близкого человека, и потребность погреть душу возле родных томила ее. Так, незаметно, Гуля и Светка, сирые и убогие, одаренные сверх меры и обделенные сверх меры, стали ей родными.

Была у Светки детская привычка: спать непременно с кем-нибудь вместе. И так как ночью в общежитии становилось здорово холодно, на нее даже устанавливалась очередь, в основном из замерзающих актрис. Единственная девушка, которая никогда не брала ее в свою постель, была Гуля, она как раз могла засыпать только в одиночестве.

Валина незаурядная в те годы худоба сослужила ей хорошую службу: Светка стала постоянно спать на ее

койке. Вместе им было не тесно и не холодно. Иногда Валя чувствовала сквозь сон, как Светка укрывает ее сползшим одеялом, иногда, наоборот, она ласково успокаивала Светку, вдруг вылетавшую на середину комнаты с пронзительным криком: — Тревога-а!

И Вале казалось, что она укладывает и утешает свою маленькую дочку. Вообще со Светкой было интересно. При редкой необразованности (окончив пять классов, она писала с грубыми ошибками и еле умела считать) — память у нее была уникальная. Правда, только на стихи.

По общежитию постоянно странствовали ничьи рукописные сборники Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, даже Мандельштама. Запретных или почти запретных поэтов запретные мысли, чувства и образы. Их глотали в основном интеллектуалы, будущие сценаристы и режиссеры.

Исключение из института — как минимум — грозило за чтение этих стихов, а пожалуй, что и похуже. Хотя о сборниках знали все, никто из вгиковцев за них не пострадал. Удивительно, но, по-видимому, подлецов среди них тогда не было.

Сборники приплывали и уплывали, а Светка все, буквально все запоминала наизусть. Правда, не все она понимала, но читала вслух с такой душевной силой, как не могла и актриса Гуля. Откуда что бралось!

И сколько ноченок-ночей они с Гулей слушали Светку. Сядут на одну кровать, обнимутся, у всех троих длинные густые косы, распустят их, как плащи, у Гули — смоляной, у Вали — темно-каштановый, у Светки — изжелта-белый. Теплее от волос. И слушают, слушают Светку. Пьют стихи.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.
Только слышно кремлевского горца,
Душегуба и мужикоборца.

Мандельштамовское, до сих пор на слуху у Вали.

А в паузах за окном ветер надувает воздушные шары, и они взлетают и лопаются с треском, и снова взлетают, словно хотят и не могут умчаться отсюда, преодолеть земное притяжение.

Весной Гуле крупно повезло. Молодой режиссер взял ее на главную роль в новой кинокомедии, музыкальной и танцевальной, из сибирской жизни, которая должна была сниматься почему-то на одной из среднеазиатских киностудий. И чудо: Гулю по первой же пробе утвердили в кинокомитете. Почему-то она понравилась сразу десятку бюрократов, обожавших мотать нервы актерам и по полгода не говорить ни „да”, ни „нет”, пока не пройдут все съемочные сроки и режиссера, глядишь, хватит инсульт.

Мало того: режиссеру понравилась и Светка, и ей тоже дали вдруг рольку „в окружении героини”, маленькую, почти без слов, но по всей картине. Роль младшей сестренки, неуклюжего подростка, как в жизни.

Гуля и Светка улетели ликующие. Но Валя, задрав голову на Внуковском, провожая глазами их самолет, вдруг чего-то тоскливо забеспокоилась. Ей показалось тревожным, что она не может представить себе, как будут выглядеть сестры, когда через несколько месяцев вернутся. Изменятся же они за это время, а как?

Тогда она не знала еще верную приметку: если не можешь представить себе, как будет выглядеть человек, когда станет хоть немного старше, он старше не станет.

Через две недели в городке, куда выехала съемочная группа на натуру, в чудесном старом-престаром, как легенда, городке с живописной мечетью и непомеркнувшими за века цветными изразцами в стенах древних гробниц, грянуло землетрясение местного масштаба.

Старинные глинобитные домики устояли, мечеть тоже. Обрушилась стена новой гостиницы. Светка, ма-

явшаяся от бессонницы (ей, бедной, пришлось улечься в постель одной), на рассвете вышла в садик. И на ее глазах стена погребла спящую Гулю. Только ее.

Остальные постояльцы, спавшие в других комнатах, среди них и члены киногоруппы, уцелели и бросились врассыпную, подальше от развалившегося здания.

Возле гостиницы осталась лишь Светка. Напрягаясь изо всех сил, своими веточками-руками она растащила тяжелые глыбы, завалившие Гулю. Стоя метрах в ста от нее, здоровенные дяди подавали ей советы. Если бы хоть один из них вовремя пришел девчонке на помощь, все еще могло окончиться благополучно. Гуля, когда Светка раскопала ее, была жива и смогла подняться. Но уйти они не успели. От порыва внезапно налетевшего ветра упала вторая, надтреснутая стена.

По слухам, сестер похоронили в общем гробу. То ли в городе ощущался дефицит похоронных принадлежностей, то ли режиссеру, человеку чувствительному, не захотелось их разлучать.

А портреты Светкины куда-то сгнули. Может, она взяла их с собой, и последнее, что осталось от ее талантливой души, погибло под развалинами. Или их просто выбросили чьи-то равнодушные руки.

Совсем растерявшись от горя, Валя бросила общежитие и вернулась домой, к родителям. О Гуле и Светке она никогда ни с кем не говорила. Не могла. А в институте их очень быстро позабыли. Киноработники, даже будущие, отличались, как и принято в их профессии, железобетонными сердцами.

Но долгими бессонными ночами Валя слышала голос Светки, низкий, взрослый, умный голос:

Напрасно в дни Великого Совета,
Где высшей власти отданы места,
Оставлена вакансия поэта.
Она опасна, если не пуста!

До ВГИКа добираться было уже поздно. Поднявшись со скамейки, с трудом передвигая ноги, Гаврошка и ее Старшая Сестра отправились домой, к матери, должно быть, уже переставшей надеяться, что увидит дочку живой.

Тяжелые, пахнувшие железом троллейбусы подмигивали Вале желтыми глазами: „Мягкие у нас колеса мягкие”, — басили они, гостеприимно приглашая Валью броситься под них на теплый асфальт, обещая мгновенную, легкую смерть.

Но она знала, что не имеет права не выполнить свой долг перед Юркой. Не имеет! И, зажмурившись, проходила мимо соблазнитель, мимо, мимо. Ей нужно было прожить еще двенадцать дней. Только двенадцать. Целых двенадцать!

Глава 3

ФИЛЬМ ПО ЧЕХОВУ

*Всем тем, кому я доверял,
Я с этих пор уже не верен.
Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян.
Б.Пастернак*

И утаяло из Валиной жизни еще трое суток. Не длинных. Спасибо дяденьке Настоящему врачу: он прописал Вале хорошее снотворное, по половине таблетки на ночь. Ежели ухнуть сразу пару таблеток — можно забыться на сутки. Здоровье свое жалеть, что ли? Смешно! В Валином-то положении.

Но как-то она переборщила,хватила три штуки сразу и почувствовала себя настолько неважно, что это заметила даже невнимательная, да еще оглушенная го-

рем мать. Заметила и встревожилась. Лицо у Вали сделалось эффектного зеленого цвета, как у утопленницы из цветного фильма, зато губы поголубели, а глаза покраснели. Может, где-нибудь на других планетах такой колер никого бы не удивил, но ведь она не успела покинуть осточертевшую Землю.

Пришлось временно оставить таблетки и вернуться к прежнему методу странствий. Оставалось еще девять суток жизни. Девять дней, девять ночей... Много.

На этот раз Валя отправилась на киностудию учебных фильмов, небольшую шарагу, где служила когда-то верой и правдой редактором несколько не самых худших лет.

Студия помещалась недалеко от Валиного дома, за какой-нибудь час она дотацилась туда пешком. Доплелась, чтобы увидеть на месте студии полуразрушенный дом и рядом глубокий, как кратер вулкана, котлован. Тут только она вспомнила, что студия еще в прошлом году переехала в другое здание, а здесь должны чего-то строить.

Как обычно, рабочих живенько перебросили на новый объект, наверно, давно уже, потому что края котлована стали осыпаться. Вон и доски гниют на земле целыми штабелями, брошенный кран ржавеет. Обычная картинка.

Она протиснулась в покосившийся дверной проем, из которого чьи-то запасливые руки успели утащить двери, поднялась по свернувшимся гармошкой ступеням на второй этаж.

Тесная комнатка с неуклюжим, облупившимся письменным столом, брошенным за старость, — бывший ее кабинет. Валя присела на такой же старый с вылезшим поролоном стул. Закрыла глаза. Земной шар мгновенно, послушно и плавно закрутился в обратную сторону.

— Валь Санна! Валь Санна! — Иронька треплет ее за

плечо, даже не пытаясь сдержать ухмылку. — Кемарите, Валь Санна? Нехорошо спать на работе, ай-яй-яй!

А Валя сама не заметила, как задремала на минутку: всю ночь дежурила на звукозаписи. Надо бы нынче взять отгул, так вроде положено, но невозможно. Последние дни квартала, весь план студийный на ниточке висит, а вместе с планом не только премиальные, черт бы с ними, их, скорей всего, не будет (потому — ни в жизнь этот самый план не перевыполнить), но вот ежели положенные сто процентов студия не натянет, — в банке всем жалованье задержать могут, и надолго.

И сейчас народ студийный со чады и домочадцы взирает, как на спасителей, на редакторов: от их умения маневрировать, улещивать членов художественного совета, в рекордные сроки перекраивать сценарии и фильмы зависит благосостояние многих семей.

Голова гудит. До чего гудит голова! И не вся, а лоб. Прямо чувствует Валя, как обессилившие ее мысли засыпают в мозговых извилинах. Загнала она их, задергала, а ничего не попишешь. Дальше ехать надо. Погоняй, не жалеи!

— Валь Санна, на вас глядеть чудно! — сообщает Иронька. — Желаете, я вам черного кофею из буфета?

— Валяй! И по пирожному нам.

— Лечу! — ликует сладкоежка Иронька и исчезает за дверью.

Иронька у Вали — правая рука. Числится помощником редактора, а на самом деле нечто среднее между курьершей и секретаршей. Нужный человечек, одним словом. Жаль только, избаловала ее Валя донельзя.

Пошлешь утречком в кинокомитет с бумажкой на подпись, а комитет рядом, дай Бог, чтобы к вечеру обернулась. Клипсоманка Иронька. Десятки пар сережек-клипс у нее в коллекции, на день по три раза их меняет в ушах, а все хочется закупить еще, еще.

Но Валя Ироньку не то что любит, а, как в деревне говорят, жалеет. И не потому, что сама такой была.

Как раз наоборот. Трудней, куда трудней сложилась Валина юность. Ироньке ведь только восемнадцать стукнуло, Вале — на десять лет побольше. Вроде младшей сестренки эта хитренькая девочка, неудавшаяся киноактриса.

Иронька очень мала ростом, недомерок военных лет, но мордашка славная, похожа на миловидного зайца. Однако, увы, актерских способностей ноль целых, ноль десятых.

Уже второй год штурмует Иронька ВГИК и всевозможные театральные студии. Отовсюду ее отсеивают после первого же прослушивания, но она не сдается, лезет снова во все щели, пытается проникнуть в искусство через черный ход и озлобляется на глазах, грубеет от неудач. Конечно, и помредактора на студию затем устроилась, чтобы какого-нибудь режиссера пленить и главную рольку у него в картине выдрать. На все пойдет эта девчоночка, чтобы насытить свое тщеславие, хотя в общем-то по натуре она неплохая, пустая только, как глиняная свистулька. Много их таких возле всех киностудий кувыркается.

Вот и кофе притащила с миндальными пирожными — помнит Валин вкус.

— Валь Санна, вы сдали фильмочку про Маяковского? — осведомляется Иронька, с прихлебом глотая кофе.

— Ну а как же? — удивляется Валя. У нее протоколов не бывает. Удивительное дело: наедине с одним-двумя людьми она мучительно застенчива, а когда слушателей много — что твой Демосфен.

— Валь Санна, а почему Маяковский великий поэт? — интересуется Иронька, аккуратно облизывая сладкие губки. — Почему он гениальный, а?

— Не надо было в школе на уроках ушами хлопать! — сердито отвечает Валя. — Невежда несчастная. Серость!

Известное дело, взрослые всегда грубят детям,

когда не знают, чего им ответить. — И вообще, Ирина, ты бы лучше смоталась в большой просмотровый зал, выяснила, что там крутят. Надо же быть в курсе!

— Слушаю и повинуюсь! — с готовностью отвечает Иронька и, прихватив пустые чашки, скрывается за дверью.

Валя облегченно вздыхает. Лучший способ избавиться от Ироньки — послать ее все равно куда и зачем. Просмотровый на первом этаже; по дороге, на лестнице, Иронька, конечно, повстречает немало приятельниц, секретарш и монтажниц, затеет меняться с ними клипсами, обсудит последние новости, старшим косточки помоеет. Не скоро ее дождешься! Спокойно поработать можно.

Валя раскладывает на своем столе очередной сценарий, но вместо того, чтобы начать править текст, все думает об Иронькином вопросе. Просто так она спросила, от нечего делать, или даже этой не самой умной девчонке ясно: тут что-то неладно. Ну почему, действительно, он самый великий? Как это определили?

Вот если бы поэты бегали наперегонки, тогда бы все ясно стало: кто первый порвал ленточку, тот и победитель, самый, стало быть, величайший. Но поэты ведь другим рукомерством занимаются.

Как-то давно, проходя по площади Маяковского, она задумалась об этом и даже, придя домой, спросила Юрку, мужа: „Скажи, пожалуйста, зачем на площади установили памятник хулигану районного масштаба? Челюсть — во! Лицо — врожденный дебил. Кулаки, как у пещерного человека. А написано, что он великий поэт. Неужто Маяковский и правда этак выглядел? И потом, что эта надпись — на неграмотных рассчитана? Ведь стихи его в школе наизусть учить заставляют, и большей частью они, мне так кажется, лобовые, примитивные, мысли какие-то нескладные”.

Ух, как рассердился тогда Юрка! И долго кричал Вале, молодой еще, горячий, что стихи Маяковского

гениальные, замечательные и распрекрасные, а она ничего не чувствует, не понимает и не знает, будто первый день как на свет родилась.

Гаврошку подмывало искренне ответить, что это и есть настоящая поэзия, коли воспринимаешь ее будто новорожденный впервые чистый, глубокий тон услышал, или, напротив, фальшь нежное ухо резанула. А что она может поделывать, если Маяковский ей эстрадного плясуна напоминает, притом не центральной эстрады, а курортной какой-то, что ли? Святотатство просто: читать Пушкина, Лермонтова, Тютчева и полагать, что Маяковский с ними из одной деревни!

Но все это Гаврошка молча про себя проговорила, как обычно, а Старшая Сестра принялась ласково успокаивать Юрку (сердце у него! Врожденный порок). И твердила Старшая, что она, Валя, конечно, неумна, и сердиться за это на нее смешно, что с женщины возмешь! Лучше она побежит сейчас на кухню Юрке омлет приготовит, какой он любит, с вареньем.

И Юрка, дитя малое, успокоился и даже заулыбался. А у Гаврошки от горестной мысли заохлодели губы: даже муж, друг ее, Юрка, мыслит школьными прописями. Какое счастье, что Старшая Сестра имеется, с ней хоть поспорить можно.

И на кухне, колдуя над сковородкой, сказала Гаврошка Старшей Сестре:

— Думаешь, мне Маяковского не жалко? Так рано ушел и не по своей воле. И нигде-то нам не объяснили: почему? Ведь его как правильного подают, как безошибочного. Может, его враги народа тюкнули, а? Как это никто до такого объяснения не додумался?

И зевнула Старшая Сестра:

— А ну его совсем! Он ведь задолго до нашего рождения помер.

И возмутилась Гаврошка:

— Нет, ты подумай, закон у нас в России, что ли, такой, поэтов беспрерывно уничтожать. Пушкин, Поле-

жаев, Лермонтов, Блок, Есенин, Мандельштам, Цветаева. И все они — казнены, своей ли, чужой рукой. Невозможно им было здесь жить. Ну почему?

— Недисциплинированные они все, богема, вот что, — решила Старшая Сестра. — И алкоголем многие баловались. А нервная система, она не восстанавливается.

— Да ведь это дебилы пьют, чтобы возместить отсутствие мозговой деятельности. А они вином от нервных перегрузок спасались. От тоски безнадежной.

— Так на так и выходит, — не сдавалась Старшая Сестра. — И потом романы всякие, любили много...

— Поэты умирают без любви, а не от любви! Господи, какая же ты неисправимая обывательница, — вздохнула Гаврошка.

— Где это сказано, что обыватели — самые глупые и ничтожные люди? — не сдавалась Старшая Сестра. — Где? Может, лжа это? Может, наоборот, опора мы человечества.

— Ладно, об этом успеем поспорить, — отмахнулась Гаврошка. — Ты мне объясни, зачем Маяковского первым поэтом назначили, приказом, так сказать, по армии искусств? Что у нас за порядок дикий: повсюду начальство кого-нибудь назначает главным и непогрешимым. Например, один великий физиолог — Павлов. По растениям был великий Лысенко. Разжаловали его, правда, но сколько успел натворить! У режиссеров театральных — великий Станиславский. У прозаиков — великий Шолохов. Как в армии: впереди красуются маршалы, а за ними безликой массой подчиненные. И не могли шевельнуться без приказа! Субординация. И ладно бы, когда великий Сталин был жив, а теперь-то зачем? Ведь ежели конкуренции способностей нет — любое дело замирает.

— Всякой ты бочке затычка! — зевнула Старшая Сестра. — Переверни лучше омлет, как бы не подгорел. А до философских материй тебе-то что?

— Как мне что? — возмутилась Гаврошка. — Я один раз живу, и посреди лютой китайщины.

— Шш... — зашипела Старшая Сестра, — молчи в тряпочку. Не одна ты такая умная. Другие молчат, и ты молчи, молчи, молчи. У тебя муж больной, помни: вякнешь что — по нему рикошетом ударит.

— Я помню, — вздохнула Гаврошка.

Стук, стук, стук...

— Можно войти? — прерывая Валины воспоминания, в ее кабинет вваливается режиссер Тихон Бостон, невысокий бочкообразный гражданин с довольно красивой еще физиономией: синие глаза, черный чуб. Только пятнистый румянец на мятых щеках и расшлепанные губы под вислыми усиками выдадут хмурагу со стажем.

Собственно, настоящая фамилия, наследие предков, у Бостона какая-то не экстравагантная, но он, поступая во ВГИК во время оно, сменил ее на шикарный псевдоним, выбранный отнюдь не в честь американского города — о нем тогда Тихон и не ведал, а в честь модной материи, богатого отреза на костюм, который он как раз приобрел к приемным экзаменам. Ради справедливости следует добавить, что всю жизнь он порывался писать свою фамилию через „а” — Бастон, но встречал сопротивление со стороны всевозможных мелких чиновников, как-то: кассиры, паспортисты и прочие, а также и собственной супруги, дамы, равнодушной ко внешним атрибутам.

За много лет до войны, окончив всеми правдами, а больше неправдами режиссерский факультет (в основном сыграла роль биография, бедняцкое, сиротское происхождение, о которых Бостон, бывший матросик и вообще тертый калач, лихо наврал), за полной невозможностью использовать его по специальности, Бостон был брошен на профсоюзную работу.

В кино принято говорить, что кинорежиссером может быть каждый, кто не доказал обратного. Бостон именно доказал, еще на студенческой скамье. Он было

сильно преуспел на руководящей работе, но на свою беду на банкетах и прочих бесплатных угощениях пристрастился неизлечимо к зеленому змию и приохотил к этому вредному пресмыкающемуся и собственную супругу. Постепенно теряя позиции, он спускался все ниже по лестнице успехов, пока не очутился уж в полу-подвале — освобожденным председателем месткома на студии учебных фильмов.

Сейчас он, видимо, явился по каким-то серьезным делам: нахмуренные брови, сдвинутые в одну редкую тропинку, выдавали не очень привычную для Бостона озабоченность.

— Вот что, Валентина Александровна, — мямлит он под вопрошающим взглядом Вали, — э-э... Как бы тут подойти к сути... Э-э...

— Опять что-нибудь потеряли? — догадывается Валя. — Шапку или список неплательщиков профсоюзных взносов? — Догадаться нетрудно. Последние дни Бостон часами бродит вокруг студии, тщетно разыскивая что-то на земле. Вероятно, у него опять начинается приступ белой горячки — дело для него привычное.

— Хуже! — трагически восклицает Бостон. — Вы ведь знаете мою супругу? Она — выдающаяся женщина и повсюду вызывает на себя обращение.

Валя кивает. Еще бы! Жена Бостона очень популярна в киношке.

— Так вот... Она пропала! — выпаливает Бостон.

— Найдется! — успокоительно говорит Валя. — Наверно, в очереди за чем-нибудь стоит.

— Очень возможно, — соглашается Бостон, но продолжает топтаться у ее стола.

— Она уже вторую неделю как пропала, — наконец сообщает он.

— И вы сейчас только спохватились? — изумляется Валя.

— Почему сейчас? Я еще вчера начал беспокоиться: куда, думаю, она подевалась? Надо, думаю, посовето-

ваться с Валентиной Александровной, она отзывчивая женщина.

— Спасибо! — Валя пытается сообразить, куда могла задеваться супруга Бостона, но лоб все болит и никакое правдоподобное объяснение не возникает в ее усталом мозгу. — Знаете что, позвоните в отдел находок утерянных вещей, — неуклюже шутит она, пытаясь как-то утешить Бостона. — Может, ее нашли и туда доставили.

Но Бостон не улыбается.

— А как туда звонить? — вопрошает он.

Валя не успевает ответить. Странный шум в коридоре привлекает ее внимание. Вместе с Бостоном она выходит. Окруженные гогочущими монтажницами, смущенно озираются посреди коридора рослый молодой милиционер и женщина в вытертой мужской шубе и летней соломенной шляпке, украшенной искусственным цветком.

Красный мак на длинном стебле свисает к ее сильно подбитому носу. На шляпке тает снег. Женщина кокетливо щурит розовые глазки и посылает Бостону воздушный поцелуй.

Все объясняется предельно просто: за скандальчик в забегаловке супругу Бостона поместили на пятнадцать суток в узилище. Строгости пошли. Всякую мелкую драчку уже сразу за хулиганство считают! Мало того: по новым правилам эти самые хулиганы должны кормиться за собственный счет, а у Бостонихи ни копейки за пазухой, жратву ей никто не приносит. Вот, чтобы не загнулась она преждевременно от бескормицы, движимый чувством человеколюбия, надзиратель и доставил ее, порядком уже отощавшую, на работу к любящему мужу.

Вопрос легко разрешается. Бостону выдают аванс в бухгалтерии, в счет жалованья. Оставив малую толику себе, он вручает остальное милиционеру, при этом внушительно сообщает, что он — известный кинорежис-

сер, он всегда величает себя эдак (хотя не поставил за жизнь даже частевки), и просит „устроить супругу как можно удобней и комфортабельней”, по-видимому, путает тюрьму с домом отдыха.

Не успевает милая женщина со своим спутником покинуть студию, как в Валин кабинет с пронзительным воплем врывается Зинка-монтажница. Она требует немедленно убрать из ее монтажной уснувшего там пьяненького звукооператора Николая Николаича.

— Помилуй, я-то здесь причем? — разводит руками Валя.

— Вот все так отвечают, все! — рыдает Зинка, — а у меня, обратите внимание, не позитивная монтажная, а негативная. Если я на минутку выйду, а он с пленочкой беды натворит, во сколько это студии обойдется?! Ведь негатив в единственном экземпляре, в е-дин-ствен-ном! Соображаете? Заново все переснимать придется!

Валя соображает.

— Так вели осветителям, пусть его перенесут в кладовую. Он спит крепко, не добудишься, но не храпит, культурно спит, я бы сказала. Он у меня здесь как-то раз тоже... Ничего страшного! Отоспится, а ночью на съемках будет как огурчик. Не начинающий же какой-нибудь, алкаш со стажем.

— А кладовщица не соглашается его брать! — на той же нестерпимо истеричной ноте выкликает Зинка. — Я пять минут умолила Наташку-художницу с ним посидеть, а дальше что делать? Мне по работе выходить требуется, не лялякать! А он в это время возьмет и порвет пленку.

— Никогда же не рвал, — вяло возражает Валя.

— А теперь вдруг возьмет и... Вы можете за него поручиться? То-то! Я за родного мужа не поручусь, а не то, что... А муж у меня, знаете, какой? Утром шмякнет на стол двести граммов сливочного масла несоленого и только приговаривает: — Зина, мажь, Зина, ешь, Зина, мажь, Зина, ешь! И все равно!

— А почему кладовщица не хочет взять пьяного звукооператора? — удивляется Валя. — У нее помещение просторное и прохладно, они там быстро в себя приходят. Всегда раньше...

— Валентина Александровна! Я не понимаю просто, на каком свете вы живете! Вся студия знает, что у нашей кладовщицы сын на негритянке женится, и она от огорчения рвет и мечет, а не то, чтобы пьяных привечать.

— Тоже мне расистка! Не любит чернокожих?

— Да она вовсе не чернокожая, невестка ее будущая. Она к нам на днях на студию заходила с женихом. Ничего! Смуглая только, как из Крыма приехала, не то индейка, не то мексиканка. В аспирантуре состоит.

— Так чего кладовщице надо? У нее сын вообще таксист.

— Валентина Александровна, вы как ребенок малый! А анкета? Ведь с работы пошарить могут, очень просто.

— Кладовщицу?

— Не кладовщицу, а сына ее. У них, у таксистов, строго. И верно, подумайте: ведь если жена негр, у ней, выходит, родственники в загранице. И сама, может, шпионка какая. Ну зачем она на студию нашу заходила? Под предлогом со свекровью познакомиться, а на самом деле, может, выведать чего хотела!

— Конечно, — соглашается Валя. — Ее американский президент подослал выведать планы киностудии учебных фильмов.

Зинка секунду, оторопев, пялит на нее свои сизые, искусно подведенные очи, потом вылетает, должно быть, делиться с кладовщицей новыми сведениями.

Но свято место пусто не бывает. На смену Зинке в дверях возникает Инна. Когда-то они учились вместе в институте, и с тех самых пор Валя все ломает голову: плюгавая Инка или хорошенькая?

Если хоршенькая, почему у нее мордочка так

смахивает на мопса? А если плюгавая, почему она делает вид, что ужас как хороша собой?

Одевается Инна, как колибри. Но птичкам, возможно, такой стиль больше к лицу. И прическа излюбленная Инкина, покосившаяся башня, вызывает какие-то географические ассоциации, но в восторг не приводит.

Еще стоя на пороге, Инна аффектированно воздевает руки, скользит по линолеуму на огромных каблучищах и звучно целует Валю в лоб, совершенно игнорируя ее попытки уклониться от этого киношного обряда.

— Родная до слез! — восклицает при этом Инна. И добавляет со сладкой улыбкой: — Я получила аванс.

— Поздравляю.

— Ведь это благодаря тебе. Ты со мной заключила договор, — умиленно произносит Инна, вынимает из сумки пачку денег, внимательно пересчитывает и, отобрав несколько бумажек, кладет их на стол.

— Что это? — не понимает Валя.

— Лапонька, я, разумеется, считаю тебя своим полноправным соавтором.

— У нас на студии разрешается редакторам писать только один сценарий в год. Я свой давно сдала. А этот пиши ты сама. Ничего, справишься.

— Валя, милушечка, ты не поняла, не надо тебе ничего писать: ты будешь мой негласный соавтор, фамилию только мою поставим, а гонорар и потиражные пополам. Так все делают!

Валя молча хватается со стола забытую кем-то жестяную коробку с пленкой и замахивается на Инку. Та, взвизгнув, вылетает, не забыв прихватить деньги.

Через секунду ее кривая башня вновь возникает в дверях.

— Валечка, родная до слез, извини! Но все. Ты ведь не от мира сего. А ходишь третий год в одном костюме. Я и подумала...

— Пошла вон! — свирепеет Валя. Инна исчезает. На этот раз окончательно.

Валя вытирает платком лоб — стирает Инкин поцелуй. Ее тошнит. Конечно, зачем наводить тень на плетень, многие редактора не брезгают взятками. И не разберешь, кто кого развращает: этакие Инночки, слабенькие, на тройку с минусом, сценаристки, или редактора-хищники, эксплуатирующие несчастных авторов. Ведь у редкого (талантливого даже) сценариста хватит мужества отказать шакалу: сведет счеты, помешает работать. Так и получается, что одни спиваются от горя, от того, что не могут использовать хоть четвертушку отпущенных им природой способностей, другие — от того, что легкие деньги им сами в руки плывут, не жаль их, да и червячок немножко совесть гложет, так чтоб заглушить... Страшно! Совсем недавно все юные были, голубоглазые, честные...

— Валь Санна! — сияющая Иронька влетает в Валин кабинет, — главный редактор повелел вам по-быстро-му когти рвать — картинку сдавать.

— Какую еще картину? Я в этом квартале три вела, и все уже сдала.

— Так не вашу, а Сенюшкину. Сенюшкин, новый редактор, знаете, которого вчера на картошку послали в колхоз, вот его картину сдавать надо.

— Полна студия редакторов, — рассердилась Валя, — а я у вас все-таки заместитель главного, у меня дел хватает. Целыми днями чужие сценарии переписываю!

— Валь Санна, он говорит, главный, только вы сможете ее всучить: очень плохо отсняли, а комиссия — нет хуже, тигры лютые!

— Ну и что? Во всех комиссиях тигры, а эту картину я не видала даже, не ведаю, про что она.

— Смотреть вам уже поздно, Валь Санна, комиссия посмотрела, обсуждать начали. Да я вам сюжет расскажу по дороге.

Иронька подхватывает Валью под руку, и та идет

безвольно к просмотровому залу. Голова у нее болит, ох, как болит голова!

До чего же надоели эти комиссии! Студия у них заказные картины снимает. Различные министерства их заказывают. Больше всего Просвещение — для школ и этой, как ее, внеклассной работы. Но случается и Здравоохранение темку подбросит, и Легпром, и Металлургия. Много их, министерств.

Чтобы с планом огромным полегче управиться, сто процентов на-гора выдать, художественный совет, что картины принимает, на десяток комиссий разбили, по тематике. В комиссиях — специалисты, профессора, научные работники, это для них, конечно, не основная работенка, а так, халтура. Соберутся разок-другой в месяц, по десять рубликов каждому отвалят, а они обсудят готовый фильм и решение примут: выпускать его так, нет ли, и какие поправки.

Иногда директор студии кричит в сердцах, что нарочно, мол, комиссии по несколько раз картины отвергают, позаседать будто хотят лишний разок, заработать побольше. Муть, наверно. Просто привыкли все к бюрократической тягомотине и „да” или „нет” решить как-то побаиваются. Советские люди, чего там! Не гнилой Запад какой-нибудь!

Третий раз Вале с комиссией нынче общаться. Эх!

— Иронька, голубушка, ты, значит, этот фильм видела, что мне сейчас сдавать?

— Конечно, Валь Санна, вот как вас сейчас вижу.

Золотой человек Иронька, все подряд смотрит, обожает девочка кино. Ей что „Основы введения в алгебру”, что „Новейшие методы каменной кладки” — одинаково любопытно.

— Так про чего эта фильма будет? — осведомляется Валя, слегка тормозя ход перед просмотровым залом.

— Про капусту, Валь Санна, — сообщает Иронька.

— Угу... А про какую капусту?

— Обыкновенную, из какой щи варят.

— Да? Вот бы нам сейчас щей горячих, — вздыхает Валя. — Опять нынче пообедать не успели. Так что там с овощью этой происходит?

— Сажают ее, передовыми методами.

— Ну разумеется. У нас все передовое! И где ее сажают?

— На рельсах, — равнодушно отвечает Иронька.

— Матушки мои! На каких рельсах?

— На железнодорожных, — скучненьким голоском отвечает Иронька и почтительно открывает перед Валею дверь просмотрового. Знает помредактора субординацию.

И Валя входит, потирая ноющий свой лоб, и ровно ничего не соображает.

За столиком возле потухшего экрана держит речь осанистый дяденька, борода — седыми стружками. Кто он? Спутались все члены комиссий, примелькались. Не то академик известный, биолог, не то поздний кандидат из агрономов. Поди вспомни!

„Ну, ну... — соображает Валя, — поболтай. А я тем временем из слов твоих скумекаю, что к чему с редькой этой проклятой. Ничего, сдам как-нибудь. И не то сдавала!”

Она мышкой прокрадывается к крайнему стулу. Оратор все бубнит, надолго, видать, завелся.

„О, Господи, да ему очень не нравится картина! — вдруг понимает Валя. — Так прямо и режет, что не нравится. И другие члены комиссии согласно кивают. Беда! Ну ничего: еще двое-трое язычком почешут, а у меня пока лоб, глядишь, пройдет, я и сориентируюсь. Чего он мелет, дурачина старый? 'Глубина постановки не конгениальна глубине замысла!' Надо же до такого додуматься! А члены все кивают, как болванчики. Зарезать фильмик решили, это точно! Любопытно, какой жулик-рационализатор измыслил капусту на рельсы железнодорожные высаживать? Места, что ли другого не нашлось? Ну, понятно, коли б такое во времена От-

ца и Учителя происходило: тогда предложил бы кто шустрый страусов на рельсах выводить — общий восторг и трудовой энтузиазм! А теперь — почему? И потом ведь когда поезд по рельсам покатит, он подавит всю репу к чертовой бабушке, не соображают они, что ли?! Чего здесь обсуждать? Да не просто подавит, крушение произойти может, а в поезде дети малые, пассажиры несчастные...”

Гаврошка рвется вскочить и оборвать оратора, высказать, чего она обо всей этой бодяге думает, но Старшая Сестра крепко держит ее за плечи и зажимает ей рот рукой.

— Чудачка! Да раскрадут всю брюкву по штучке, прежде чем посадят! Не знаешь, что ли, как у нас эти дела делаются?

„Ох, мука-мученическая, как болит лоб... И члены комиссии сквозь мигрень цветными смотрятся, синенькими в крапинку. А так все у них, как у людей. Говорить умеют членораздельно. А зачем? Бандарлог, обезьянье племя! Играют в деятельность, играют в обсуждения, в заседания, а коэффициент полезного действия, капеде пресловутый, у них не то ноликом, не то отрицательными цифрами выражается. Болтают, болтают, и с каждым выболтанным словом тают минутки жизни и их, и моей. Бессмысленно уходят, навсегда.

Уф, слава те, Господи! Кончил дяденька. Усомнился напоследок в целесообразности выпуска подобного фильма на экран. Еще бы не усомниться! Поглядим, чего следующий умник доложит. Что такое? Отчего они все на меня дружно уставились? О-ох... Видно, то последний оратор заключительное слово держал. Теперь моя очередь. Ну ладно, я же вам выдам!”

И Валя подымается. Делает рассчитанную паузу. А потом прочувствованным голосом (обязательно прочувствованным, со слезой! Проверенный способ: лучше клюют) начинает издалека.

— Многоуважаемые товарищи! С глубоким внима-

нием и интересом я прослушала все выступления членов комиссии (Получайте! Все видели, что к самому концу пришла и лишь последнего оратора на полдороге застала. Так вам и надо!) ... Не будет преувеличением сказать, что вся наша студия, вся наша съемочная группа с глубоким волнением и чувством особой, исключительной ответственности приступила к постановке столь значительной по теме (Слушают, гады. Кивают. Они всему кивать привыкли, как лошади цирковые) ...

Валя долго бьет языком, не скупится на сравнения режиссерской работы с де Сантисом и Жан-Полем ле Шануа, а заодно поминает ни к селу, ни к городу подвернувшихся под расшалившийся язык Пушкина, Шекспира и Михалкова. И, главное, ни слова конкретного о никогда не виденной чуши. (Бес его знает, кто из режиссеров студийных отснял распроклятые кабачки, в плане больше ста сценариев, все не упомнишь.)

В конце концов члены комиссии с остекленевшими глазами принимают фильм без единой поправки, и председатель благодарно трясет Вале руку.

— Редко услышишь такое интересное выступление, столь глубокий анализ, — растроганно приговаривает он.

И Валя, гордая, в сопровождении почему-то примолкнувшей Ироньки, возвращается в свой кабинет, наскоро заполняет акт о приемке картины и спешит в кинокомитет сдавать капусту в цензуру. Правило: о чем бы ни был отснят хоть малейший клочок пленки — все цензоры должны проглядеть, не дай Бог крамола какая просочится или военный объект случайно в кадр попадет.

В комитете Иронька тащит коробки с пленкой на склад, а Валя проторенной дорожкой (три года уж ее топчет) подымается на последний этаж — визировать сдачу.

С завотделом, принимающим их продукцию, цензор он в общем, у Вали давно простецкие отношения.

И она без стука входит к нему в кабинет и приветливо говорит: — Здравсьте!

Но за зеркальным комитетским столом сидит не старый знакомый, а некто совсем иной. Не кто-то. Суконтиков. Валя сразу узнает его и холодеет. А Суконтиков, важно буркнув невнятное приветствие, склоняется над столом, пытаясь сделать глубокомысленное лицо. Узкий, куполом, лоб его девственно гладок, зато под лакированными светло-желтыми глазками — веера морщинок. Постарел Суконтиков. Сдал. Не видать прежней выправки. Несколько лет все же минуло. А он не молод. Да и неприятности кое-какие были. Давно уж поговаривали, что старый начальник отдела на пенсию собирается. На его место Суконтикова, выходит, всадили. Жив курилка!

Ишь, голову поднял. Узнал, что ли, Валу? Смотрит внимательно, не мигая. И раньше так глядел. Гаврошке очень хочется сделать еще один шаг вперед и ударить Суконтикова по щеке, чисто выбритой его, выхоленной щечке. За Максимыча, за себя, за всех, кому Суконтиков непоправимо покалечил жизнь.

Но Старшая Сестра изо всех сил вцепляется ей в руку.

— Не смей! Что ты этим докажешь? Драку с ним затеешь? Так он милицию вызовет, себя же на посмех выставишь, за мелкое хулиганство привлекут. Да и разве его этим проймешь?!

Но Гаврошку это не убеждает. Другое ей не преступить: она просто не знает технически, как ударить человека. Не умеет и все.

— Садитесь, пожалуйста! — слышит тем временем Валя шелковый голос Суконтикова и машинально садится напротив него в импортное полукресло.

— Вы вгиковка? — доброжелательно осведомляется Суконтиков, покосившись на значок на отвороте ее жакета.

У Вали в ответ ползет вверх левая бровь, как всег-

да, когда ее сильно что-то волнует. У Суконтикова на обороте тот же значок. Но он ведь не учился в их институте, гад! Валя отлично знает его биографию от покойного Максимыча.

Давным-давно этот самый Суконтиков одолел курса два захолустного военного училища, притом не высшего, а среднего, но успехи в науках ему решительно не давались, и пришлось сменить военную форму на партикулярное платье. Затем он служил некоторое время дрессировщиком собак на учебной площадке клуба служебного собаководства, но одна непочтительная овчарка тянула его сильно за щеку, оставив небольшой шрам, который Суконтиков потом выдавал за след военного ранения. Не преуспев и с четвероногими друзьями человека, Суконтиков устроился в отдел кадров какого-то малозначительного учреждения и там вдруг нашел себя и принялся делать головокружительную карьеру.

Вскоре он уже был начальником отдела кадров большой киностудии, а оттуда быстренько взлетел на пост заместителя министра культуры по кадрам. Враги его (чего-чего, а врагов у Суконтикова хватало) подметили, что предшественники Суконтикова никогда не покидали сами свой пост в связи с болезнью, скажем, или с переходом на другую работу, а непременно освобождали ему место вследствие ареста, а большей частью и скорой гибели в тюрьме.

Так человек, не сумевший завоевать авторитет у десятка собак, стал повелителем, вершителем судеб тысяч способных, образованных людей, самоотверженно тянущих жесткую лямку в советском кинематографическом искусстве.

В эту пору познакомились с ним Валя и ее друзья...

Суконтиков меж тем внимательно проглядел акт сдачи фильма, который Валя растерянно уронила к нему на стол.

— Посмотрим, посмотрим вашу картиночку и завтра сообщим на студию свое решение, — ласково промурлыкал Суконтиков. — А почему вы название картины в акте не поставили?

Почему? Не знает она, как окрестили чертову капусту, а спросить некогда было. Все ведь гонка, гонка.

— Ничего, не беспокойтесь. Наша секретарша переписшет название с титров и вставит в акт. Я понимаю, зашиваетесь, последние дни квартала. Вгиковцы всегда друг дружке навстречу пойдут, верно? — улыбается он Вале на прощанье.

Ишь, какой обходительный стал!

И она уходит, так ни слова и не ответив ему. Изменилась Валя за эти годы. Косы длинные обрезала, в блондинку перекрасилась, ну и пополнила, конечно. Не узнал Суконтиков!

Лишь в коридоре, отдышавшись, она начинает соображать: почему же он себя вгиковцем-то величает? Эдак, выходит, палач, какой Януша Корчака в лагере смерти убил, должен непременно педагогом именоваться. Столько же оснований!

Вместо того чтобы сразу вернуться на студию, Валя заползает в огромный просмотровый зал кинокомитета. Там пусто, темно и как-то потусторонне, как в мире Кафки, и можно, молча воя, забившись в угол, зализывать свои раны.

По-настоящему, если глядеть правде в глаза, во многом повинна была Гаврошка. Ее очередной, неожиданный, как всегда, срыв едва не стоил Вале жизни и, во всяком случае, отнял пуды здоровья.

А началось все с того, что однажды, когда Валя была уже студенткой четвертого курса, назначено было комсомольское собрание. Общеинститутское. Обширное. И Валю, тихую девчонку, отличницу, к тому же умевшую держать речи на обсуждениях, вызвали в деканат, и заведующий кафедрой предложил ей выступить от своего факультета.

— О чем мне говорить? — послушно спросила Валя.

— Только не читайте стихов! — рассмеялся „кафедрал”, добрый человек средних лет со словно нарисованной улыбкой на правильном туповатом лице. Все знали, что, не написав за жизнь и строчки в рифму, Валя увлекается поэзией и готова часами наизусть декламировать.

— Просто расскажите, как распределяют выпускников нашего факультета, кто из них куда устроен, в штат, скажем, определился, или договор заключил. Вообще-то я должен бы вам подготовить выступление, но, признаться, эти дни занят по горло. Да вы и сами отлично справитесь. Побеседуйте с выпускниками, соберите побольше данных.

— Хорошо, — кивнула Валя. — Я постараюсь.

— И покритиковать немножко можно, — подсказал „кафедрал”, — выразить благие пожелания. Ну, да не вас учить, вы — девушка разумная.

И, окрыленная столь высокой оценкой своих умственных способностей и лестным доверием начальства, Валя принялась готовиться к выступлению, очень добросовестно, как все делала в те годы.

В ту секунду, когда ее вызвали на трибуну, Старшая Сестра, должно быть, задремала, убаюканная нудными выступлениями делегатов различных факультетов, в канцелярском стиле докладывающих, что повсюду у них тишь да гладь да Божья благодать и лишь в незначительных мелочах можно кое-что довести до еще большего совершенства.

Не впадая в излишнее самохвальство, Валя могла бы потом утверждать — ежели бы ей захотелось, разумеется, — что ее выступление сделалось эпохальным в истории любимого ВГИКа. Потому как в начале пятидесятых годов (тысяча девятьсот с лишним от Рождества Христова), в столице Советского Союза — стольном граде Москве, — глупенькая до святости студентка объявила доброй тысяче слушателей, что выпускников

сценарного факультета почти перестали принимать на работу и иные из сих несчастливцев уже падают в голодные обмороки.

В тревожной тишине, словно приподнятая над трибуной сотнями загоревшихся глаз, она объяснила, что управление кадров почти у всех обнаруживает какие-то пятнышки в анкетах, хотя, собственно говоря, почти у всех еще нет никакой биографии. Сначала родились, потом пошли в детский сад, потом в школу, потом во ВГИК. Но вот предки, предки...

У одного выпускника родная тетушка вышла замуж за летчика из дивизии Нормандия-Неман и уехала с мужем во Францию. Но хотя летчик тот был награжден высокими советскими орденами и ни в чем дурном не замечен, советский его племянничек оказался вроде бы зачумленным — и никуда в штат его не берут, и договора с ним не заключают, то есть поступают так же, как и с теми честными комсомольцами, которые в соответствующей графе анкеты (всем повелели заполнить на последнем курсе листов в десять бумаженцию со множеством вопросов) откровенно сообщили, что, мол, арестован дедушка или пропал без вести на фронте дядя. Или еще страшнее: отчим побывал в плену.

А это, конечно, неправильно, незаконно, потому что все они настоящие советские люди, молодые и талантливые, и горят желанием послужить своими способностями великой отчизне.

В таком духе Гаврошка поговорила минут десять, перечислив много фактов и не сделав никакого резюме, просто, как ей велели, собрала материал и указала на недостатки.

А затем поднялся незнакомый ей дотол, невидимкой словно бы присутствующий на собрании, заместитель министра по кадрам Николай Иванович Суконтиков и отчетливо заявил, что, по его мнению, люди, подобные Вале, в советской кинематографии работать не будут.

И в перерыве, когда юноши и девушки, только что отбившие ладони, восторгаясь ее мужеством, начали от Вали отворачиваться — и в первую очередь те выпускники, за которых она копыя ломала, — а завкафедрой, завидев ее, возмущенно воздел руки кверху, Валя поняла, что дела ее худы.

— Оч-чень худы! — помертвевшими губами прошептала Старшая Сестра. — И как тебя угораздило, дуручку?

Гаврошке оставалось только развести руками. Как? Сорвалась! Наступил очередной цикл в ее жизни, когда она не могла не говорить правду. Что делать, если изредка в ней оживает дух не то Дон-Кихота, не то кого-то из далеких отважных предков. Отважных, но, по-видимому, не очень рассудительных. Ох, не очень!

В ту ночь Старшая Сестрица совсем не дала Гаврошке спать. Она пилила и пилила ее неумолчно, предсказывая всевозможные беды, вплоть до ночного стука в дверь, и совсем бы ее затерзала, если бы Валя, прикрикнув, не заставила обеих замолчать.

Последующие дни были одними из самых трудных в ее жизни. У Вали как бы открылось внутреннее зрение.словно рентгеновский аппарат появился у нее в глубине мозга и позволил в истинном свете увидеть все окружающее. И то, что она увидела, угнетало ее и прижимало к земле.

И больше всего угнетало ощущение глубокого, непоправимого одиночества. Сильней всего ранили не слова Суконтикова — людей, похожих на него, Валя слишком презирала, чтобы бояться, — а страх и равнодушие недавних друзей.

Драма обманутого доверия, так, кажется, называлась подобная коллизия в учебниках драматургии. Там, правда, ее относили не к Вале, а к некоему принцу Гамлету. Какая разница? И он, сотворенный гениальным мозгом по образу и подобию человеческому, и

Валя условно были равны, или, выражаясь языком математики, подобны друг другу: оба люди, оба представители рода homo sapiens. Но Валя предпочла бы живого товарища по несчастью, пусть не такого тонкого и умного. Прости, Гамлет, Гамлетик, дружок, твои страдания бескровны и потому познать тебя — радость, пир ума. А страдания Марьи Ивановны, идущей за селедочкой, все же ближе, как она ни ничтожна, — ближе по веку... А страдания живого жука еще ближе, он живой. Вон, ползет по ветке за окном, не замечая простертый сверху, открывающийся на две острые створки неумолимый клюв.

С того дня остался у нее в душе незаживающий струп — чуть что — шелушился и начинал кровоточить... А так — так ничего не произошло. Ее никто не тронул: ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц. Выступления ее нигде не обсуждали, даже „кафедрал” постепенно сменил гнев на милость, попросту позабыл, наверно, о бестактной выходке зеленой девчонки.

Аукнулось года через полтора, когда Валя закончила институт, получив диплом с отличием и рекомендацию от кафедры драматургии института в высшую сценарную мастерскую. Туда зачисляли на два года наиболее одаренных выпускников, чтобы помочь им опериться в кино. Два года им платили стипендию, равную зарплатку среднего служащего, а за это следовало лишь разок в неделю являться на студию к своему руководителю, приносить написанные куски сценария, обсуждать их и консультироваться, как писать дальше. Тему советовали, направление давали, а дальше иди, как послушная собачонка на поводке, и, если что-то чуть путное получится, заключат с тобой договор, будут рекомендовать сценарий режиссерам. Как правило, выпускники ВГИКа, сумевшие, несмотря на все препоны, работать по специальности, кончали эту высшую мастерскую.

Однако из десяти счастливцев, угодивших в рай-

ские условия, лишь один примерно действительно выделялся способностями, остальные в институте еле тянули, зато были чьими-нибудь детками, и чаще всего не киноработников, даже самых крупных, а заслуженных военных или деятелей каких-нибудь органов. Вот таким путем...

Но так как в высшую сценарную мастерскую, в сладкую жизнь не попал даже Саша Гуревич, бесспорно очень одаренный поэт, драматург и прозаик, звезда ВГИКа, к тому же вполне зрелый человек (к окончанию института ему уже перевалило за тридцать), за плечами у которого была война, офицерские погоны, ордена и раны, да и партийный билет в кармане, словом, целый короб заслуг и положительных качеств, Валя рассудила, что ей-то огорчаться особо нечего. Все, все, все впереди!

Незадолго до окончания института она вышла замуж за старого друга, Юрку. К двадцати с немножким годочкам Валя, должно быть, отставала от своего биологического возраста: она успела пережить много перипетий в дружбе, но не ведала даже первой любви. Скорей всего из-за того, что годы, когда эта самая любовь должна была опалить сердце, пришлось на послевоенную голодную пору. И по ночам ей тогда упорно и назойливо снилась буханка черного хлеба, а не чьи-то объятья.

И цынга, какой она переболела в войну (врач, к которому отвела ее мать с ранками на ногах, с шатающимися зубами и кровоточащими деснами, назвал эту болезнь авитаминозом, ибо Великий рыбой объявил в одной из своих речей, что цынги у нас нет и, благодаря заслугам партии и правительства, быть не может), эта самая как бы не существующая цынга сразу остановила ее физический рост и сделала слабой и хилой. После войны, правда, она снова начала расти, но перерыв в физическом развитии, наверно, задержал на время приущие гомо сапиенс женского рода чувства. Так, по

крайней мере, Старшая Сестра объяснила Гаврошке ее странности.

Так что, выходя замуж, она радовалась, что у нее постоянно будет собеседник, приятель, с которым можно делить пополам не только кастрюлю супа и постель, но и горе, и радость. К тому же Юрка день и ночь твердил, что любит ее, а Валя здорово устала от равнодушия родителей и изголодалась по вниманию к собственной особе. Однако через месяц после свадьбы она любила мужа так сильно, как положено в ее годы. Только вот жилось им трудно...

Отец Вали по окончании войны вернулся из армии совсем не таким, как уходил. Живой, подвижный, азартный спорщик, заботливый семьянин, он сделался постепенно замкнутым, молчаливым ипохондриком, мрачным и равнодушным ко всему на свете, кроме собственного здоровья.

Отец постоянно бюллетенил, глотал по часам гомеопатические шарики, брал отпуска за свой счет, ездил по санаториям и курортам, лечился, лечился от множества различных болезней. И — опять же в качестве лечебных процедур — все свободное время отдавал спорту.

Он бегал на коньках, участвовал в соревнованиях по излюбленному им теннису, оказывая удивительные для своего возраста успехи. В действительности он был тогда, очевидно, совершенно здоров. Болен был мир вокруг.

И способный человек, мечтавший о серьезной научной работе, широко образованный экономист, не чуждый философской складки, махнул рукой на себя и свое будущее — вернее, на будущее честного работника, каким оно когда-то ему рисовалось, — и старался не видеть ничего в мироздании, кроме врачей, различных методов лечения, диет и лекарств, ушел в малый круг внимания, спасаясь от большого круга, в котором творилось тогда черт-те что. Пятидесятые годы...

Мать Вали, энергичная и работающая, поняв, что прежняя ее профессия библиотекаря дает слишком малый заработок, на какой не просуществоешь с большим мужем (известно, дороже всего обходится лечение мнимых болезней), не смутившись, что ей уже за сорок, поступила на курсы косметичек, где впереди ожидалась радужная перспектива. Будущая профессия, казавшаяся Вале несимпатичной, маме ее представлялась воплощением счастья: очень женственная, она обожала наряды и парикмахерские; и самый воздух, приторный воздух косметического кабинета, где напудренным облаком плавали быстрые смешки и неуклюжие сплетни, представлялся ей целительнее морского. Поглощенная учебой, дававшейся ей нелегко, мать на несколько лет совсем выпала из Валиной жизни. И Валя для нее существовала где-то в антимире.

В то время, перенасыщенное немymi столами, мать ничего не слышала, и ничто, кроме ее собственных мелких дел, не тревожило ее. Как и многие жители этой страны, особенно люди ее уровня, она совершенно не понимала, что творится вокруг, и земля под ногами у нее не дрожала.

У отца же, все понимавшего, но замученного до оупения, как у большинства людей его уровня, вовсе не оставалось сил, чтобы позаботиться о судьбе Вали, помочь ей, хотя бы советом. Кроме того, генотип работника искусства, к которому принадлежали Валя и ее муж, был отцу глубоко чужд. От природы был он человеком математического склада, трезвым, лишенным цветного зрения. И искренне верил, что те, кто будто бы видит (и слышит!) мир в красках, — лентяи и фантазеры.

Конечно, родители Вали были бы счастливы, если бы они с Юркой, окончив институт, уехали бы все равно куда. Жить в двух смежных комнатках в общей квартире, где были еще соседи, совсем чужие люди, ходить к себе в комнату через комнату родителей, неиз-

бежно беспокоя их, невольно посвящая во все перипетии собственной жизни, было тяжело.

Но уехать оказалось некуда. Нигде они не получили бы ни жилья, ни работы. А в Москве все-таки крыша над головой, да, что еще важнее, Юрке удалось добыть редакторскую работу на одной из московских киностудий. Его небольшое жалованье, из которого они помогали еще жившей в другом городе старенькой Юркиной матери, было единственным источником их дохода.

Денег не хватало даже на самую простую еду. Но Юрка ходил на работу, и Валя старалась выгадывать какие-то гроши ему на одежду. Все чаще она сидела на одном пустом чае, уверяя мужа, что только что прекрасно пообедала. От голода у нее все чаще делались припадки дурноты, когда все вокруг кружилось и звенело, и ей казалось, что она катается круг за кругом, круг за кругом, круг за кругом на большой карусели, и игрушечные кони звенят, звенят кукольными уздечками, а горькая слюна жжет губы. Сойти бы! Невозможно. Несуществующая сила прижимает неумолимо к ненастоящему седлу ненастоящего коня.

Она научилась глушить тошноту водой из-под крана, но сил вода не прибавляла. А их нужно было много. Каждый день Валя обходила различные студии, издательства, редакции, всевозможные учреждения в поисках хоть какой работенки, все равно — штатной или договорной, за любое вознаграждение.

Иногда, особенно если работа была уж очень незavidной, что-то ей предлагали. Потом, как правило, просили зайти через неделю, затем еще через неделю. Через месяц. Наконец, она узнавала, что работу давно отдали другому.

Ее однокурники служили в штате или добились более или менее выгодной постоянной халтуры. При чем занятно: работу получили, как правило, по принципу шиворот-навыворот: чем способней выпускник,

тем хуже работа ему доставалась. И наоборот. Валя тщетно пыталась понять: в чем тут закономерность? А Старшая Сестра, настороженная, угрюмая, без устали бормотала: „Молчи, молчи, притворяйся дурочкой, молчи. Притворяйся еще инфантильней, чем ты есть. Молчи! Твоя детскость — твое спасение. Она в какой-то мере обезоруживает. Молчи, не выдавай, что Валя умней Гаврошки! Не сожмешь губы — обронишь зубы! Молчи...”

И верно. Следовало молчать. Вскоре одного из однокурсников арестовали. Это был недалекий, добродушный парень-комедиограф, по прозвищу Мишка-увалень. Менее подозрительного в политическом смысле человека, казалось, нельзя было обнаружить во всем мире. Однако, как выяснилось впоследствии, он совершил преступление, и притом ужасное, от которого буквально кровь стыла в жилах: его сестренка вышла замуж за юного поэта, а тот позволил себе сочинить умеренно, очень умеренно-вольное стихотворение и прочитал его двум-трем приятелям.

За это Мишка, который, правда, крамольных стихов даже и не слышал, получил много лет лагеря строгого режима вместе с сестренкой и ее мужем. Но справедливость была соблюдена: Мишке и его сестре дали по восемь, а поэту — десять. По делам вору и мука!

Так, понемножку, сложились судьбы Валиного курса. Мишка сгинул навсегда. У остальных появились семьи, новые заботы и интересы. И хотя в институте их мастерская выделялась особой дружбой, не мастерская — семья, постепенно они начинали встречаться все реже, и все меньше общих тем у них находилось для бесед. Добыть работу, вырвать, проколотить — неимоверно трудно, вчерашние друзья невольно превращаются в противников, дерущихся из-за одной кости. Рычать хочется, рвать, кусаться, а не обнимать друг друга! Быстро, необратимо жизнь превратила всех во взрослых советских людей.

Только один Максимыч, старый друг, заходил постоянно к Вале и, виновато потряхивая головой, уверял, что скоро-скоро и у нее все станет отлично. Он, Максимыч, лично об этом позаботится. Однажды, придя подвыпившим, он заявил Вале, что любит ее и еще докажет, что он ей лучший друг, чем даже Юрка. Любит за то, что она слабая, как семилетний ребенок, и все-таки сильная, как настоящая женщина. И даже у него, тоже инфантильного, вызывает желание быть ее рыцарем и защитником. Дальше он понес такую чепуху, что Вале стало ясно: Максимыч очень крепко запил.

В трезвом состоянии он Вале не помог, хотя (все считали) сумел бы. Сразу после окончания института, даже еще не защитив диплома, Максимыч устроился на работу референтом заместителя министра по кадрам, того самого Суконтикова.

Это очень озадачило вначале его бывших однокурсников: столько лет знали парня и ничего похожего, казалось, от него ожидать было нельзя!

Однако, видимо, именно его помощью объяснялось, что все их однокурсники кое-как кормились в кино, в основном на должностях мелких чиновников, хотя и были по своим возможностям большей частью литераторами широкого профиля, яркими, одаренными. Но все и тому были рады. Судьба Вали, как пугало на огороде, остерегала их, напоминала, что может быть и им куда хуже.

А Валя по-прежнему куковала. Очень-очень редко ей удавалось получить заказ — рецензию на новую картину, — и несколько дней после этого она ходила, расправив плечи, и бережно хранила шершавые листы, где под столбиками вялых канцелярских строк чернела ее фамилия. Но платили за рецензии мало, и в них нельзя было всунуть ни единой подлинной мысли.

А жестокий старичок с вафельным ликом в то время как раз замыслил истребить еще несколько миллионов своих покорных рабов, подобное желание у него

возникало так же легко, как у нормального человека желание съесть, скажем, грушу. Но на этот раз, возможно, от предвкушения удовольствия, Великий рябой чересчур переволновался и вдруг помер.

Потрясенные горем подданные, прощаясь с ним, в толкучке подавили пару сотен несчастных, главным образом женщин и детей, смяв их в кровавую кашу. Достойная тризна по Отцу и Учителю!

Потом, как водится, наступило новое царствование, поначалу, должно быть, по инерции, не отличимое от старого. Но все же понемногу начал задувать теплый ветер.

У Юрки постепенно стали появляться договора на студиях. Правда, работал он обычно не один, а с принудительным прицепом в виде вовсе не пишущего гражданина со связями, то одного, то другого. Однако даже у Гаврошки это больше не вызывало взрыва возмущения. И Валя, и Юрка, проученные годами жестокой нужды, съезились, смирились со всем.

А у нее самой все оставалось по-прежнему. Доброжелатель ее Суконтиков занимал свой пост и в ус себе не дул. И Максимыч, как и раньше, состоял при нем... Однажды, после долгого перерыва, он вдруг навестил Валю. Маленький ростом, чистенький, похожий на куклу с витрины магазина „Пионер”, на образцового мальчика-куклу, он был в этот день, для полноты сходства, очень бледен.

Юрка еще не вернулся с работы. Валя сидела за столом и пыталась заставить себя писать очередной сценарий, на все сто процентов убежденная, что это артель „Напрасный труд”.

— Гаврошка! — каким-то не своим, странно высоким голосом вскрикнул Максимыч, внезапно появляясь в дверях. И вдруг упал на колени и пополз через всю комнату к Вале: — Прости меня, Гаврошка!

Валя молча глядела на него, не понимая, что происходит. На вид Максимыч казался совсем трезвым. Под-

ползши, он поцеловал ее туфлю, как в старинном водевиле, и громко, со всхлипом, заплакал.

— Что ты! Что ты! Встань! — бормотала Валя, совсем растерявшись.

— Ты ничего не знаешь, дуручка! — плакал Максимыч. — Ничего. Ты меня осуждаешь за то, что я пошел работать к этому негодяю?

— Да, — ответила Валя. Что еще она могла сказать?

— А ты не догадываешься, что если бы не я, где бы ты сейчас была? Я ведь еще на третьем курсе связался с ними, так вышло. И тогда, после твоего несчастного выступления на собрании, он хотел принять самые решительные меры. А я его отговорил, убедил, что неsolidно связываться с глупым подлетком, что это может подорвать его репутацию, понимаешь? А он туп, ты даже не можешь представить себе, до чего он туп! Но хитер. А главное, совсем бессовестный. Абсолютно! Я месяц думал, что это он убил моего отца.

— Что ты, Максимыч! — Вале показалось, что он сошел с ума. — Ведь твой папа жив. Он у тебя майор железнодорожной службы. Ты забыл?

— Я ничего не забыл, — плакал Максимыч. — Это отчим. Моего отца кончили в тридцать восьмом, понимаешь? А маме удалось снова выйти замуж, и отчим усыновил меня. Я всегда скрывал это, и в анкетах, и везде. И даже легко мог скрывать, потому что ведь отец не был осужден. Он умер сразу после ареста от сердечного приступа, так маме написали. А месяц назад к нам пришел один человек. Его только что отпустили, реабилитировали, и он разыскал нас, они сидели с папой в одной камере и дали друг другу слово, что тот, кто останется жив, сообщит обо всем семье. И через столько лет он не забыл, рассказал, что папу убил следователь на допросе. — Максимыч закрыл лицо руками, пальцы у него были слабые и короткие, как у девочки. Он пытался зажать ими рот, но рыданье прорвалось, словно тряпкой по стеклу:

— А-а-а... Так кричать хочу, зажмурившись!

Гаврошка оцепенела. Ей тоже хотелось кричать, звать на помощь кого-то доброго и сильного, как слон, как огромный зверь, по-сказочному умеющий говорить, как зверь, который объяснит, что все это понарошку.

И сказала Старшая Сестра:

— Максимыч, милый! Это — страшное горе, я понимаю тебя. Но ведь оно случилось много лет назад, только ты сейчас узнал, как все было. Ты должен успокоиться и поскорей уйти от Суконтикова. Тебе ведь легко найти хорошее место. А шефу своему скажешь, что потянуло, мол, к творческой работе.

— Что ты лепечешь! — вскрикнул Максимыч. — Я целый месяц изучал биографию Суконтикова и, наконец, точно установил: отца убил не он! Суконтиков просто никогда не служил там в штате и в это время находился совсем в другом месте.

— Но почему ты подозревал его? Мало ли негодяев на свете?

— Тот человек, что сидел с отцом, описал убийцу. У него тоже были блекло-желтые глаза, будто застиранные носки. И он совсем не мигал, глядел и не мигал, как Суконтиков. Я часто слежу за ним, сижу у него в кабинете и слежу, а он за час, честное слово, ни разу не мигнет. Как змея. Как очень глупая, идиотичная змея, которой нравится душить просто так, для удовольствия, понимаешь?

— Ну вот что! — решила Старшая Сестра. — Мы все очень нервные и измученные, но, Максимыч, нам же с тобой только по двадцать пять. Забудь! Забудь и уходи от него.

— Да, я-то забуду, а вы всегда будете помнить, что я его бывший заслуженный помощник, — криво усмехнулся Максимыч. — И не простите. А если и простите, я себе не прощу. Я давно у них. Мне предложили, а я подумал: это мой долг, патриотический, понимаешь? По-

тому что я искренне считал своего папу позорным преступником и хотел искупить... Я ведь был маленьким, когда его забрали, ты даже не знаешь, какой он был чудный человек, просто учитель, учитель литературы в средней школе. И вся-то его вина, что он на уроке похвалил и прочитал вслух стихотворение Есенина, невинные стихи о природе, а среди ребят, это были старшеклассники, оказался один такой, как я. Господи, и ведь Есенина никто официально не объявлял антисоветским поэтом! Его даже иногда печатали, лирику... Отца забили просто так, ни за что, у них был план по арестам, такой же, как по молоку или картошке, только в отличие от других, этот план честно выполнялся и перевыполнялся. Им за это давали премии, лишний месячный оклад — тринадцатую зарплату, отрезы, а иногда кое-какие вещички арестованных. Ты понимаешь?

— Это невозможно понять, — прошептала Гаврошка. Горло ей сжала острая спазма. — И ты... Ты тоже! Ты... причинил какое-нибудь зло нашим ребятам?

— Я? Даже Мишка шел не через меня. Меня только спросили, и я ответил, что в институте он ничего вредного не высказывал. Но Саша Гуревич... его я задушил, кажется, без тюрьмы, без следователей, сам. Он член партии, и мама его чисто русская женщина из рабочей семьи, это проверено... Его хотели принять когда-то в высшую сценарную мастерскую, он ведь был на голову талантливее всех, но колебались: фамилия, все-таки человек с ограничениями, сама понимаешь. Су-контиков спросил мое мнение, а я ... отсоветовал.

— Почему?

— Из зависти, — бесстрастно ответил Максимыч. — Он такой... А у меня средние способности. Я сам не понимал себя тогда, думал: проявляю бдительность, но теперь допросил себя с пристрастием и все уразумел.

— Максимыч, как знать, может, ты принес ему пользу: он стал популярным драматургом, его пьесы идут по стране, опасно слишком долго состоять учени-

ком, легко растерять самобытность, стереть серебро с голоса, а он, видишь... Его псевдоним вошел в обойму признанных.

— Брось! Не обманывай себя: то, что он работает сейчас — искусные поделки высоко профессионального ремесленника. Современная Чарская! Он мог куда больше, разве теперь определишь, где его законное место на Парнасе? Он никогда не попадет на него, он запуган и сломлен навсегда, хотя, наверно, и не понимает этого сам, надеюсь, что не понимает... Но я все ведаю, все. Мы с тобой были самыми младшими на курсе, а теперь я стал старше вас всех. Я пропал, Валя. Меня сначала обманули, а потом я продался. Я даже тебя не отстоял, дал пытать на своих глазах, а я люблю тебя. Я хотел на тебе жениться раньше, чем Юрка, но подумал: ты не украсишь моей биографии. Я ужасен! Ты понимаешь, как я ужасен?! Но я все исправлю... Все!.. — он бормотал что-то совсем непонятное и, наконец, выговорил, что собрал материал о Суконтикове, страшный материал о взятках, за которые он продавал выгодные места, о том, как он вынуждал девчонок-выпускниц, ради той же работы, становиться его любовницами, а потом частенько их обманывал и от души потешался: что они могут ему сделать? И еще: он писал на многих ложные доносы, и еще...

— Я уже отправил письмо на самый верх, — сказал Максимыч твердо. — Столько времени прошло после двадцатого съезда, а его все не разоблачают. Пора! Его наверняка теперь расстреляют. А что будет со мной? Ведь и меня станут судить, как его сообщника, хотя я многим старался помочь, честное слово!

— Тебя оправдают, — успокоительно сказала Старшая Сестра, — будь уверен.

Но Гаврошка закричала:

— А теперь уходи и никогда больше сюда не приходи!

— Не беспокойся! — сухо ответил Максимыч. — Я решил это сам.

Он отряхнул колени и ушел, ушел строевым шагом с высоко поднятой головой. И неслышно прикрыл за собой дверь.

На другой день незнакомая женщина сообщила Вале по телефону, что Николай Иванович отравился, и в больнице его не откачали. Оставил записку, чтобы звонили по этому номеру.

Валя не сразу сообразила, что Максимыча по паспорту звали Николаем Ивановичем Максимовым.

А через месяц однокурсник, ставший главным редактором киностудии учебных фильмов, взял ее к себе в редакцию. Это не было особым благодеянием: ставки на маленькой студии оказались куда ниже, чем на других прочих, и давно пустовали редакторские места.

Суконтиков больше не мешал ей: то ли действительно из-за письма Максимыча, то ли потому, что он нажил себе слишком уж много недругов, этот почтенный деятель был потихоньку убран со своего поста и куда-то на время сгинул. А Валю через пару месяцев за старательность (еще бы ей не стараться) назначили заместителем главного редактора.

Развернув свиток своих не радужных воспоминаний в темном просмотрном зале, постолав сквозь зубы, Валя свернула его вновь и засунула в самый нижний этаж души, в глухой ее погреб. Потом, заперев эту самую душеньку на семь замков, натянула на лицо беззаботную маску и, пританцовывая, походкой молодой, не слишком серьезной особы, отправилась через холлы и коридоры, то и дело целуясь на ходу и перекидываясь незамысловатыми остротами с многочисленными знакомыми (ничего бабенка эта Валя, но немножко пустая), отправилась к себе на студию. Последние дни квартала, ежу понятно, работы невпроворот!

Скоро она сидела в своем кабинетике и правила нудный сценарий о Маяковском, стараясь заменить

совсем уж железобетонные фразы сколько-нибудь литературными.

Забрякал телефон.

— Вальк! — окликнул еще один бывший однокурсник, ныне почтенный редактор радиокомитета.

— Аюшки?

— У нас халтура горящая. Возьмешь?

— Ууу, — закручинилась в трубку Валя. Потому, знала она эти горящие, каких хуже нет. Все, небось, отказались, значит, ей брать надобно. У нее ведь мужества не хватит не взять, что предлагают, набедовалась без работы.

— Про чего она?

— Видишь ли, вообще-то, их две, — дипломатично объяснил старый приятель. — Одна вполне, вполне... А другая, конечно, не изюм. Первая — о развитии памяти у человека. И консультант наготове имеется, докторша каких-то умственных наук.

— Про память возьму. Только читать много придется. Декарт, помнится, про нее чего-то трепался и еще всякие людишки.

— Ну, милая, не запряжешь, не поедешь, — застрекотало в трубке. — Читай, повышай свой уровень. Только, видишь ли, в чем секрет, мы эту тему дадим тому автору, кто возьмется и за вторую, тоже очерк, тоже на сорок минуток.

— О чем?

— О подметках. Великое открытие! Один рационализатор придумал, как из куска кожи, из какого раньше выкраивали две подметки, выкроить две с четвертью.

— Помилуй! Кому же четверть подметки требуется? У кого четверть ноги, что ли?

— Спроси чего полегче! Буду я в эту муру вникать. Поезжай на завод, сочини чего-нибудь.

— К черту! Ни за что, — решила Гаврошка, — я теперь настоящие рассказы писать задумала, а времени и так мало.

Но Старшая Сестра решительно отодвинула ее от трубки.

— Спасибо, что вспомнил, — ласково замурлыкала она. — Изготовлю оба очерка по-быстрому, ты меня знаешь, я баба исправная. И другой раз не забывай. А я тебе тоже при случае у себя что-нибудь подкину.

— Лады! — весело согласились в трубке.

Взглянув на часы, Валя увидела, что рабочий день закончился, и порешила, не теряя темпа, отправиться к консультантше по заказанному очерку. Время-то, оно бежит...

Докторша мудреных наук встретила ее приветливо, на столе бурлил электрический самовар, а профессорша лучилась теплыми морщинками, такая славная бабуленька, домашняя-домашняя, прямо не поверишь, что ученая, скорее представишь ее вяжущей носочки балованному внучонку, чем за кафедрой.

Но старушечка, Божья гвоздичка, сама сообщила Вале, что ей под семьдесят, жила одиноко, в аккуратной кооперативной квартире, где — приятно поглядеть — много было книг и мало мебели.

Особенно славными выглядели бабуленькины глазки: голубень, доброта и что-то даже незащищенное в них мерцало, хотелось взять ее за ручку и осторожно, остороженько перевести через улицу.

Профессорша оказалась ассистенткой известного академика, главы гонимой школы, чью фамилию Вале приходилось читать несколько лет назад в разгромных фельетонах. Впрочем, о своем мэтре бабуля рассказывала так, к слову. Быстренько сообщив Вале, что ей следует почитать по темке, с завидной памятью кое-что процитировав, она взяла и принялась рассказывать об опытах по гипнозу, которыми занималась сейчас с юношеским увлечением.

По-обывательски представляя себе, что такому

никчемному делу, гипнозу то есть, место скорее в цирке, чем в науке, Валя неосторожно поддразнила профессоршу. Та почему-то откровенно обрадовалась и предложила сразу, не сходя с места, продемонстрировать, что за штука научный гипноз.

Дальше началось нечто такое, что Валя долгое время спустя не могла толком себе объяснить: во сне то было или наяву, или частично во сне, частично наяву. И вообще: было ли что-нибудь?

Она снисходительно согласилась сесть в старинное мягкое кресло, улыбаясь забаве старой девочки, откинулась назад и расслабила руки, как ей велели, и вдруг, прежде чем скептическая улыбка сошла с ее лица, почувствовала, как ее обволакивает странная слабость.

Последнее, что она разглядела явственно, были глаза бабуленьки, совсем иные, темные, похолодевшие, как ночные лужи, словно те, прежние, голубенькие, были обложками, и, откинув их, бабуленька обнаружила свои истинные, пытливые, напряженные очи.

И Валя ощутила себя роботом, созданным, чтобы исполнять чужие приказания, или нет, дрессированной собакой, что ли, отлично выдрессированной собакой с отлаженными рефлексам.

Ей сообщили, что ее правая рука весит десять пудов и что она никогда на свете не сможет ей пошевелить, и Валя старалась из всех сил, но действительно не смогла двинуть собственной рукой. Ей сказали, что ее спина прилипла к спинке кресла, так и случилось, потом ей приклеили левую руку ко лбу, заморозили язык.

Возмущаясь, напрягая молодые, крепкие мускулы, она не могла порушить каких-то дурацких чар и чувствовала себя униженной и оскорбленной. Колющая мысль красной рыбкой плыла по ее мозговым извилинам, она только сейчас дотумкала, что уже много лет выполняет чужие приказы, во всем, во всем.

Она вовсе не Валя, не Гаврошка и Старшая Сестра,

она — жалкая, обиженная машина, с которой незаслуженно плохо обращаются ее хозяева. А машине очень больно, когда ее все кувалдой, кувалдой по мотору...

Бабуля непреклонно велела ей спать.

— Ни за что! Не подчинюсь я тебе, ни за что... Никогда... Я че-ло-век!..

Очнулась Валя, когда за окном густела ночь, и встревоженная бабуленька скакала возле нее с пахучим флаконом. Оказывается, давно пыталась ее разбудить.

Позже, провожая Валью к стоянке такси, профессорша поведала, что она удивительно, это самое, гипногенна, странно даже, что при этом Валя не истеричка, а какой-то холерик. Это — тип нервной деятельности, сильный, неудержимый, но от тяжких ударов он ломается, не гнется, как сангвиник. Валя, конечно, помнит все это из уроков школьной биологии?

Из биологии Валя запомнила только два постулата: какая-то загадочная генетика, о ней ничего не рассказывали, это лженаука, а сведения в дореволюционных книжках, что великий ученый-плодовод Мичурин был дворянином и сыном богатого помещика, разводил сады в собственном имении, а также был военным инженером по образованию и начальником службы контроля на железной дороге, а вовсе не нищим часовщиком — все это сочинено современными врагами народа с целью компрометировать советскую власть. Во как враги изощряются!

Поняв, что беседует с полным профаном, как-то осторожно, деликатно (голубенькие обложки плотно закрыты, подлинные глаза надежно упрятаны) бабуленька заметила, что, по-видимому, так она полагает, Валя перенесла в ранней молодости опасную душевную травму, а для холериков это очень серьезно, не легче перелома позвоночника. Может привести, нет, не к нервному заболеванию, а к застою мыслей и чувств. К преждевременной оцепенелой старости...

Гаврошка молча айкнула, а Старшая Сестра, беспечно рассмеявшись, сообщила любопытной старушке, что никакого удара у нее и в помине не было. Ровная, спокойная жизнь!

Бабуленька кивнула одобрительно и пробормотала себе под нос, что истерик в этом месте начал бы слезливо жаловаться... Тут подкатила машина с шашечками.

Лишь подъезжая к дому, Валя вспомнила, что предыдущую ночь совсем не спала и, стало быть, уснула просто от усталости, разомлев в глубоком кресле. Не поспи консультантша так двадцать четыре часика, помотай себе до отказа жилочки на студии, небось, наоборот, Валя бы ее загипнотизировала. Ну, а прочие чудеса — фокусы и все тут! Напала на невежественного человека и разыграла, деятель науки называется!

Подумаешь, разыгрывать-то Валя и сама умеет. Недавно как Ироньку купила, любо-дорого!

На следующее утро после встречи с гипнотизершей, едва Валя появилась на студии, ее вызвали к директору. Открывая важную, обитую красным дерматином дверь, она почувствовала, как ледяная иголочка прошила ей сердце. Все же переборщила она накануне, слишком уж всласть потешилась над комиссией, когда сдавала загадочную капусту на рельсах.

Но директор, большеголовый, неровно подстриженный, обычно угрюмый, как больной медведь, встретил ее с распростертыми.

— Молодец, Валечка, — пробасил он, мощной лапшей сжимая ей руку. — Выручила. Я, признаться, вчера утром этот фильм поглядел, еще до комиссии. Дрянь невозможная! А ведь, шутка сказать, на этом волоске наше выполнение плана висело. Как вам удалось его всучить?

— Секрет производства, — Валя развела руками.

— Ну, ну, недаром мы вас на замглавного выдвинули! Между прочим, из комитета, из цензуры уже разрешительное удостоверение прибыло. Новая метла там у них, видели?

Валя кивнула.

— Это Суконтиков, бывший кадровик. Ох, и сукин сын, подумать мерзко, что за тварь! — неожиданно разоткровенничался директор, уж очень, видно, Валя его ублажила. — У меня, знаете ли, анкетка без сучка, без задоринки, и то когда-то трухал его, будь здоров! Вы-то, наверно, с ним лично не сталкивались?

— Не-а, — соврала Старшая Сестра. Гаврошка вспыхнула. Но директор ничего не заметил.

— Распишитесь-ка в акте, — благодушно подвинул он ей листок тонкого картона. — Редактор Сенюшкин у нас еще на картошке, придется вас редактором поставить.

Валя наклонилась над актом и мельком, так, из любопытства, поглядела, как же окрестили опус про выдающуюся капусту? Поглядела и, вздрогнув, едва не выронила ручку. „Каштанка”, экранизация по рассказу А.П.Чехова”, — вот как это называлось. Удружила Иронька!

В тот же день, не слушая уговоров Старшей Сестры, Гаврошка подала заявление об уходе. Собаки вообще играли значительную роль в ее жизни.

Глава 4

САЛОН БАРОНЕССЫ ЛИЛИ

*Ты все пела? Это дело.
Так поди же, попляши!
И.Крылов*

В этой темноватой пятнадцатиметровой комнате, в большой населенной квартире на старинной московской улице Садовой, побывали многие будущие корифеи советского искусства. Трудно сказать, что их боль-

ше всего сюда привлекало: миловидность и доброта хозяйки дома, возможность приходить в любое время и делать все, что вздумается, тяга к себе подобным или страсть к пенью?

Хозяйке шло к тридцати. Звалась она Лилькой. Еще она откликалась на прозвище: баронесса Лили, должно быть, по известной оперетке. Прозвище предельно не шло к ней и потому казалось особенно смешным.

У Лильки был тип смазливой русской горничной — субретки, по-театральному: вздернутый нос, лицо, словно вписанное в геометрический круг, серые с поволокой глаза. Русые волосы она заплетала в косы и укладывала веночком, носила дома вышитые сарафаны собственного изделия и без устали пела.

Но хоть лирическим своим сопрано она выводила нотки вполне профессионально, на службе Лилька нигде не состояла, и певица настоящая из нее напрочь не вылупилась. Лишь изредка приятелям удавалось устроить ее в гастрольные труппы, зрители неизменно провожали Лильку аплодисментами, у нее было сильное актерское обаяние, то, что Станиславский называл „манок”, но при этом полное неумение приспособляться. Она постоянно „качала права”, притом не свои собственные, а громко взывая к какой-то абстрактной справедливости, отказывалась давать взятки, хвалить безголосую жену главного режиссера и не замечать, как актеров обсчитывают администраторы. Поэтому ее, не защищенную даже дипломом консерватории (она была певицей милостью Божьей, окончившей всего лишь обычную среднюю школу, и не состояла ни членом партии, ни какого-либо профессионального союза), быстро выгоняли в три шеи, и Лилька, не солоно хлебавши, возвращалась, почти ничего не заработав.

Голод гнал Лильку сниматься в массовках, мыть посуду в ресторанах, даже скрести полы в магазинах. Заробив так немного, частью натурой, съедобными припасами, то бишь элементарными объедками, она

возвращалась на свою большую тахту. Постепенно, с годами, Лилька стала все реже выходить из дому и сутками лежала и, свернувшись в клубок, чему-то улыбаясь, мурлыча песенки, ждала гостей.

Посетители, зная порядок, обычно приносили водку или вино, а самые добрые — еще и хлеб. Лильку вполне устраивала такая диета. Родных у нее не числилось, и даже когда она была совсем юной, некому было вмешаться и осудить ее не типичный для образцового советского человека, крайне предосудительный образ жизни.

Каждого гостя она встречала возгласами искреннего восторга, был ли он знаком с ней пять минут или пять лет — безразлично. С ходу живо интересовалась его делами, дотошно вникая во все подробности, в мелкие самые заботы, громко принимая к сердцу чужие радости и горести.

Наверно, в этом крылся секрет популярности ее салона: внимание и сочувствие — то, по чему больше всего истосковались современные люди, — отсыпалось здесь щедрой мерой. А Лилька в уплату за чуткость получала желанный алкоголь. Она постоянно находилась чуточку на взводе, но совсем пьяной ее, кажется, не видел никто.

Некоторые посетители салона тоже не дураки были выпить, но большинство, как и Валя, приносили с собой, кроме водки, которая вручалась хозяйке, еще и бутылку минеральной, невинной водички и мирно прихлебывали ее время от времени. В отличие ото всех других мест, где протекала их жизнь, от различных заведений по науке и искусству, от домашних пенатов и прочего, здесь никого не принуждали делать что-нибудь против твоего желания. Это сладкое слово — свобода — находило тут хоть мизерное, да все-таки воплощение. И можно было на часок поверить в равенство и братство: табеля о рангах Лилька не признавала.

В салоне в основном не пили, а пели. Попад туда

случайно, — завел однажды малознакомый композитор, обещав познакомить с московской богемой, — Валя надолго сделалась постоянной посетительницей и приятельницей Лильки-баронессы.

Трудно было отыскать двух таких несхожих людей, как они обе, не только в характерах, поступках, но и в мыслях, в представлениях, но очередная поговорка гласит: крайности сходятся. А пошлость — не всегда ложь.

В те годы, когда Валя, покинув студию учебных фильмов, посвятила себя исключительно халтуре на радио и телевидении, ей стало житья сравнительно легче. И зарабатывала она куда больше своего редакторского жалованья, а у Юрки отсняли несколько художественных картин. Но хотя со всех сторон к их гонорарам, выколоченным тяжелой, безрадостной работой, тянулись жадные, наглые лапы (— Дай, дай, дай, пои, пои, пои, не то придется сосать пальцы) и значительную часть отбирали литературные гангстеры, угревшиеся на хлебных местах и откровенно шантажирующие авторов, все же, по сравнению с прошлой жизнью, то было настоящее благосостояние, и, разбалованные сытостью, они начали позволять себе и другие потребности, например, общение с людьми, не по делу, а просто для отдыха.

Почти все прежние Валины друзья к этому времени умерли или уехали куда-нибудь далеко. А немногие стали или вообразили себя знаменитостями, и тошно было глядеть, как они задирали нос перед прежними добрыми знакомыми. Да... Верно подметил Александр Галич: „Уходят, уходят, уходят друзья, одни — в никуда, а другие — в князя”.

Новых друзей Валя нашла у Лильки в салоне. Они были близки ей и по возрасту и по профессии, жизнерадостны и приветливы. Чего еще можно требовать? Ах да, к тому же многие умели и любили петь. И Валя, которой мать когда-то внушила, что у нее грубый, цы-

ганский голос, с каким нельзя на людях и рот раскрывать, начала петь с ними — и ничего — песни не портила. Голос-то у нее оказался сильный и звучный, не вызывавший осуждения даже у профессионалов, да еще редкого грудного тембра; хуже было со слухом, неразвитым (музыкой она никогда не занималась) да и вообще неважным от природы.

Но и здесь отыскался выход. В общем хоре недостатки ее слуха не мешали. Солировать она избегала, зато часто пела дуэтом с человеком по прозвищу Эдик-атомщик. У него был медовый тенор и отличный слух. Музыкантом бы ему стать, а не доктором каких-то убийственных наук. Но вот, судьба...

В салоне Эдик оказался самым старым, Мафусаилом каким-то, тянуло ему к четвертому десятку, но почему-то прилип нутром и посещал Лильку регулярно по пятницам и воскресеньям — пунктуальный гражданин.

Пел он обычно песни собственного сочинения. Они быстро становились популярными, разлетались из салона по многим квартирам, клубам и туристским привалам, иногда их исполняли по радио, даже печатали в сборниках, где Эдик всегда подписывался псевдонимом: должно быть, стеснялся ученых, роботообразных своих сослуживцев, и не подозревавших о хобби почтенного профессора.

Была у Эдика еще одна, совсем тайная, страстишка. В те годы не разгоняли еще нищих, ходивших по пригородным поездом, распевавших жалостливые песни и демонстрировавших подлинные, а чаще притворные увечья: слепые глаза, хромые ноги. А иногда и заморенных ребятишек.

Многие из этих песен были сотворены Эдиком, ставшим таким образом как бы Гомером шестидесятых годов двадцатого века. Только за него пели по стране часто незнакомые ему слепцы. Был один условный день в каждом месяце, когда многочисленные ни-

щие собирались на Киевском вокзале и Эдик раздавал им там свои напечатанные на листочках крупным шрифтом песенки. И напевал их мотивы. Впрочем, слепцы и прочие калеки тянули все на один мотив.

Они особенно уважали Эдика, потому что песни он подавал им как милостыньку, бесплатно. (Находились настоящие поэты, которые песенки нищим продавали!) И не брезговал самыми оборванными и разнесчастными человечешками. Наоборот, для таких приберегал лучшие творения своей музыки.

С Валею замкнутого, молчаливого Эдика сдружила схожесть характеров (души, окруженные крепостным валом, спрятанные от самих себя) и схожесть тембров, — у нее тоже был почти тенор, и вместе у них отлично выпевалось в унисон, только Валя незаметно отставала на ломтик тона, но аккуратно следовала за Эдиком, скрывая так недочеты собственного слуха. Получалось как будто нарочно, эдакий изыск.

Специально для их дуэта Валя в первый и в последний раз в жизни сочинила песню, ее любили друзья. К собственному ее удивлению, сложились не только слова, но и мотив:

Над домами снег, снег,
Над лесами снег, снег,
И дороги нет, нет...
Никуда!

... Господи, придет же в голову глупость, песенка давным-давно забытая. Валя стояла на улице Садовой, перед Лилькиным домом. Заходить ей не хотелось. Она знала, что Лилька окончательно спилась и коротает дни между лечебницей для алкоголиков и попойками с дворниками.

Оставалось еще семь дней жизни. Тоска не смягчалась. И опять она забивала дни воспоминаниями. На этот раз о салоне баронессы Лили. Нет, Валя посещала

его не часто, только когда Юрка уезжал. И самого Юрку упорно не знакомила с Лилькой, ведь с его сердцем нельзя было пить. Она бывала там одна, чтобы не быть одной.

Как отчетливо видится сейчас тот вечер, беззаботный, осенний... Они сидели у Лильки, человек десять завсегдатаев, за низким круглым столом. Осколки дождя равномерно шлепались на подоконник, ритм какой-то умиротворенный задавали. Стульев и табуреток, конечно, на всех не хватало, и в ход пошли поставленные на-попа облезлые, с вмятинами, словно выуженные из археологических раскопок, Лилькины чемоданы.

Полулежа на диване, Лилька запевала, остальные подхватывали, Серега-историк аккомпанировал на гитарке... Тара, тара... И в эту прозрачную минуту кто-то ввел в комнату незнакомую девушку. Пенье оборвалось. Все обернулись. Теперь уж ни за что не вспомнить, кто ее притащил и где он ее подобрал.

Выглядела девушка удивительно. Ей было, должно быть, лет тридцать пять. Худое, некрасивое лицо с высокими скулами, сухие запекшиеся губы, выпуклый, туго обтянутый лоб под косой челкой и словно чужие, не ее, иконописные коричневые глаза с ярко-белыми белками.

А волосы! Что у нее были за волосы! Казалось, ими долго мыли пол где-нибудь на вокзале. Длинные, до пояса, патлы, склеившиеся оттого, что их, должно быть, месяц не расчесывали, пепельные, а может, какие еще, не разберешь.

А одежда! Мини-юбчонка, когда-то белая, рваная большая кофта, двух таких девок в нее оденешь, и сквозь дыру на плече октябрьским кленовым листом — кровоподтек.

Но щеки нагримированы, ресницы загнуты, рот окружен сердечком лиловой помады. Жуть!

— Это же уличная, зачем ее к нам? — испуганно

прошептала сидевшая рядом с Вале́й Золушка-звезда. А Серега-историк, парень брезгливый, поморщился: — Мне кажется, милая дама ошиблась дверью!

Вообще-то говоря, в салоне частенько возникали экзотические существа. То старенькая дрессировщица попугаев со своими питомцами, которые якобы умели отлично говорить, только почему-то не хотели, то азербайджанский поэт, пишущий на темы из Корана, то юный археолог, чокнувшийся на том, что на Земле уже бывали цивилизации, превосходившие нашу, но на протяжении миллионов лет погибали одна за другой в результате атомных войн, и вновь где-то в океане зарождалась жизнь.

Все побывали тут. И всех в салоне привечали, а если могли, то и помогали получить ангажемент, скажем, или пристроить статейку. Но подобную девицу здесь узрели впервые, и Лилькины гости зашептались, придумывая, как бы ее выставить поскорей из приличного общества.

Однако на ту пору Лилькой, начавшей поддавать с утра, овладел демон противоречия; и, услышав, о чем шепчутся посетители салона, она заорала:

— Чего? Гостя́я моя вам не по нраву? Ишь, чистюли какие нашлись! А ну, кому эта девочка не нравится, давай выметайся и больше ко мне ни ногой!

Гости умолкли. Никому не хотелось ссориться с баронессой.

— Иди ко мне, девочка! — ласково позвала Лилька, и девица послушно подошла и уселась на диван, прямо на ноги хозяйке. Лилька поморщилась, но не отдернула ног.

— Как твоё имечко? — спросила она девицу.

— Елка! — радостно ответила та, польщенная интересом, видать, для нее не слишком привычным.

— А чем ты занимаешься, Елка? — снова спросила Лилька и смутилась, сообразив сквозь алкогольные пары, что этого вопроса задавать, пожалуй, и не следовало.

— Я — журналистка.

Посетители салона засияли улыбками. Достаточно было раз бросить взгляд на Елку, чтобы усесть: образование ее закончилось где-то между третьим и четвертым классом.

— Ладно! Будем звать тебя Елка-журналистка, — объявила баронесса, — и ты не тушуйся, они сами все не велики птицы. А ко мне ходи, когда захочешь, хочешь ночью, хочешь днем.

— Днем я сплю, — сообщила Елка-журналистка, вновь вызвав взрыв веселья.

— А она забавная, — решила Золушка-звезда. И на Елку перестали особо обращать внимание.

Но сама она, должно быть, захотела произвести наилучшее впечатление на общество и монотонно, словно зазубрила свой рассказ наизусть, принялась излагать автобиографию.

По ее рассказу выходило, что она окончила школу в шестнадцать и притом с золотой медалью и поступила на факультет журналистики, но не успела проучиться и первый семестр, как у нее открылось первичное легочное заболевание (так официально Елка именovala свою болезнь), и ей пришлось взять академический отпуск. А потом, когда она немного поправилась, ее почему-то не восстановили в университете.

Гости давно уже беседовали между собой о своих делах, а Елка все бубнила, бубнила, и чем дальше, тем неправдоподобней становилось ее повествование.

— Ты Расскажи лучше, кто тебе такой синяк поставил? — спросила Лилька, дружески ткнув ее в плечо.

— Дедушка!

— Так ты и дедушек кадришь? — грубо пошутил Жорка-режиссер.

— Это мой дедушка, настоящий. Он старый большевик, а я прихожу домой утром. Как приду, бабушка начинает плакать, а он дерется. Они думают, я попала в банду.

Интонация и голосок у нее были, как у первоклашки, и так не вязались с ее обликом, что Валя спросила:

— А родители твои что обо всем этом думают?

— Их нету! Нас только трое на свете. А я вышла неудачная.

— Да уж куда хуже! — согласился Серега-историк.

— Ты и на двоих ходишь?

Серега был цыпленок, хотя и кандидат уж в свои двадцать пять, и страшно желал выглядеть опытным мужчиной, повидавшим виды. Но от Елкиного ответа он растерялся.

— А с кем идти? — деловито спросила она.

Лилька громко запела, прерывая нескладный разговор. Гости подхватили. Как всегда, высоко надо всеми голосами взлетала стеклянная колоратура Золушки-звезды. Она была настоящая звезда экрана, получала премии на международных фестивалях, но ничего о себе не воображала, славная девчонка.

А Валя вдруг почувствовала, что ее дергают за руку. Около нее стоял Генка-сказочник. В салоне, где прозвища немудро давали просто по профессиям, ему, пожалуй, больше всего подходила его кличка.

Огромный, но ловкий и подвижный, весь заросший светлой, холеной бородой, с глазами озорного щенка из мультфильма, Генка действительно писал сказки для самых маленьких. Очень добрые сказки, но немного грустные и притом умные, что не слишком нравилось в издательстве.

— Валюша, — прошептал Генка, заговорщицки подмигивая, — не хочешь мне помочь?

— А в чем? — с готовностью отозвалась Валя. — Сценарий, что ли, наступал для телика?

— Нет, совсем другое. Эта девчонка, Елка... У нее же, наверное, зверинец в волосах, а на ногах прямо комы грязи. Давай затащим ее в ванную! Лилька обещала дать старое платье и бельешко, но банить ее брезгует. Может, ты решишься?

Старшей Сестре сделалось жарко от негодования. Что она, банщица? Еще чего! Другой дуры не нашлось. Но у Гаврошки дрогнуло сердце.

— Я бы и один справился, — объяснил Генка, — но видишь, какая она! Чего доброго, поймет не так.

Вдвоем они завели Елку в ванную общей квартиры, — Лилькины соседи, ко всему привыкшие пенсионеры, давно похрапывали, — и, раздев, сунули в теплую воду. Елка покорно разрешала делать с собой все, что им вздумается, даже удивление не встрепелось в ее спокойных глазах, будто так и полагалось, что незнакомый взрослый мужчина и такая же женщина старательно трут мочалкой ее страшно худые, как прутья корзинки, ребра, поливают из душа, оттирают ступни пемзой.

Соседские губки и мыло пошли в ход, несколько раз пришлось выпускать из ванной угольную воду, пока Елка сделалась чистой и душистой. В заключение, не обращая внимания на ее слабые протесты, Валя коротко обстригла Елку, и Генка швырнул в мусоропровод ее одежду и волосы.

В Лилькином выцветшем сарафане Елка помолодела, стало заметно, что ей всего лет тридцать или около того, но худоба ее, раньше полускрытая грязью, стала еще явственней. Она так устала от долгого мытья, что еле дотащилась до дивана и сразу уснула, младенчески чмокая бледными губами и подложив длинную руку, не руку — кость, обтянутую желтоватой кожей, под впалую щеку.

С той поры Елка-журналистка прибилась к их компании и сделалась непременно ее членом. Постепенно к ней привыкли. И хотя, конечно, не верил никто ее пространным рассказам о школе, оконченной с золотой медалью, об университете, откуда ее якобы исключили „за туберкулез”, о дедушке и бабушке — старых большевиках, проживающих в отдельной квар-

тире в специально отведенном для подобных заслуженных деятелей доме и шибко не одобряющих образ жизни внуки, и о безвременно умерших родителях (это был классический набор сентиментальной лжи, как у проституток из Куприна или, скорее, из Гаршина), хотя ничему этому, разумеется, ни один нормальный человек ни минуты не верил, Елку жалели, и всякий кому не лень давал ей советы образумиться, не пить и не заниматься тем, чем она, по-видимому, занималась.

Как ни странно, в какой-то мере добрые советы, видимо, помогли. Елка являлась теперь в салон в аккуратно отглаженных платищах и рассказывала, что дедушка и бабушка думают, будто она вышла из банды.

Посетители салона надарили ей кто юбку, кто свитер или туфли и сочли себя хорошими, даже очень хорошими людьми. А Елка неожиданно привязалась ко всем, как к родным. Особенно к Вале и Генке. Вале очень было неприятно, что, едва она только появляется у Лильки, Елка подсаживается к ней, обнимает, гладит по плечу или принимается расчесывать ее волосы. Приятели подшучивали над Валею, она отгоняла Елку, но на следующий раз все повторялось снова.

И к Генке она ластилась и гладила его горячими пальцами по лицу, а он отшатывался, умолял оставить его в покое и даже звал Елку почему-то на „вы“.

— Ну что вы! Что вы! Мы же с вами совершенно не знакомы, зачем такая фамильярность?

Елка не обижалась и продолжала глядеть на них влюбленными глазами. А потом она вдруг по-настоящему влюбилась в Васю-художника. Вася был сибиряк, красивый парень с грубовато-самоуверенным лицом, способный, деловой, умел получать выгодные заказы, организовывать персональные выставки, вообще был из тех, кто не пропадает.

Здоровья Василию тоже было не занимать, тем более, он не смолил, не пил, даже мясом не питался, по-

сколько его ближайшие предки были сектанты какого-то старообрядческого толка с очень строгим уставом жизни.

Этот самый устав, однако, не помешал Васе стать членом партбюро в Союзе художников и разумно, медленно поспешая, творить себе карьеру, достигая пределов творческого потолка, отведенного ему природой, и даже того выше.

Непонятно, что в оборотистом, расчетливом парне пленило Елку, но однажды она явилась без приглашения в его мастерскую, задержалась там на ночьку, потом на другую, да так и осталась жить.

Вначале Васю это даже устраивало: Елка мыла ему кисти, кое-как стряпала и развлекала баснями о своей родне. Но в конце концов Васенька приуныл: дело в том, что у практичного художника была наготове невеста, пышная, несколько переспелая дочка видного деятеля искусства. Папина машина, влияние и дача шли за ней в приданое.

К радости Васи, девица была еще сонной и глупой, даже почти не разговаривала, а если высказывала какие-то мысли, то лишь на уровне „лошади кушают овес и сено”. Спокойная тупица, за спиной которой можно проделывать все, что вздумается, была в Васиных мечтах идеалом женщины. К тому же рубенсовские формы невесты пленяли его несколько крестьянский вкус. Лучшей супруги он и представить себе не мог.

Он намеревался сыграть свадьбу весной, требовалось, следовательно, заблаговременно избавиться от Елки-журналистки. Неожиданно это оказалось очень трудным делом: Елка прилепилась к нему так, что отрывать нужно было с кровью.

Сколько Вася ни предлагал ей, в самой вежливой форме, покинуть его, она словно не слышала. Хуже того, всем новым знакомым Елка начала рекомендоваться Васиной женой, что, конечно, уж ни в какие ворота не лезло.

В конце концов, по совету одного дружка, парня дошлого, Вася до отказа напоил Елку, отвез ее на Рижский вокзал, погрузил в вагон, приколов предварительно к ее блузке листок с адресом одного прибалтийского художника, знаменитого выпивохи.

Он был уверен: в незнакомом городе протрезвевшей Елке некуда будет идти, кроме как по этому адресу, а там она попадет в богемную компанию, завертится и надолго забудет дорогу в Москву.

Но через три дня Елка, как ни в чем не бывало, сидела в его мастерской, будто оттуда и не исчезала, и даже словом не попрекнула Васю. Все, что с ней происходило, по-видимому, казалось ей в порядке вещей.

— Послушай! — взбеленился, наконец, художник. — Я не люблю тебя. Убирайся!

— Почему же ты меня не любишь, если я тебя люблю? — резонно возразила Елка. — По-моему, ты ошибаешься.

— Боже милостивый! — Потерявший голову Вася не знал, что придумать. — Ну, я хочу иметь сына от своей жены, а у тебя ведь, конечно, не может быть детей. Значит, и в жены ты мне не подходишь. А жить так, без регистрации, нехорошо. Уходи домой!

— Дедушка тоже говорит, что советская молодежь не должна допускать незарегистрированных браков, — сочувственно откликнулась Елка. — А когда я рожу тебе сына, ты на мне женишься?

— Да! — заорал Вася-художник и выбежал, хлопнув дверью. Что он мог поделать, если не был способен выбросить женщину за шиворот? Тем более, она наверняка бы вернулась.

Вскоре после этого Елка нанесла визит Вале. Той, к счастью, не было дома. Поздно вечером, вернувшись с телевизионных съемок, разбитая, с истошно болящим лбом, Валя слышала от матери, что к ней заходи-

ла какая-то худющая особа, долго ждала ее и обещала еще подождать на бульваре, напротив Валиного дома. На третьей скамейке слева, если считать от начала бульвара.

— Она будет ждать до двенадцати ночи, — сообщила мать, саркастически улыбаясь. — Позже ей неудобно возвращаться, муж, видишь ли, рассердится. Она хотела посоветоваться с тобой о чем-то очень важном. А сиянки у нее под глазами хуже, чем у твоего муженька, когда он напивается. И пятна на физиономии всех цветов радуги. Вылитая Квазимода — твоя новая приятельница. И где ты только таких выискиваешь?

— Я ее почти не знаю, — сразу отреклась Валя от Елки-журналистки, догадавшись по описанию, что это именно она.

Валя страшно устала, ей мучительно не хотелось спускаться на лифте, переходить улицу, разыскивать Елку. И она прилегла на четверть часика. Потом она непременно пойдет к Елке, потом... И какую чепуху Елка собирается ей поведать?

Проснулась она утром. Елка больше не заходила. С тех пор Валя никогда ее не видела. И в салоне баронессы Лили не бывала. Так жизнь завертелась.

Сначала с ней вдруг заключили договор на „Мосфильме” на сценарий о современной молодежи. Пришлось поехать в Сибирь, на стройку, глядеть там на эту самую молодежь. Будто в Москве она была иной породы! Что делать, считалось, литератору следует не просто жить, глядеть вокруг и размышлять, а изучать специально некий материал к каждой работе.

Это примитивное понимание литературы было и смешно, и вульгарно, но Валя уже знала, что дразнить гусей опасно. Тем более, даже ее муж был убежден: писать сценарии следует именно так, начиная с изучения, будто ты меркурианец, недавно сюда прибывший. Острота юмора заключалась в том, что ни черточки правды, большой, подлинной правды (писатель кто — опи-

сатель, не так ли?) в сценарии не допускалось, полагалось сосать сюжет из пальца, брать конфликты с потолка и при этом делать вид, что чего-то зачем-то изучаешь. И все свыклись с этим, лицемерие вошло в плоть и кровь, уже сами вроде не замечали, как лицемерят. Не все... Попадались чистые душой, как Юрка, умный, но доверчивый, как ребенок. Им было легче, они обманывались.

Вернувшись из тяжелой командировки, где она повидала что угодно, только не то, что можно было использовать в сценарии, Валя написала это кинодраматургическое произведение и, как обычно, испытала очередную порцию сперва положительных, а потом и отрицательных эмоций: сначала сценарий приняли на „ура“, обозвав Валью в официальной рецензии романтиком, создающим особый мир поэтического кинематографа (мяушки!), а вскоре отправили на полку, „в резерв“, „впредь до приискания подходящего режиссера“.

Режиссерам же, которые хотели его поставить, — а их отыскалось несколько, — сценарий почему-то не доверили. Неужто где-то подспудно тень Суконтикова вновь нависла над ее жизнью? Или все время висела, проявляя себя только в тех случаях, когда Валя начинала писать крупные работы?

Какой-то черный список мерещился Вале... Но нет, ведь работали же в кино люди, невинно отсидевшие в тюрьмах? Хотя в чем-то их незаметно прижимали, но все же, все же некоторые добились куда большего, чем она. Может, они просто были дельнее ее, в советском понимании этого слова, разумеется?

Что делать! Валя старалась улыбаться и держаться так, будто все в порядке. А обида ныла, ныла... Даже название, довольно броское название, придуманное ею для своего сценария, с него тут же содрали, назвав так выходящую картину, для которой искали кассовую кличку. Жаловаться было некому. Даже перед Юркой Валя растягивала губы в улыбочку: он был твердо

убежден, что если женщина занимается мужской работой, то должна делать все сама, от начала до конца. Иначе — марш на кухню, варить суп и не рыпаться!

И Валя варила суп, и делала котлеты, и писала романтические сценарии о благородных и отважных людях, о том, во что все больше переставала верить, хотя у Гаврошки крепко засели в голове идеалы прошлых веков, добрые представления о роде людском, возможно, правильные... до концлагерей. И за каждый сценарий она боролась, боролась, боксировала с киночиновниками, одна, а мужских сил, даже просто физических, у нее не было, и это, помимо всего прочего, предопределяло неуспех. Она стала понимать, что пробить собственный фильм в художественном кино для нее так же вероятно, как выиграть матч по боксу у Мохамеда Али.

В то же время с ней легко заключали договора, и она что-то зарабатывала авансами за сценарии, которым наверняка суждено было остаться мертворожденными. Редакторам и режиссерам они по-прежнему нравились. Высшее начальство настойчиво клало их на полку. Стиснув зубы, Валя принималась за новый сценарий. Бывшим однокурсникам, наблюдавшим все это не один год, пришлось в голову заменить ее прежнюю кличку: отныне ее стали называть не Гаврошка, а Муций Сцевола. Не помогло!

А тут еще вдруг она стала плохо себя чувствовать. Кружилась голова, тошнило. Начиналась тяжелая беременность. И Вале непреодолимо захотелось иметь ребенка, нянчить его теплое тело, ласкать... Нет, она не была женщиной, только притворялась. Ей перевалило уже за тридцать. Если не теперь, то никогда.

— Ох, какая веселая мама будет у моего сынишки! — хвасталась Гаврошка Старшей Сестре. — Петь ему буду, играть с ним во все игры.

— Ребенку, помимо игр, много чего нужно, — рассудительно возразила Старшая Сестра. — Мать помо-

гать не станет, она вообще детей не очень любит, да и работает еще. А уж ворчать как начнет, поедом нас есть! И верно. Разве это дело: больной отец и грудной малыш в двух смежных комнатах?

— А мы с родителями разменяемся! — беспечно решила Гаврошка, — хватит, натерпелись и мы, и они.

И Валя принялась искать подходящий обмен. Вернее, искала Гаврошка, потому что Старшая Сестра с самого начала заявила: ни черта из этого не выйдет. Сдались кому-то их неразделимо смежные комнатенки, как рыбке зонтик!

Но Гаврошка искала, как одержимая. Ради малыша, ради его блага. И нашла довольно быстро. Но только не то, что искала. Вместо двух комнат в разных квартирах, ей подвернулось чудо: отдельная трехкомнатная квартира в центре, возле бульвара, со всеми удобствами. Правда, комнаты оказались небольшие, зато все с отдельными входами, изолированные то есть, и потолки высокие, и тепло, и сухо, и передняя хорошая, и кухня большая.

Родители тоже сочли, что от добра добра не ищут, скрепя сердце приплатили (кто же подарит такое благо без приплаты!), отдав все свои скромные сбережения, и вскоре переехали. Мать на радостях даже не слишком грызла Валю за то, что она решила завести малыша.

Но Валя давно уже была занесена судьбой в списки закоренелых неудачниц. Едва они расставили вещи и сделали кое-какой ремонт, тяжело заболел отец. Вначале врачи твердили, что это язва, язва и ничего больше, но потом осторожно объяснили, что оно — не язва, а то безнадежное, что называют почему-то в честь мирного речного зверюшки раком.

Врач, сказавший это Вале, должно быть, чтобы утешить ее, сообщил: по какой-то там статистике пять человек из тысячи от него все же поправляются, нужна операция, а потом хороший уход.

Так и сделали. Знаменитый хирург разрезал, а по-

том зашил отцу живот, потому что пошли уже метастазы. Затем отца привезли домой, и Валя стала за ним ухаживать. За огромные деньги ей удалось достать отцу лекарство, как уверяли, чудодейственное, и ходили все время врачи, и кололи большими иглами сестры. А Валя сидела при отце безотлучно, даже на улицу почти не выходила, строго, по минутам, давала лекарство, кормила отца с ложечки и звала все новых врачей, и ее обнадеживали. А беременность ото всего этого становилась еще более тяжелой.

И отцу почему-то не делалось лучше. Он все худел и перестал подниматься с постели. И однажды мать прямо сказала Вале, что так ничего не выйдет. Ей нужно каждый день ходить на работу, и вообще она, со своим раздражительным характером, не годится в сиделки. А Вале следует либо начать, наконец, по-настоящему следить за своим здоровьем, чтобы родить жизнеспособного ребенка, но тогда уж махнуть рукой на отца, либо отдать все силы больному, а с ребенком повременить.

Валя поняла, что ее прозаичная мать говорит правду. Но не бороться каждую секунду за жизнь отца она не могла. Он сделался таким трогательным, терпеливым, так благодарен был дочери за малейшую услугу. И Валя очень надеялась, нет, даже уверена была, что он окажется одним из счастливой пятерки, из тех, кто спасается. Ведь в молодости он был отличным спортсменом и до самой последней своей болезни работал общественным тренером, никогда не пил и не курил. У него было здоровое сердце. Он, конечно, должен, должен был поправиться!

И Валя решила сделать то, что делали многие ее знакомые, Лилька-баронесса так по три раза в год, и считали пустяками, вроде насморка, вроде генеральной уборки в квартире. Гаврошка решила, как бросилась в ледяную воду, как прыгнула с парашютом.

И еще она представляла себе, что когда отец по-

правится, она ему обо всем расскажет, и он поймет, какая у него дочь, и они станут дружить, и в семье не будет постоянных ссор и ворчания, а затем, ну, через год, у нее опять появится ребенок, и тогда уж отец, он ведь выходит на пенсию, поможет ей за ним ухаживать. Немного невнимательным папой он был, что ж, зато станет ласковым дедушкой озорного внучка.

И она представляла себе поправившегося отца с мальчонкой на руках, или с девочкой, пожалуй, лучше с девочкой, которая никогда не услышит, что она постылый урод, со смешной, забалованной румяной девчонкой, похожей немного на Валю, немного на Юрку, а еще больше на всех понемножку ее ушедших подруг: на Медину — „королеву ВГИКа”, на Гуленьку, даже на Светку.

Видения прошлого терзали и ласкали ее до той поры, когда ей пришлось лечь в железное кресло, окрашенное белой масляной краской и почему-то липкое. В железное кресло с твердыми бинтами, намотанными на его ручки, похожее на сиденье космонавта и предназначенное для убийства нерожденных.

Давным-давно мог быть у нее ребенок, еще когда ей исполнилось двадцать два, но того малыша она лишилась по вине Суконтикова, только он ничего про это не знал.

Тогда, едва закончив институт, Валя едва-едва не стала мамой, Гаврошке и в то время очень хотелось иметь малыша, она любила этот народ, легко находила с ними общий язык. Но Старшая Сестра (она тогда уже начала показывать зубки) чрезвычайно критически отнеслась к подобной затее.

— Сначала нужно найти постоянную работу! — утверждала она запальчиво. — А кроме того, глупая, оглянись, что делается по сторонам. Газеты пестрят статьями о врачах-отравителях, кажинный Божий день читаешь фельетончики, от которых тошно на белый

свет глядеть! Нешто время для детоводства? Подумай! Не жестоко ли, чтобы новорожденный человек существовал на одной планете с Суконтиковым, а? И чтобы жизнь его от этого тусклого преступника зависела? Или от похожих на него?

А Гаврошка думала, думала и ничего не могла придумать. Чувствовала она себя отлично, то есть физически, конечно, на душе-то было пасмурно и словно где-то в глубине груди все тихонько подвывала сирена воздушной тревоги.

В таком смутном состоянии отправилась она как-то в кинокомитет, где друг Максимыч обещал устроить свидание с проклятым Суконтиковым. Может, в результате их беседы Суконтиков разрешит ей дать хоть самую завалящую работенку.

Приема у Суконтикова Валя прождала часов восемь, сидя безвылазно у него в приемной. Иногда в открывшуюся дверь его кабинета она видела вершителя своей судьбы, мирно читающего газету. Потом ему понесли завтрак: пирожные, кофе и бутерброды с икрой и ветчиной, бесплатный завтрак, положенный заместителю министра за то, что не щадит он живота своего на благо любимой отчизны. Не за свой же счет приобретать продукты, ведь оклад Суконтикова всего раз в десять превышал оклад среднего служащего.

Завтрак внес Максимыч, ловко балансируя подносом, привычно ногой приоткрывая дверь. Суконтиков великодушно пододвинул ему один бутерброд, поменьше.

У Вали кружилась голова. Она давно зло проголодалась. Ей казалось, да так, наверно, и было, что Суконтиков жрет напоказ, ему, при всей его примитивности, явно свойственен был некоторый садизм.

В середине дня заместитель министра отправился обедать. Через часика два вернулся. Когда он проследовал мимо нее, Валя почувствовала густой запах коньяка и пряных духов, из тех, что Гаврошка окрестила

„радость официантки”. Вероятно, Суконтиков, вечно стремящийся к победам над слабым полом, не знал, что надушенные духами мужчины вызывают отвращение.

Шли часы. Тикали на стене обширной приемной коричневые, словно в гестаповском мундире, официальные ходики. Секретарша, вся в бантиках, толстенная, с выпуклыми щеками и щедро облепленными краской ресничками вокруг бледных глаз, должно быть, неотразимая на вкус Суконтикова (даже духи у них были похожи, и использовали они их одинаково щедро), добродушная притом девица, сочувственно поглядывала на Валю и несколько раз по собственной инициативе заходила в кабинет и спрашивала, не могут ли ее принять. Но каждый раз Суконтиков сухо бросал:

— Пусть обождет!

Наконец, когда часы гулко пробили шесть, поболтав весело с кем-то по телефону, кокетливо назначив встречу в половине седьмого (секретарша, услышав, ревниво нахмурилась), Суконтиков, пританцовывающей походкой вышел из своего кабинета, не обратив на Валю ни малейшего внимания.

Максимум с красной папкой в руках скользил за ним и что-то твердил убеждающе, и почтительно улыбался, и почему-то кусал губы. Потом он снял с вешалки щегольское, клетчатое, демисезонное пальто Суконтикова, осторожно встряхнул его, обдул воротник и на распыленных руках, имитируя собой гардеробщика, подал боссу. Ту же процедуру Максимум проделал и с его мягкой шляпой, шедшей Суконтикову, как крокодилу вставная челюсть. Выходя, Суконтиков что-то коротко буркнул.

Валя закрыла глаза, чтобы не видеть унижения бывшего приятеля. Что он еще станет делать? Ноги боссу целовать, что ли? Референт? Лакей!

Когда она открыла глаза, Максимум стоял перед ней, и лицо у него горело, словно Суконтиков на прощанье надавал ему пощечин.

— Он раздумал. Он не хочет тебя принимать, — глухо проговорил Максимыч и убрел в кабинет Суконтикова.

— Гадина! — На дрожащих ногах Валя поплелась к выходу. На последних ступеньках желтой, парадной, комитетской лестницы она почувствовала, как мраморный, ледяной пол уходит у нее из-под ног и тошнотный шар подкатывается к сердцу. Колени ее согнулись, и сразу словно какой-то канат оборвался внутри ее тела, и острая боль пронзила живот.

Валя не помнила, как добралась домой. Боль все усиливалась. Скоро стало ясно, что ребенка у нее не будет... Она пролежала около месяца, но даже не позвала врача. Ведь он мог подумать, что Валя что-то сделала. Аборты тогда были запрещены под страхом тяжкого наказания. Тюрьмы.

Опытная приятельница предупредила, что об этой истории не должны знать в районной поликлинике. Возьмут и прицепятся как раз к невинному человеку! Бывали такие случаи... И Валя обошлась без медицины.

С тех пор прошли годы, и она смирилась с мыслью, что из-за злосчастного падения у нее не может быть детей. И вот...

В гинекологическую лечебницу ее устроила приятельница, баронесса Лили. У нее работал там дружок, Алик-хирург, не раз оказывавший ей самой подобную помощь.

Алик, хорошенький, длинноволосый мальчик с точеным породистым носом и блестящими, крупными, как у негра, зубами, отлично зарабатывал. Ведь все женщины, которых он клал к себе в отделение без очереди (иначе нужно было ждать несколько месяцев, аборты разрешили, и женщины ринулись в больницы) и избавлял от нежеланных детей, разумеется, платили ему, и мальчик собирал коллекцию магнитофонов всех стран, такое у него было хобби, ездил постоянно в туристические, даже в Соединенных Штатах побывал, и

рассказывал, что там не так много в магазинах разнообразных магнитофонов, как он предполагал, разочаровался, словом, в пресловутом американском изобилии.

И вот Алик колдовал сейчас возле Вали, и улыбался ей, как старой знакомой, и расспрашивал про новости кино: правда ли, что Золушка-звезда, такая ослепительно хорошенькая, с такой завидной судьбой, начала вдруг зверски пить и курить планчик?

И еще что-то он любознательно расспрашивал, но Валя плохо его понимала. Только разобрала, когда он изрек самодовольно:

— Не беспокойся! Я тебя вычищу — первый сорт, по десятку таких операций за день откалываю, представь, сколько это в месяц, и все без осложнений.

Потом ей на голову надели душный колпак с веселящим газом.

И до той самой минуты, когда она вернулась домой, Валя помнила и страдала лишь об отце. А палата больницы, и много женщин, лежавших на соседних койках, проделавших над собой то же самое, что она, их разговоры и рассказы о себе (известно, женщины любят исповедоваться новым знакомым) казались ей иллюзорными, словно привиделись в ночном кошмаре. Только что-то многовато кошмаров приснилось ей за жизнь!

А вообще-то соседки были занятыми. Одной, ее звали Лялей, стукнуло всего четырнадцать, и Алик специально заглянул к ней, чтобы сделать внушение.

— Рановато начинаешь, девочка! — укорил он, пряча улыбку. — Что тебе теперь будет от мамочки?

— Она не узнает, — хитровато поблескивая глазками, сообщила упитанная, похожая на дорогую куклу, девчонка. — Я ей наврала, что еду погостить на три дня к подружке на дачу. Сейчас ведь зимние каникулы. Все так врут! — Она от души рассмеялась над своей беденькой, несовременной наивной мамой.

Женщины постарше глядели на Лялю с ужасом, но молодые смеялись вместе с ней, и в глазах их проплывали воспоминания о собственных грешках и собственных доверчивых мамах.

Другой девчонке было шестнадцать, но хилая, с морщинистым лицом, она выглядела существом без возраста. Руки ее украшала затейливая татуировка, среди причудливых узоров, геометрических фигур и пятен (и сюда проник импрессионизм) повторялась на каждой руке надпись: „Люблю Косого до черты”.

Косой, по ее словам, был замечательным, тоже шестнадцатилетним парнем и ее мужем. Недавно его ни за что замели в колонию. А черта, по-видимому, была проведена где-то в нескольких шагах от ее кровати, до того слаба стала девчонка после искусственных родов на пятом месяце, пришлось врачам их вызвать, потому что скопище всевозможных болезней, свившихся в ее жалком теле, не давали ей возможности произвести на свет жизнеспособного младенца.

А взрослые соседки, солидные женщины, лежа в холодной, обширной палате, пожевывая захваченные из дому гостинцы, ругали взалхлеб мужей, чье удовольствие так дорого им обходится, делились, что у них уже двое, а то и трое ребят. Жилье тесновато, жалованья хватает в обрез, но все равно, если б знать, что родится девочка, можно бы оставить, а с парнями просто сладу нет, мужья пьют и сыночки быстро берут с них пример.

И Валя, выстрадавшая многое, о чем могли рассказать эти женщины, молча сочувствовала им. А ее, наверное, принимали за мать-одиночку, за шлендру какую-нибудь, потому что зачем же замужней не родить хотя бы единственного ребенка?

Но вернувшись домой, бледная, с синяками под глазами, но внутренне довольная собой и почему-то уверенная, что отцу теперь станет лучше, Валя вдруг поняла, что все проиграла.

Отец уже никого не узнавал. Это был живой скелет. Но по-прежнему он не испытывал боли и все время чему-то улыбался. Не зря, значит, Валя заплатила сумасшедшие деньги за французское лекарство.

Но ясно стало — спасти его не удастся. Зашедшая родственница, врач, сочувственно сказала Вале, что отцу ее остается каких-нибудь несколько дней жизни. И Гаврошка, испытывая к себе непреодолимое отвращение (убила малыша, а кто знает, может быть, это был бы новый Эйнштейн, а скорее, самый обыкновенный, но хороший, добрый человек, уж таким-то она бы его воспитала, это была бы радость, которой ей так не хватало в жизни, и ее, Гаврошкино, бессмертье, а так, на что она себя обрекла?) вдруг схватила приготовленные для отца снотворные таблетки и, не задумываясь, проглотила. Ей сразу стало легче.

Старшая Сестра молчала, оцепенев от ужаса. Ей не хотелось умирать. Но настала та решительная минута, когда все решала Гаврошка. Она ушла к себе в комнату, написала маленькую записку, избавляющую мать от ответственности за ее смерть, положила эту записку к себе на грудь, легла на свой диван и подумала еще немного о жизни.

Такие молчаливые раздумья наедине с самим собой у них с Юркой назывались „глядеть в корень вещей”. Но до такой глубины Юрке, к счастью, не приходилось докапываться.

Гаврошка думала, что Юрка, уехавший на ту пору в очередную командировку, не станет очень уж огорчаться, а если и станет, это у него скоро пройдет, мужчины не так чувствительны, и через несколько месяцев, даст Бог, у него появится новая жена, только вряд ли она будет так мягка с ним, как Валя, да это и к лучшему — Юрке необходим строгий ошейник. А мать еще не стара, не очень была счастлива с отцом и, еще интересная, женственная, конечно, тоже выйдет замуж. Никому она не нужна, Валя, только портит судьбу своим

близким, а помочь им ничем не может. Все к лучшему... И не надо никогда тянуть с такими решениями: все мы смертны, а умирать хорошо молодым, не испив до дна все, что подготовит притаившийся за спиной подлый дьявол-невидимка.

И в самые останние минутки немного обиды осталось у нее на Юрку, потому что когда она сказала ему, что у них может быть ребенок, он словно испугался.

— Поступай, как знаешь, но... Вряд ли этот ребенок будет счастлив. Ведь ему придется жить там же, где мучаемся мы. И от нас мало что зависит. А вдруг повторятся прежние времена?

Ах, Юрка, Юрка... Может, если б ты этих слов не произнес... Последняя соломинка!

Засыпая, она почувствовала, как холодеют ноги, и поняла, что уходит туда...

Но ей не дали уйти. Случайно зашел молодой врач, сосед по дому, тоже лечивший отца, отчаянная надежда Вали, бывшая надежда, знавший якобы какие-то новые снадобья. Для чего-то Валя ему понадобилась, он заглянул к ней в комнату, окликнул, увидел записку и сразу все понял.

Боже мой, как он ее мучил, этот парень, как унизительно мучил! И бил, и тряс, и колол. Всовывал насильно в рот какую-то гадость, от которой ее начало рвать, заставлял на подгибавшихся ногах ходить по комнате... Похоже, он сам растерялся, забыл, чему его учили на лекциях в институте и делал все подряд, что надо и что не надо.

Но все-таки он ее спас, или доза снотворного почему-то оказалась не смертельной.

На другой день Валя, еле живая, снова принялась ухаживать за отцом, к счастью, ничего уже не понимавшим. А еще через пару дней он отмучился.

Мать не заходила к Вале, пока ей было плохо, и много лет она не знала, известно ли матери и вернувшемуся к похоронам мужу о ее несчастной, неудачной попытке. Врач обещал им не рассказывать.

Через месяц после всех этих событий Валя навести-ла баронессу Лили.

Несмотря на вечер, в салоне было пусто. Тихо... Только беззвучное эхо давно пропетых песен тенью билось под серым потолком. Баронесса, заметно постаревшая и скучная, зябко съежилась на своем продавленном диване. А возле дивана, — вот это новость, — блестела новенькая детская коляска, и в ней мирно дышал беленький малыш.

— Не удивляйся, не мой! — засмеялась Лилька. — Помнишь Елку-журналистку? Василий, папаша, побежал за молоком, а этого молокососа не с кем оставить. Парень-то хороший, но бедный Вася-художник совсем с ним с ног сбился, и пеленки сам стирает, и гуляет. Советовала я ему отдать сынишку в детский дом, куда там! Да и верно, уморят, чего доброго, на казенном-то коште, у младенца ведь жратву какую украсть легче легкого: не пожалуется небось!

— А почему Елка за ним не ухаживает? — удивилась Валя. — Сбежала? Это ведь ее мальчик? Елка в улучшенном издании?

— Точно. Сбежала Елка. Ты же загордела, не навещаешь меня совсем, вот новостей никаких и не знаешь. Померла журналистка, на тот свет, выходит, сбежала. От родов померла. Ей, оказывается, рожать никак нельзя было, доктора упреждали. Потому что одно легкое туберкулез совсем сожрал, и другое прикусил. Она ведь не лечилась совсем, махнула на себя рукой. А мальчишка, представь, здоровый. Виталием назвали, так она хотела. Вита — жизнь, по-гречески, что ли.

И, слушая дальнейший рассказ Лильки, Валя так ясно представила себе, будто видела сама... Загородное кладбище, пронзительно безлюдное. Оградки сирые. Памятники. Кресты до горизонта. У свежей ямы всего несколько провожающих, неловко не знающих, как себя держать и что говорить. Возле гроба узенького старик и старуха, настоящие, невыдуманные, Елкины де-душка и бабушка.

Старуха совсем деревенская, не поддавшаяся полувековому омосквичиванию, в черном полушалке с розами, — старинный, нашелся в сундуке, — в Елкином красном мини-пальтишке, себе, видно, давно ничего не покупала, внучкино донашивала, лицо глиняное, только из глаз, вроде из плохо повернутых краников... И по щекам, глубокие, как вырытые слезами, морщинки, морщинки.

А старик, жилистый, очень прямой, в парадном, пахнущем нафталином, твердоплечем пиджаке с целым иконостасом начищенных значков и медалей. Судя по манерам и обличью, старый большевик из рабочих. Учиться не захотел или, вернее, не смог по недостатку способностей, так и не сделал крупной партийной карьеры, застрял на всю жизнь освобожденным парторгом в каких-то мастерских. Давно на пенсии. Об окружающем мире представление, как у героя сахаринового очерка из „Известий”.

Дед глух. Говорит громко и наставительно, всем вместе и каждому в отдельности, потому что люди вообще тупы и медленно до них доходит, как до него самого, скажем, четвертая глава „Краткого курса”, до того умственная, что он изучал ее всю жизнь, как талмудист тору, а до сути все же не дошел.

А рассказывает дед, что они со старухой растили Елку с раннего возраста. Потому дочка их единственная, медицинская сестра, и муженек ее, хирург, оба погибли на фронтах Отечественной, а девочку мать ее, — старикова, стало быть, дочка, — привезла к ним грудняшкой, а сама, как подобает советской патриотке, возвернулась в армию, и больше они ее не видали.

Но была дочка серьезной, чего-нибудь себе не позволяла, не пепеже какая и в браке зарегистрировалась в законном. И муж дочкин на три дня приезжал, видный из себя, фигуристый. Он и вещи свои им на квартиру перевез, сколько лет потом их продавали, Елку подкармливали, и среди прочих вещей большой порт-

рет родного зятева прадеда, а был тот прадед революционер из декабристов по фамилии Розен, чуть ли не барон.

На портрете он в эполетах, как царский офицер. И зять был обличьем в прадеда, на редкость схож, тик в тик. А сам разговористый, быстрый такой, смышленный, наверно, еврей. Но хороший.

Да жалко: портрет он перед возвращением в армию в какой-то музей подарил, задаром. Не так жалко портрет, он старый был, не советского художника, как рамку; рамка совсем новехонькая, багетная, позолоченная, наверно, немалых денег стоила.

А растили они Елку настоящим советским человеком. Чего ей надо было? И наставляли, и кормили на совесть. Имя у ней вышло: Елизавета Розен, хоть артистке какой. А она в журналистки метила и попала на нужный факультет, а потом болезнь у нее обнаружилась, целый год ее лечили, дед лично путевку в тубсаторий выхлопотал. Поправилась, а назад в университет не приняли, не сумела настойчивость проявить. И будто кто-то ей сказал, что фамилия мешает, не русская она, а таких там не очень привечают. А Елка, вместо того, чтоб оправдаться, повернулась и ушла в один хлоп. И связалась с людьми, чуждыми нашему обществу. Потом, конечно, выправились малость, за художника вышла, да вот... Он-то, Василий, и на похороны не пришел, сидит с мальчиком, хочет его на себя записать, а сам захворал с горя. Сулится полностью заботы о ребенке взять, им-то со старухой не совсем по силам.

И показал старый всем зажатую в черствой ладони круглую позолоченную медальку, Елкину школьную награду.

— А знаешь, сколько ей было, когда померла? — спросила Лилька Валю.

— Похоже, лет тридцать.

— Девятнадцать! Вот как ухайдакали ее.

И еще поведала Лилька, что салон приказал долго жить. Много постоянных посетителей почему-то за этот год умерли. Все больше на роковом рубеже между тридцатью и тридцатью пятью. Эдик-атомщик, правда, чуток постарше был. Он к Лильке зашел после долгого перерыва, располневший нездоровой полнотой, грустный. Помешкав, признался, что лежал в Сокольниках. Швейцарцы его лечили от облучения. Дурацкая история: вез рабочий контейнер ручной по коридору института, опрокинул на повороте, был выпивши, не заметил, что ампулка со стронцием выпала и закатилась под дверь Эдиковой лаборатории.

А тот явился на другое утро к себе, долго работал, пока не взглянул случайно на счетчик Гейгера. Немного бы попозже — и с концами...

Вылечили его швейцарские врачи, недаром их к нам выписали для подобных случаев, костный мозг ему пересаживали, но к прежней работе теперь не допускают. И еще Эдик сказал: наверно, наказала его судьба за грехи, не светлые открытия сделал он, опасные для людей, для деревьев даже на этой планете.

Вскоре он разбился на мотоцикле. И никто теперь не знает, нарочно, нет ли. Налетел на угол дома и все. И мотоцикл ему был совершенно не по званию, давно мог „Волгу” завести, странный человек. А нищие, его подопечные, лишь через месяц, когда не пришел он на вокзал со свежими песнями, узнали обо всем и отпевали его на перроне хором, и плакали непритворными слезами. Любили... И себя жалели с остервенением: кто их еще пожалеет, скверных, грязных, больных людишек? Отца потеряли.

А Жорка-режиссер, опереточный маг Жорка Мокиэли, умер вдруг от сердца. Были огорчения, его не утвердили главрежем за беспартийность, и пришлось уходить с работы. И Жорка, самоуверенный, рыжий, большеголовый, похожий на тароватого духанщика, оказался без театра. Не признавался никому, что сидит

на хлебе и воде, кормил досыта лишь рыбок своих, не хотел ни за что ни одну продать, а рыбки у него были редкостные, в десяти аквариумах, любители из других городов приезжали специально поглядеть, повосхищаться. И вот пошел Жорка покупать корм своим милым чешуйчатым детям в зоомагазин и умер на его пороге.

Как его дразнили-то, Жорку? Моки ели, Моки пили, Моки девочек любили! Моки и вообще людей любили. Были простодушны и хоть грубоваты, но неспособны никому зла причинить. А их скушали. Хряп, и нет Мокиэли!

А Золушка-звезда заболела будто бы шизофренией и отравилась. И теперь никто не знает, была ли у нее эта модная в их кругу болезнь или ее просто перестали снимать? Постарше стала, чувство собственного достоинства приобрела, и влиятельные дяди, возившие ее раньше на заграничные фестивали, где Золушку (ее настоящее имя было Изольда, додумались любящие папа с мамой!) осыпали цветами и наградами, стали возить других, новеньких, готовых для добрых дяденек на все услуги. А она, становившаяся с годами все лучшей актрисой и совсем еще молодая, приуныла чего-то, в „ля ви” разочаровалась.

Совсем уж дикая история вышла с Серегой-историком, он тоже навсегда покинул салон, хотя, слава Господу, и остался жив. У Сереги-гитариста, облизанного, ухоженного маминого сына, раньше вечно было такое выражение лица, будто он только что досыта наелся варенья. По жизни его вели за ручку нежные родственники, бережно убирая с дороги малейшие камушки.

А он все же взял, да ка-ак хлопнулся! Кончив исторический факультет университета, Серега был сразу же определен в аспирантуру. Через три года новоиспеченный кандидат наук трудился в солидном институте под крылышком известного академика. Мэтр к нему открыто благоволил, должно быть, за полную Сереженькину бесцветность.

Сергея был аккуратный лентяй, типичный средний научный работник. Не забывал со всеми вежливо здороваться, писал, не спеша, серенькие компиляции, в которых в конце обязательно помещал льстивые ссылки на труды непосредственного начальства, а после работы спешил на футбол и не слишком горячо болел за самую популярную в том году команду. Одевался он всегда по моде, но без утрировки, так же стригся, и в самих чертах его лица постепенно отстоялось нечто столь безлико-знакомое, что в метро и на улицах Сергею постоянно принимали за кого-то другого. Его жизнь текла тихо, мирно и всякие неожиданности из нее, казалось, напрочь были исключены. Впереди маячила докторская, потом профессура. Зевающие студенты в полупустой аудитории, женитьба на ровне, возможно, и членкорство, или и того выше. Полное как будто отсутствие индивидуальности, ценимое значительно больше, чем талант, предвещало запрограммированный успех.

Но однажды, безо всякой вины, по недоразумению, он вызвал гнев своего академика. Кажется, мэтр повелел Сергею поехать вместо него на какое-то заседание, а потом доложить, что там происходило, но передал приказ через секретаршу, а та, эфемерное создание, позабыла. И Сергей никуда не отправился.

Вызванный на распеканье, он ровно ничего не понимал, чем невольно усилил возмущенье, и наконец распаленный академик заорал:

— Вам следовало бы быть благодарным за то, что я вас взял к себе, с вашей-то биографией!

— Но... У меня нет никакой биографии, — пробормотал Серега, и пробормотал правду.

— У вас анкетные данные такие, что другой на моем месте вас на пушечный выстрел не подпустил бы к научной работе! — загрохотал шеф. — Как именуют вашу почтенную бабушку?

— Ревекка Моисеевна, — отвечивал Серега, по-прежнему ничего не понимая.

Его бабушка, вступившая в партию в годы войны, после того, как получила похоронку на мужа, Сережинного дедушку, давно уже пребывала на пенсии и активно трудилась в общественной комиссии при райкоме партии. Комиссия, дублируя управдомов, дворников и уборщиц, следила за чистотой подъездов и дворов в жилых домах, но почему-то, несмотря на то, что почтенные старички и старушки регулярно собирались и составляли планы работы, делились опытом с соседними районами и часами обсуждали свои действия по телефону друг с другом, во дворах и подъездах их микрорайона по-прежнему чистоты не наблюдалось.

Отец Сереги, зять деятельной старушки, постоянно ворчал, что она занимается толчением воды в ступе, вместо того, чтобы больше внимания уделять домашнему хозяйству. Но ведь не это не устраивало в ней академика?

— У вас бабушка — еврейка, а вы разрешаете себе об этом забывать! — поставил академик точки над „и”.

И впервые его молчаливый, казалось, недалекий подчиненный позволил себе, вспыхнув, возразить ему:

— У Ленина тоже бабушка была еврейка, а другая — калмычка, из тех, кого всем народом высылали в Сибирь. Еще следует добавить, что один дед его был немец. Они, кажется, из ссылки так и не вернулись?

— Что вы хотите этим сказать? — смутился академик, не очень образованный, но все же знающий биографию главного вождя советского народа не по хрестоматии.

— А вы попробуйте сообразить! — отвечал Серога и с тем покинул институт.

Его родные, узнав о прискорбной истории, страшно расстроились. Отец, грозя кулаками, кричал, что сам он истинный русский, деревенских кровей, и мать Сереги тоже наполовину русская, и даже Гитлер людей с такой малой примесью не отправлял в Освенцим, а уж на что был по этой части строг.

Отец обещал все уладить и действительно переговорил с академиком, и тот, спортивный, современный, хоть приглашай в кино сниматься на роль положительного героя середины семидесятых, успел опомниться, и был смущен, и хотел, чтобы Серега к нему вернулся, искренне признавая, что накануне их беседы провел вечер на банкете с иностранными учеными, где подавали такие вина, что даже академику их у нас не достать, только иноземцам пыль в глаза пускают, как было устоять на даровщинку? Вот утром, с похмелья, и налетел на парня, ну, просто по-отцовски, надо же это понимать!

Серега не понял и поступил в сапожную мастерскую, сначала учеником, а потом мастером закройного цеха. К ужасу родителей и обожавшей его бабушки, убеждавшей Сереженьку, что нужно быть выше некоторых вещей, он, кроме того, крестился, и почему-то принял даже не православную, а католическую веру. Стал посещать по праздникам костел, соблюдать посты и носить поверх рубашки большой католический крест литого серебра с нарисованными по краям незабудками.

Правда, наступила пора, когда на московских улицах это уже никого не шокировало. Серегу принимали за стилигу. А вторая его бабушка, уборщица в совхозном клубе, приехавшая в отпуск к ним в столицу, стосковавшись по колбаске, какую у них ни в жизнь не достанешь, и хоть какому мясцу, услышав о Серегином поведении, совсем не удивилась и только промолвила уважительно:

— Душу спасти желает.

Академик же, поражаясь непостижимой Серегиной выходке (променять обеспеченную научную карьеру — на что?!), заметил кому-то под сурдинку, что, мол, как там не признавай равенство всех народов, а восточная кровь, даже в самых малых дозах, все же себя оказывает.

А Сережина московская бабушка, прослышав об этом, сначала заплакала, а потом начала так смеяться, что дочка ее решила: мама от горя сходит с ума. И возмущенно пеняла Сереге: вот до чего он довел бедную старушку!

Но дело в том (Сережина мать и он сам никогда об этом не узнали, а Лилька случайно проведала со стороны), что бездетная Ревекка Моисеевна взяла когда-то девочку из детского дома и ни капли предосудительной крови не текло в Серегиных жилах. Так что его поведение можно было объяснить только национальной гордостью великороссов!

Когда у Лильки пересохло горло и она отправилась поставить чайник, Валя вспомнила о самом главном посетителе салона, сердце его, Генке-сказочнике. Даже страшно было спрашивать о нем. Почему-то давно не появлялись в киосках его книжки-малышки, не показывали в кино Генкиных мультяшек. Но он, такой здоровенный, конечно, просто находился в этом, как его, творческом простом.

Сколько веселых историй знала Валя про Генку! Однажды они провожали на аэровокзале Жорку-режиссера, улетавшего со своей трупой на южные гастроли. Он был на коне тогда, бедный Моки. В искусстве наступила недолгая, как обычно, но несомненная оттепель.

Денег у компании набралось мало и, распив бутылку сухого вина (еле хватило всем по рюмке), друзья распрощались. Оказался среди провожающих и Генка-сказочник. У него отчаянно болел зуб, и Генка, морщась и стелая, глотал анальгин, аспирин и прочие снадобья, от которых его в конце концов начало клонить ко сну, и один из приятелей, тот самый Вася-художник, взялся отвезти сказочника домой еще до Жоркиного отлета.

А наутро, когда Генка не успел как следует проснуться, к нему с траурными лицами явились Вася-ху-

дожник и Серега-историк. Они объявили, что все складывается очень плохо. Оч-чень...

— О чем вы? — высунул Генка голову из-под одеяла.

— О вчерашнем скандале.

Генка не помнил никакого скандала. Но друзья рассказали ему, что прежде чем уехать вчера домой с аэродрома, нашли у кого-то в кармане завалявшуюся трешку и взяли водки, чтобы избавить несчастного Генку от его зубной боли. Он залпом хватил целый стакан, и вкупе с лекарствами это, должно быть, так на него подействовало, что он впал в агрессивное состояние и запустил бутылку в соседний столик.

Она угодила в лоб незнакомому парню и сильно рассекла его до крови. И ладно бы то был отечественный лоб, как на грех, парень оказался иностранным туристом. В поднявшейся суматохе друзьям удалось убежать и утащить с собой совсем обеспамятевшего Генку. Счастье, что у Васи-художника свой „Москвичок”: погрузили сказочника — и драла!

К сожалению, как нынче утром выяснилось, милиция сумела напасть на их след. Знакомый капитан-милитончик проговорился: всем участковым роздан Генкин словесный портрет и на нем желтой краской разрисована пушистая борода.

Эта последняя деталь совершенно убедила сказочника. И привела в ужас.

— Боже мой, но почему я запомнил только, что спал в машине? — завопил он. — Я в жизни ни с кем не дрался! Почему я бросил в человека бутылкой? Я же убить его мог!

— Что поделаешь, Геночка! Каждый хоть однажды в жизни делает что-нибудь совершенно для себя неожиданное! — философски рассудил Вася-художник. — В общем, дорогой наш советский Андерсен, нужно тебя спасать. За нападение на иностранца паяют пять лет. Показуха, сам понимаешь! И то, что ты, по собственным

показаниям, ни черта не помнишь, только усугубляет вину.

— Что же мне делать? — пролепетал Генка.

— По меньшей мере месяц не выходить из дому, — ответствовали друзья. — А на случай, если будут искать по квартирам, нужно немедленно сбрить бороду. По ней тебя опознают, как миленького!

Они сбрили покорному Генке-сказочнику его любимую, тщательно выращенную бородищу, и целый месяц, день в день, он просидел безвылазно в своей норе, опасаясь подходить даже к телефону. Кажется, за этот месяц не нашлось в их кругу человека, который не потешался бы, как одурачили бедного, простодушного Геночку.

А когда он начал вновь выходить, уверившись, что угроза ареста миновала, сразу же обрушилась новая напасть. Генка получил вызов с Петровки тридцать восемь, из Центрального управления милиции. Ему повелели явиться на другой день, к следователю. Конечно, милиция — не кагебе, но нечто близкое к тому. И Гена, советский человек, тем сильнее волновался, чем больше был уверен в своей полной безвинности.

Напрасно он советовался с друзьями. Они дружно порешили, что к иностранному туристу это явно отношения не имеет. Что-то новенькое. Но что?

— Может, ты просто улицу не там перешел? — предположил Вася-художник.

— Бывало, — признался Гена, — только милиционеры меня ни разу не останавливали.

— А может, ты девочку какую-нибудь обидел? — высказал догадку вернувшийся к тому времени Жора-режиссер. — Признавайся, Гена!

— Что вы! — замахал руками сказочник. — Меня самого всякая обидит.

Так он ни до чего и не додумался и на следующее утро отправился в милицию, часто зевая от волнения.

В указанной в повестке комнате, похожей на больничную палату и пропитанной тем же тревожным запа-

хом дезинфекции, сидел неприветливый гражданин в милицейской форме. Прочитав повестку, вибрирующей рукой протянутую Генкой, он с любопытством уставился на него, потом осмотрел повестку со всех сторон, даже для чего-то полизал себе палец и потер им ее.

— А вы чего натворили? — спросил, наконец, следователь бесстрастно и притянул к себе лист бумаги со страшной надписью сверху — „Протокол допроса”.

— Как будто ничего... — неуверенно забормотал Генка. — Но... Я не знаю. Вам видней.

— Нам видней, — согласился его собеседник и вдруг громко захохотал, помахивая от удовольствия грубо слеполенной головой и притоптывая ножищами в скрипучей форменной обуви.

Начитавшийся детективов сказочник догадался, что это какой-то особо утонченный следственный прием, и совсем упал духом.

— У вас художники знакомые есть? — поинтересовался следователь, отсмеявшись.

— Есть, — неуверенно ответил Генка, — но не очень хорошие.

— Ошибаетесь, — авторитетно объявил следователь. — Ваши друзья — отличные художники. Ишь, как здорово повестку нарисовали, почти не отличишь от настоящей. Передайте им мое восхищение! А заодно предупредите, чтобы они с нами больше не шутили. Мы этого не любим!

Так его разыгрывали все, кому не лень. А бедный Генка, умница Генка, каждый раз покупался как маленький. Он хотел верить людям, что ты с ним поделашь! И все писал свои сказки. И у него брали одну из пяти. А меж тем возле Генки как-то незаметно возникла жена, и двое детей, и собака доберман, и всех их нужно было кормить. И он совсем не пил, и забросил салон, и целыми днями бегал в поисках хлебной работы. Впрочем, он и никогда не пил сильно, бокал другой в компашке и то предпочтительно сухого гру-

зинского. Но и от этой радости пришлось отказаться. Некогда. Не на что.

— Да-а... А в том месяце Генку закопали! — сообщила, вошедшая с горячим чайником Лилька-баронесса, словно подслушав Валины мысли. — Не убивайся, я знаю, ты с ним дружила. Он хорошо помер, дай Бог каждому. Во сне... Неожиданно, вроде и не болел ничем. Такой казался дискобол, да?

Валя поспешила уйти. И часто потом, вспоминая дряблые не по возрасту Лилькины щеки, она думала, что ведь и эта когда-то счастливо начинавшая певица стала пить после того, как умер на операционном столе ее муж, Вовка-актер, совсем молодой парень, недавно с успехом снявшийся в картине про четырех солдат, унесенных ураганом в море на утлом кораблике.

В фильмике молодцы-солдаты слопали свою гармонию и остались живы-здоровы, а в жизни актер, избравший одного из добрых молодцев, жестоко простудился во время многочисленных дублей в ледяной воде, схватил ревмокардит и вот... А без памяти его любившая жена превратилась с горя в Лильку-баронессу. Безвозвратно превратилась...

Реквием звучал в надтреснутом, как старый фарфор, полупрозрачном воздухе, обтекавшем душу Вали. Что произошло с ее друзьями? Настала пора думать об этом всерьез. У них были похожие биографии: способные юноши и девушки поступали в творческие институты по призванию, отлично оканчивали и, как говорили древние, при самых благоприятных ауспичиях пытались совершить что-нибудь стоящее в искусстве, выкладывались в работе, не жалея нервных и всяких прочих клеток, горели, творили, а в свободное время собирались вместе с себе подобными, беззлобно разыгрывали друг дружку и старались помочь друг дружке, чем могли. Но время шло, лучшие их песни оказывались вроде бы никому ненужными, в мире, населенном взяточниками и тупицами, от которых зависела судьба

художников, было холодно и грустно, и так, большей частью оставшись безвестными, один за другим они помирились.

Один за другим... Если б так погиб один, ну, даже двое, можно было бы счесть это случайностью. Трое? Допустим, слабое здоровье. Но столько! Скорее случайностью или уникальным здоровьем можно было объяснить, что некоторые из них все же продолжали жить. Но какие? Разбитые, с истерзанными душами, спивающиеся, ни к чему не годные. Почему?

И сказала Старшая Сестра Гаврошке:

— Нам поздно об этом размышлять. Нам самим пора на выход без вещей. Так-то, моя дорогая.

И ответила Гаврошка:

— Да.

Громко хлопали крыльями минутки. Может, Там она что-нибудь узнает. Здесь уж вряд ли...

Глава 5

ШМОН ДУШИ

*Едва-едва дошел
Усталый до ночлега
И вдруг — глициний цвет!
Трехстишие-хокку из старинной японской поэзии*

Сутки остались. Только одни сутки! Тринадцать дней и ночей уплыли в невозвратность. Она прожила их, преодолела и хвалила себя за стойкость. Кому еще было ее похвалить! Хвалила, как всегда, поглядывая как бы со стороны на Гаврошку и ее Старшую Сестру.

Сегодня ей нужно было в последний раз пойти к врачу, к тому Настоящему врачу, от которого она поспешила было сбежать. Петрик не оставил Валю на про-

извол судьбы. Он регулярно навещал ее и заботливо справлялся, как идет лечение. Он сразу заподозрил, что Валя захочет увернуться от психотерапевта, и убедил Валину маму проверять ее. В противном случае — угрожать отправить ее в ведомственную больницу, в психотделение. Во имя ее же блага, разумеется.

Петрик знал, чего он требует. Он сам пережил недавно горе: погибла в автомобильной катастрофе его любимая женщина. (Как большой начальник, он, разумеется, наряду с нежными заботами о семье, не упускал случая поразвлечься на стороне, и у этого образцового семьянина уже несколько лет была дама сердца, классная фемина, по крайней мере, по его представлениям.)

Гибель любимой очень огорчила Петрика. Он целый месяц не ходил даже в Дом кино. Ну, а через месяц, естественно, очнулся, съездил в туристскую, за границу, и вернулся как огурчик. Горькая грусть за тридцать суток перешла в грусть сладкую, тающую. А через три месяца у любимой женщины появилась заместительница, тоже вполне классная и даже помоложе. Она напоминала внешне свою предшественницу, тоже пухленькая блондинка с веселыми глазками, и тем очень утешала Петрика.

Свою реакцию на горе Петрик, как все люди, считал нормой и гордился умением держать себя в руках и разумно управлять своими эмоциями. Осторожное замечание Вали, что обычно за три месяца не забывают даже любимую собаку, Петрик счел очередным и несомненным проявлением ее болезни.

Посещение врача, стало быть, взяли под контроль, и Валя, больше всего опасавшаяся, что ей помешают пристроить Юркины рукописи, смирилась с этими принудительными визитами. К тому же невропатолог то ли был на самом деле, то ли, скорее, умел изображать славного человека обычного Валиного круга. После примитивных эскулапов из районного диспансера и это

казалось чудом. Ну и, конечно, он не подозревал о Ва-
лином намерении уйти из этого мира, как только все
будет в порядке с литературным наследством мужа.
Откуда, в самом деле, он мог что-либо знать?

Ведь и о самой Вале он ведал только, что она сцена-
ристка, как и покойный Юрка, и тяжело переживает
мгновенную, происшедшую на ее глазах, смерть мужа.
Естественно, нервы ее потрясены, наступило это самое,
реактивное, шок, говоря по-человечески. Нужна по-
мощь врача, гипноз некоторый.

Когда-то Валя в фильмике одним западным видела,
как следователь заставляет преступника признаться в
совершенном злодействе, пристальным взглядом при-
ведя его в гипнотическое состояние. Такой лихой сле-
дователь, такой низкопробный фильм! И, конечно, ни-
сколько она не тревожилась, что и с ней может прои-
зойти нечто подобное, что лишнее наболтает этому чу-
жому человеку, невесть какое представление о жизни
имеющему в глубине мозга своего.

Советская медицина (всем известно) — ведь она
формальная и лечит не больных, а болезни. Наверно, и
этот дяденька-доктор, как и прочие его собраты-пси-
хотерапевты, одними и теми же приемами лечит како-
го-нибудь гражданина, повздорившего с супругой и,
скажем, чиновника, обойденного наградой. И ко всем,
если по-честному, одинаково равнодушен.

Наверно, всех, как и Валю, он укладывает на ди-
ван, вливает им в вену какое-то лекарство и внушает,
что у них должно быть хорошее настроение. Странное
лечение! На взгляд профана, возможно.

Первый раз, когда начались сеансы гипноза, он по-
велел ей закрыть глаза и расслабить руки, а затем во-
образить себе озеро. Увидеть любую зрительную карти-
ну ей, как и каждому профессиональному кинемато-
графисту, ничего не стоило.

Озеро, как с поздравительной открытки, круглень-
кое, голубенькое, послушно возникло. Но затем нача-

лась какая-то фантасмагория. Она отлично сознавала, что находится в кабинете врача, и в то же время ноги ее постепенно погружались в молчаливую, теплую воду. Озеро? Скорее, неподвижное море. Плотный ватильковый тон воды. Белая птица сорвалась с ветки единственного растущего на берегу дерева, пушистого, оранжевого, словно неземного. Птица была похожа и на чайку, и на цаплю, и почему-то на саму Валю. Может, это она и была? Или милый Джонатан Ливингстон, про которого они с Юрой с таким наслаждением читали незадолго до его смерти в „Иностранной литературе“?

Птица извивалась в пористом воздухе, произвольно меняя очертания, и вдруг превратилась в Юрку. Он стоял с удочкой, и леска прыгала по воде, и Юра улыбался и приложил палец к губам, чтобы Валя не спугнула рыбу. Или, может, чтобы она не рассказала никому, как они виделись после его смерти? Ведь встречаться живому и умершему было бы нарушением главного закона этой жестокой планеты.

Обернувшись, не шевеля губами, Юрка сказал, как из души в душу перелил, что она зря винит себя: он был безнадежно болен, его сердечная мышца превратилась в тряпочку и больше не воспринимала лекарств. Он желал умереть дома, в своей постели. Мог же он позволить себе эту последнюю радость?

— Я был безнадежен, — сказал Юрка. — Но ты могла облегчить свою ношу, могла обвинить в моей смерти врачей, а ты обвиняешь себя. Ты всегда терзаешь себя за все трагичное, что происходит в нашей семье, или в нашей стране, или на нашей планете. Это смешно, Валя. А мне здесь покойно и лучше, чем у вас. Здесь воздух чище, чище... Легче...

Тут она услышала, что врач велит ей проснуться. Но она вовсе не спала, только видела сразу и его кабинет, и озеро, словно мир и антимир. И невыносимая тяжесть, огромный крест из неструганных досок, гнувший ей спину, вдруг как не был.

Она поблагодарила врача за то, что он дал ей возможность увидеть мужа, но мелькнувшее в его глазах удивление показало ей, что этого говорить и не следовало.

— Я вам этого не внушал, — как-то обеспокоенно произнес врач.

Не внушал, действительно... Но она видела, видела! И, выйдя от врача, почувствовала, что может, наконец, глубоко вздохнуть и ощутила свою причастность к этому миру. Ничто не было забыто, ни одна рана не перестала болеть, прежнее решение умереть не было поколеблено, но доживать оставшиеся дни стало легче. Спасибо Настоящему врачу, даже не догадывавшемуся, что происходит с одной из его пациенток. Медицина! Наука, называется... Три ха-ха, как говорили во ВГИКе.

Все же с сожалением Валя подумала, что врач этот, возможно, узнает о ее смерти и решит, что недостаточно хорошо лечил ее. И угрызение совести немного прищемило ей душу. Зачем доставлять даже минутную неприятность хотя бы одному человеку?

Ведь чуточку врач был добр к ней, или отлично наигрывал доброту. У него были хорошие глаза, то по-мальчишески задорные, то по-мудрому глубокие. Он сам был очень впечатлителен и раним, или играл, великолепно играл родственную ей душу.

Валя даже заподозрила, что в его душе живет свой Гаврошка. Только у этого человека не было такого внутреннего разлада, как у нее. Его Старший Брат, видимо, дружил с Младшим, хотя порой и отводил его в сторонку от крутых тропинок.

Е-рун-да! Все это она придумала: просто опытный врач, беседуя с ней, надевал свой привычный мундир психотерапевта, так, кажется, именовались медики, чьей профессией было внушать безнадежно несчастным людям, что они очень даже счастливы.

Конечно, так. Она всегда была доверчива, излишне доверчива. Но теперь это кончилось. Раньше-то Гав-

рошка часто влюблялась в людей, безразлично мужчин или женщин, любого возраста, находя в них ум и талант, и особую внутреннюю неповторимость; порой этих людей она почти не знала, видела только мельком, иногда только слышала о них.

Но это было ошибкой. Нельзя доверять никому даже в сокровенной глубине глубин. Слишком многие способны ударить ножом в спину, просто так, за здорово живешь.

А врач? Ну что ж, пока он беседовал с Валею перед гипнозом, она старалась определить его генотип, хладнокровно, не поддаваясь на добрые слова, насаженные на медицинскую удочку. В словах-то был запрятан крючок. Ежу понятно.

Собственная таблица генотипов уже несколько лет сделалась ее хобби. Валя вела ее старательно и заносила туда всех, хотя бы мимолетно встреченных, людей, с кем ей случалось перемолвиться парой слов, если эти люди чем-нибудь ее заинтересовали, оказались неизвестными экземплярами, ценными для ее коллекции. И она сама придумывала названия генотипов, к которым относилась ту или иную любопытную особь.

Скоро она убедилась, что почти все двуногие, как бильярдные шары в лузы, укладываются в какой-нибудь десяток генотипов, не более того. Не так уж разнообразны мы, земляне, как самоуверенно понимаем о себе! Много, слишком много мы о себе понимаем.

И она, поразмыслив, отнесла уверенно Настоящего врача к генотипу „Режиссер”. То есть: воля плюс знание, чего ты хочешь, плюс отсутствие острой чувствительности, но профессиональное умение изобразить любые распространенные чувства более или менее достоверно.

Конечно, все мы актеры в жизни. И те, кто и вправду играет на сцене, и те, кто играет в каком-либо учреждении — в райкоме партии, в классе, в медицинском кабинете. Все мы, земляне, актеры, но, как верно

определил Станиславский, делимся на актеров переживания и актеров представления. Режиссер — всегда актер представления: генерал, вождь, руководитель, воля, сила, грубое сердце. И наигранные эмоции. Так создан природой этот характер. Не нравится? Жалуйтесь в высшую канцелярию Вселенной.

А у нее генотип „Гаврош”. Гавроши — актеры переживания. Им трудней. Вообще-то говоря, людей с генотипом „Режиссер” следует опасаться. Они жалеют и любят только себя. И какая-то настороженность перед этим навязанным ей врачом холодела у Вали под сердцем. Страх? Смешно! Раньше она вовсе не ведала этого чувства, по отношению к самой себе. Но теперь... Юрка! Юркины рукописи.

Врач так добродушно, исподволь, заводил разговоры об искусстве — привычный Вале треп, который вели все ее многочисленные знакомые на студиях, в коридорах телецентра, в гостях, в фойе Дома кино:

— Смоктуновский трали-вали, Нонка Мордюкова вали-трали, Шурик Володин тары-бары, Виктор Сергеевич Розов растабары.

И она привыкла болтать почти бездумно, как иные тянут папиросный дым, и, не задумываясь, что-то отвечала этому любознательному врачу. Но неожиданно он, как бы оговорившись, задавал вопросы явно нелепые: „А кто старше: вы или ваша мама?” И Валя невольно улыбалась, а врач, ожидая ответа, впивался в нее глазами, выражение которых напоминало собаку на стойке и ту далекую старушку, докторшу наук, когда-то гипнотизировавшую Валью.

Неужто он допускал мысль, что она, ну, как бы это помягче выразить, сумасшедшая, что ли? Значит, как и Петрик, полагал, что глубокие и сильные чувства не пристали бодрому советскому человеку, который, как положено, погоревав о смерти мужа, быстренько должен утешиться (ну, чем?) хотя бы тем, что, как пишут в газетах, в нашем государстве успешно перевыполнили годовой план по производству носовых платков.

Господи Боже мой! Образованный человек, умный, опытный, привык за норму считать дебилов — и все тут. Искренне привык... И Вале стало понятно, почему в сумасшедших домах, где держат у нас совершенно здоровых, но на свою беду способных мыслить людей, так много находится медиков, берущихся излечить их. Стереотип, вдолбленные с вузовской скамьи представления, через которые трудно да и неудобно переступить, даже мысленно, ведь ежели ты не веришь, что каждый, кто не приходит в восторг от того, что творится в его стране, — ненормален, то кто же ты сам?

О том, что беседы „про искусство” были тестами, Валя забывала, поглощенная тяжкими своими мыслями и заботами, и каждый раз снова при посещении врача попадалась в тот же капкан, как очень глупый зверь. Иногда это происходило и потому, что она привыкла: большинство людей, не имеющих отношения к литературе, высказывали о ней самые дикие мнения, немилосердно путая авторов, произведения, века и эпохи, и крайне неучтиво показать, что замечаешь их невежество. (Ведь заговори Валя о новейших открытиях медицины, тоже, небось, на слух медика невесть чего занесет.)

Поэтому, когда однажды врач спросил ее ненароком: „Вы не слыхали, говорят, Олег Ефремов поставил новую пьесу о рабочей молодежи, используя там философские мысли Конан-Дойля?” — Валя, тихо ужаснувшись про себя (ну и невежда!), добросовестно старалась припомнить, что за новую пьесу поставили во МХАТе?

Надо же! Милый доктор полагал, что у Конан-Дойля к тому же имеется особая философия! Мяушки... Впрочем, что удивительного? Однажды, путешествуя на пароходе по реке Волге, Валя познакомилась на палубе с почтенным седовласым джентльменом, спросившим ее как-то, заметив у нее в руках томик Эренбурга: „Это что, немецкий писатель?” Значок „Отличник

народного образования” украшал пиджак любознательного гражданина. Он явно в рабочее время был занят просвещением юношества. Так чего дивиться?

Милая женщина, кандидат биологических наук, соседка по номеру в гостинице (в одной из многочисленных командировок), перед сном, почитав взятый в гостиничной библиотеке томик Диккенса, сообщила: „Ничего! Американский писатель, — и добавила вдумчиво, — скорее юмористического плана”. (Она читала „Пиквикский клуб”).

Вот так. Валя знала, что только безнадежные тупицы цельны в своих представлениях и чувствах, и только в каждом из них живет единственное существо. Нормальные — многолики: не двое, множество индивидуальностей населяет их душу, но кто-то всегда главный. Даже у проститутки Петрика, существа, в общем, примитивного, как в магнитной скобке, в одном конце был плюс, а в противоположном минус.

Еще Вале казалось, что где-то в центре ее мозга, в самом пульте управления его, размышления Гаврошки, и Старшей Сестры, и еще нескольких безымянных их оппонентов, соседей по душе, размышления их общие здраво слагаются в мысли и вызывают разумные, единственно достойные в ее положении поступки. Там, в глубине, где господствует интеллект. Там она, как пишут в медицинских книгах, вполне умственно сохворанна. Однако внешне она выглядит измученной, растерянной...

Конечно, здравомыслящий человек не спутает горе с болезнью, но помимо негодяев (их не так много), сколько же на свете просто неумных людей? Давно уже наука о происхождении мира отказалась от несколько примитивного представления, что Земля стоит на трех китах и весь прочий мир во главе с солнышком вращается вокруг нее. А как просто было в это верить, как легко... По-видимому, невропатология и сейчас приблизительно на китовом уровне.

Какое дело до всего этого уходящей навсегда Вале! Но приговор, вынесенный самой себе? Об этом — ни звука Настоящему врачу. Иначе, конечно, он, чтобы избавиться от ответственности, предупредит ее родных, что Валью следует отправить в психбольницу. Молчать, Гаврошка!

„Как унизителен гипноз, — думала Гаврошка, — унизительно чужой волей жить, даже короткое время”.

— Ты же ради Юрки, — напомнила Старшая Сестра.

— Угу! Но все же... Тащиться к этому Настоящему врачу в поликлинику каждый раз отчего-то так тяжело, ноги, как мешки с картошкой. И... стыдно.

— Да брось ты, не до гордыни нам, — махнула рукой Старшая Сестра.

— Слушай, а интересно, кто этот невропатолог: человек или Алик-врач? Тот ведь тоже свое дело знает. Сочувствует он своим больным, хоть крошечку, ну, как подопытным собакам? Иные исследователи их жалеют, а тут люди все-таки, исстрадавшиеся люди.

— Еще чего! — засмеялась Старшая Сестра, — жалование он получает. И за это выполняет свою работу, от сих до сих.

— Жаль... Ведь что ценнее всего на свете, ценней слепящих алмазов, и дивящих небоскребов, и горящей нефти, и насыщающего хлеба?

— Деньги, да? — попыталась угадать Старшая Сестра.

— Доброта, конечно. Человечья, звериная, доброта мягкой травы, теплого дождя, упругого неба, волнистой воды. Доброта. И пусть она не подлинная суть этого человека, пусть он в образе Настоящего врача играет доброту — все равно. Скажи мне, кого ты изображаешь, и я отвечу, кто ты. Нет?

Старшая Сестра молча пожала плечами: терпеть она не могла слушать (ей было тошно), как Гаврошка разводит глубокую философию на мелком месте.

В то утро Валя ощущала себя раздавленной лягушкой, злосчастной раздавленной лягушкой на большой дороге. Спешат мимо машины, смеются в них люди, и никому ее не жаль, потому что у нее скользкая кожа, потому что она зеленая, потому что на них непохожа. А разве человек красивей лягушки? Голый, с остатками грубой шерсти, неведомо зачем растущей на голове, с уродливыми конечностями на концах, разделенными на тонкие щупальца. Какая-то помесь червяка с обезьяной. Царь природы! Инквизитор природы. А зол как, эгоистичен, подл!

В то утро опять звонила Тоська-спекулянтка, опять сыпала соль на раны. Гаврошка раньше, по наивности, полагала, что Тоська благодарна ей. Теперь лишь сообразила: давно уж она сделалась главным объектом Тоськиной ненависти. И только потому, что дышала, существовала на белом свете. Ну, скоро Тоська вздохнет с облегчением. Скоро, скоро...

С Тоськой она несколько лет назад познакомилась случайно в киношном Доме творчества. Валя приехала туда со срочной халтурой, чтобы скорее забить в нее гвозди на воздухе, на всем готовом.

Тоська, увесистая пожилая особа, в красных брючках в обтяжку, с простоватой добродушной физиономией, прибыла исключительно отдохнуть. Был не сезон. Ранняя холодная весна. И на весь большой дом — человек двадцать жильцов, почти все престарелые предки киноработников.

Они приехали в один день и сели за один столик. Вероятно, Тоська сделала это неспроста. На первую прикидку Валя представляла для нее интерес. А Валя сглотнула наживку.

Ах, как глупа она была! Впрочем, если б она и догадалась, что такое на самом деле Тоська, вряд ли удержалась бы от соблазна. Слишком тяжело Вале тогда приходилось. Наступил момент, когда, устав от бесконечных халтур, Валя принялась писать всерьез. По

крайней мере, ей казалось, что всерьез. Запоем. Повести, рассказы, большие сценарии, словом, все жанры прозы.

Но, избаловавшись на легко шедших одно время поделках, она с удивлением убедилась, что написанное лучше, глубже, честнее почему-то крайне неохотно берут. А пока она днями и ночами трудилась по-честному, старые позиции в редакциях, где раньше легко покупали у нее халтуру, оказались почти утерянными. Кропать „чего изволите” могут очень многие.

Неожиданно она опять начала скудно вато зарабатывать. Это не имело важного значения для жизни их маленькой семьи (у Юрки прошел только что худфильм), но огромное значение имело для Валиного мироощущения. Она как-то пошатнулась внутренне, потеряла вечно порхавшую в душе надежду выбиться. А халтуры обрыдли, и писать их сделалось мучительно совестно.

Надо было случиться, что в эти дни она встретила в Доме кино своего институтского мастера, сделавшегося за прошедшие годы еще более маститым и приспособившего себе на грудь еще пару-тройку лауреатских значков.

— А, Валюшенька, — заулыбался мастер, по-киношному обычаю лобзая ее в щечку.

Когда-то в институте он очень баловал ее, первый номер своей мастерской. Потом, разумеется, потерял всякий интерес. Для вгиковских мастеров окончившие студенты становились как бы отбывшими на другие планеты. Но зато их мастер, в отличие от некоторых, всегда был приветлив при встречах. Иные ведь мастера порой делали вид, что вовсе не узнают бывших учеников. Может, боялись, что те попросят какого-нибудь совета, дадут почитать свои рукописи?

От Вали вряд ли можно было этого ожидать. Отчаянная гордость с детства выросла почему-то в ее сердце. Другие, случалось, просили помощи у вчерашних

институтских пап и получали такой отшибон, что долго потом зализывали раны на самолюбии.

Но их мастер был не такой. Сама вежливость. Про него справедливо говорили, что за долгую жизнь он никому не сделал зла и не причинил добра. По советским нормам — отличный человек! Правда, язык у него был вострый. Удивительная уравновешенность мешала ему стареть. Годы шли, сменялись поколения студентов, вырастали, погибали. А он все смотрел женихом!

Вот и теперь он сиял. Его наполеоновский профиль, слегка расплывшийся от времени, выглядел на редкость импозантно. Чудная с виду посетительница Дома кино, в нелепо длинном ультрамодном платье, со свежей заковыристой прической, явно не своя, вымолила, небось, у кого-нибудь билетик, чтобы упиться видом звезд (свои ходили в строгих темных юбках и кофточках, их еще студентками предупредили: Дом кино — клуб, куда приходят после работы, и являться сюда нарядными — моветон); несчастная болельщица, распахнув наклеенные ресницы, глядела на них с вожделением.

Пришлая тетка усекла, конечно, что мастер — знаменитость, и ломала голову, с какой же счастливицей он так нежно целуется? Что творит Валя в волшебном мире кино?

А мэтр тем временем попросил вкрадчиво:

— Валечка, деточка, окажите мне услугу: прочтите лекцию для моих теперешних студентов!

Валя вспыхнула:

— Я? С удовольствием! Но... о чем?

— Разумеется, о том, в чем вы наиболее сильны, — ухмыльнулся он, показав заячьи зубки, — о теории и практике халтуры!

И пошел. Это означало неблаговоление. Это означало: на нее возлагали большие надежды, но, мелкая душой, она не осуществила их. Не прыгнула с места вверх на сто метров. Какая нехорошая! Другие же лег-

ко эти метры преодолевали, правда, взбираясь по пологой лесенке.

Ах, как резко могла она его отбрить! На всю жизнь бы запомнил: „Конечно, я — опытный профессиональный халтурщик, тем и кормлюсь. Но что здесь удивительного? Ведь я — ваша ученица”.

Но она ничего не сказала, виновато и растерянно улыбнулась мастеру вслед. У Юрки были договора на той студии, где мастер состоял худруком. А у Юрки сердце... Боже мой, чего оно ей стоило!

И вот она встретила в Доме творчества женщину, которая со многими начальственными лицами, мандаринами высших рангов и мандариншами от искусства была „на ты” и „за руку”, хотя никто толком не ведал, чем же она сама-то занимается. За спиной ее почему-то кликали Тоськой-спекулянткой. Но мало ли какие злые прозвища иной раз приклеивают людям!

Тоська поведала Вале, что много лет была заведующей одного из крупных московских театров, потом уезжала с мужем в длительную заграничную командировку и ныне, возвернувшись, оказалась на вольном выпасе.

В основном пишет пьесы, но женщине так трудно пробивать их одной! Вернее, пробивать-то она может, и связи имеются соответствующие, свои и мужнины, а муж — известный генерал, на лучшем счету в Министерстве обороны, один звончок в Министерство культуры многое решает, но... Во-первых она, Тося, больше теоретик, отлично знает театр, вкусы различных режиссеров и прочее, но писать умеет, откровенно говоря, похуже, рационально несколько. А во-вторых, просто времени на все не хватает. Вот если бы кто-нибудь, хорошо бы молодая женщина со специальным образованием, вроде Вали, стала бы в основном писать, а она, Тося, в основном те писанья устраивать, могло бы получиться отлично. Почему бы не попробовать?

И они попробовали. Валя написала историко-революционную пьесу о девятьсот пятом годе. Не при-

шлось даже кривить душой особенно. Валя поверила в свой вымысел. Воображенные существа облеклись в плоть и кровь. Молодые герои пьесы были честны, восторженны и верили в идеалы. Почему они не могли быть такими на самом деле?

Однако испытала Валя буквально потрясение, когда дала почитать первый вариант „их” пьесы Тосе. Какие замечания та сделает? Ведь Валя — человек не театральный. Сценична ли пьеса?

Тоська увезла рукопись в очередной Дом отдыха, она круглый год по ним разъезжала, преимущественно по творческим, и, вернувшись, отдала пьесу с одобрительным отзывом: „По-моему, пойдет. Я там сделала небольшие поправки. Ты погляди”.

Раскрыв с волнением пьесу, Валя обнаружила лишь одну поправку на первой странице, дальше Тоська, очевидно, и не читала. Поправка была ошеломляющая! Дело в том, что одно из действующих лиц именовалось жандармским ротмистром. И вот, зачеркнув слово „ротмистр”, Тоська написала сверху „ротемистер”. Она полагала, что это слово пишется именно так.

— Боже мой! — закричала Гаврошка. — Она же совершенно неграмотна. С кем я связалась?! И как она могла быть завлитом?

Валя позвонила знакомой из того театра, где раньше якобы работала Тоська, и узнала, что Тоська действительно служила там очень недолгое время. Заменяла девицу, ушедшую в декретный отпуск. Только трудилась она не завлитом, а... буфетчицей. Но в театре все знали Тоську и относились к ней неплохо, потому что она была ласкова, услужлива и могла все добыть — от модного одеколona до импортного гарнитура, чем и снабжала с готовностью театральные люди. С наценкой в свою пользу, разумеется.

— Боже мой, с кем я связалась! — снова закричала Гаврошка, но уже не так громко. Узнав немного жизнь и нравы, Гаврошка соображала теперь, что менеджеру-пробивале грамотность особенно и не требуется.

Была бы только Тоська с ней-то честна. А в это Валя почему-то верила. Тоська неустанно твердила, что Валя — единственная ее подруга, близкий и родной ей человек. Ну почему нужно было ей не верить?

— Доверяя, проверяй! — твердила Старшая Сестра. — Но с Тоськой не рви. Она нужна тебе не меньше, чем ты ей. Ребенка ведь не стоит заводить. И поздновато, и Юрка последние годы попивает. Пожалуй, больного какого родишь! А работа — твое призвание, не домашняя хозяйка ты, хоть и любишь стряпать да стенки красить. Этим все равно душу досыта не напоишь.

— Иногда ты так рассуждаешь, что я перестаю понимать, кто из нас я, а кто ты, — вздохнула Гаврошка.

— Давно пора понять, что я просто-напросто умней тебя. И то в рассуждение прими: у Юрки сейчас художественные картины ставить начали и... Может, мерещится мне, как-то с легким пренебрежением он в последнее время стал к работе твоей относиться. Верно, нет?

— И мне так чудится, — призналась Гаврошка. — И ведь прав он. Халтурщица я. Так уж и в лицо кличут.

— Но ты можешь по-настоящему писать? — спросила Старшая Сестра, и даже в ее голосе послышалось Гаврошке сомнение.

— Могу! — закричала Гаврошка. — Честное слово!

— Так используй Тоську. Отдавай ей половину гонорара, ставь ее в соавторы. Неприятно, согласна, но ведь ты не тщеславна. И многие так поступают — и в науке, и везде. Пиши большие пьесы, пусть пробивает. А узнаешь пути-дороги, имя хоть какое приобретешь, тогда пробуй одна. Иной у тебя возможности нету.

И Гаврошка послушалась свою Старшую: что она могла? И снова, в запое, написала три пьесы, потом обтесала их, сняла все острые углы и нестандартные мысли и отдала пьесы Тоське. Но здесь что-то закрутилось не так.

Первую пьесу Тоська, правда, ткнула в один из

провинциальных театров, и ее сразу взяли. Повезло! И кнопочки какие-то потайные Тоська нажала, так что везенье было, так сказать, запланированным. И город был большой, а театр не слишком плохой.

Вторую пьесу Тоська просто вложила в конверт и отправила на студию телевидения, а затем позвонила туда, сославшись на рекомендацию заместителя министра культуры, который настоятельно советовал сие произведение поскорей поставить. Когда Валя спросила, что же конкретно заместитель министра сказал Тоське о пьесе, та от смеха свалилась с дивана.

— Нет, ты еще глупей, чем я думала! — прорыдала она в восторге. И была совершенно права. Заместитель министра, разумеется, и не слыхивал о Тоськином существовании. Это просто был ее обычный прием.

Валя дала себе страшную клятву, что на этом ее содружество с Тоськой-спекулянткой придет к концу. Но на четырех пьесах стояла и Тоськина подпись, и она вольна была распоряжаться ими.

На телевидении рекомендацию заместителя министра приняли всерьез, да еще Тоська, прибыв туда на полчаса с Валею, сделала все же одолжение — поведала сходу, чья она супруга и с кем знакома. Пьеса пошла.

Конечно, до выхода ее в эфир Вале пришлось месяца три поработать с редакторами и режиссером. Никого из них не удивляло, что Тоська не принимала в этом ни малейшего участия.

— Всем нам приходится идти на компромиссы, но ваш какой-то особенно противный, — бросил Вале редактор, когда они выпустили, наконец, двухсерийную пьесу и насладились хвалебными рецензиями. И Валя сообразила, что все всё понимают.

С третьей пьесой Тоська-спекулянтка и пальчиком не пошевелила, повелев Вале самой ехать в театр, где она будто бы обо всем договорилась, и отбыла на очередной отдых. В театре выяснилось, что о Тоське никто

и слыхом не слыхал, но все же обтекаемая пьеса, написанная свежим почерком, пробилась. Что стоило Вале, конечно, бездну нервных клеток и бессонных ночей. А Тоська, не поморщившись, получила свою половину и вывесила в передней своей квартиры новенький плакат.

С четвертой пьесой Тоська Валю уже никуда не посылала, пребывая во гневе. Без ее ведома Валя посмела написать несколько повестей и рассказов и отдать их в издательство, а там книжку взяли и напечатали. Не имея в виду ничего плохого, Валя подарила сигнальный экземпляр Тоське. С той внезапно сделалась истерика. Она вопила, что Валя обязана была проставить на книге и ее фамилию.

— Помилуй! Ты даже не читала моих работ из этой книжки!

— Ну и что же? Я и пьес наших не читаю, есть мне время! — ответствовала Тоська. — А все, что ты пишешь, ты обязана выпускать под двумя фамилиями.

Мы так не договаривались!

— Это само собой подразумевалось! — отрезала Тоська, но, увидев, что Валя молча уходит, кинулась за ней и принялась горячо извиняться. Тоська объяснила, что у нее невроз.

А Валю все сильнее терзал стыд за то, что она связалась с этой мерзкой бабой, безвыходность своего положения, понимание, что пьесы, на которых стояли две их фамилии, были написаны не о том, что ее по-настоящему волновало; и странное ощущение мучило: ей казалось, она плывет и плывет по бесконечной холодной реке со связанными руками и ногами, связанными так, что она может чуть-чуть шевелить пальцами, чтобы удержаться на поверхности, но не в состоянии приплыть ни к какому берегу. А силы все иссякают.

Но Юру радовало, что у нее идут пьесы, пусть и с Тоськой. И она скрывала от него свой стыд, тяжесть

премьер и банкетов с актерами, на которых напившаяся Тоська лезла ко всем целоваться и бесстыдно хвалилась, делая вид, что Валя в этих пьесах сбоку припека.

Зато Тоська, успокоившись за свое сытое бытие, откровенно ликовала. Давно достигнув пенсионного возраста, она получила, наконец, пенсию предельного размера (много все же нагорбатила Валя) и вступила в Литфонд, в писательскую организацию, где давали постоянный пропуск в Союз писателей и путевки со скидкой в различные Дома творчества. О том, чтобы за те же пьесы приняли Валу, разумеется, и речи не было, да она туда и не стремилась.

А Тоська, достигнув вершины блаженства, видимо, все упорнее начала задумываться, а почему все же на этих пьесах стоит и Валина фамилия и почему Валя получает за них половину денег?

Беспредельно скаредная, Тоська и одежду старалась приобрести как можно дешевле, в комиссионках, пусть подержанную, и много лет мерзла в своей кооперативке, просторной, элитной, но где температура зимой достигала всего каких-нибудь десяти градусов выше нуля. Вся генеральская семья из-за этого часто простужалась, но упорно не желала ставить необходимые дополнительные батареи отопления, потому что это нужно было делать за свой счет, за сущие гроши по их доходам, но все же... Нет, невозможно, жалко денег!

Живя с генералом, бывшая официантка быстро привыкла к паразитическому существованию: к казенной машине, которую водит казенный шофер и возит Тоську-спекулянтку, куда ей заблагорассудится, к бесплатным дачам, бесплатным поездкам по железной дороге, бесплатным санаториям. Почему бы и Вале не писать за нее бесплатно, просто ради счастья обслуживать Тоську-спекулянтку?

Пока все эти мысли ползали в ее примитивных мозгах, Тоська где-то мимоходом подцепила режиссера на их очередную пьесу, правда, режиссера без театра,

но, по отзывам, очень способного, и отправилась вместе с Валею к нему знакомиться.

Талантливый режиссер оказался девушкой, такой маленькой, что ее можно было бы принять за школьницу. Лицо с чуть выдвинутой вперед нижней челюстью, неправильное и необычное, было по-своему привлекательно: в нем смело нарушались общепринятые каноны красоты и утверждались какие-то новые. Как в современной музыке, в нем звучали диссонансы.

Обитала режиссерша Нина в маленькой комнатухе с обшарпанными стенами, почти без мебели. Украшением ее жилища были лишь книги по театру, сложенные в углу на полу, да большой портрет-фотография на стене, портрет короля Лира, удивительно похожего лицом на Нину.

Услышав ее фамилию, Валя все поняла. Нина была младшей дочерью погубленного Великим рябым замечательного актера, и один Бог знал, что ей пришлось пережить в детстве, прежде чем ее отца, после смерти подло оклеветанного, реабилитировали.

Теперь, закончив театральный институт, она осталась там ассистентом преподавателя режиссуры на полставки и мечтала сама что-нибудь поставить. Друзья отца (а у него, человека на редкость общительного и доброго, осталось их немало) всячески старались помочь Нине, но до сих пор ей не удалось устроиться ни в один театр.

Должно быть, власти опасались, что сама фамилия ее возбудит особый интерес в публике, если появится на афише. И хотя отца ее официально называли жертвой преступления Бериин, дочь, во избежание всяких толков, должна была пребывать в неизвестности. Ей давали заработать на кусок хлеба. Чего же ей еще нужно? Работать по специальности, ставить пьесы?

Тоська, конечно, ничего этого не соображала, но Валя сразу усомнилась, что Нине позволят поставить их пьесу даже в каком-нибудь захолустном театре. Однако она держала свои сомнения при себе. А вдруг?

Пьеса Нине понравилась, но, конечно, как всякий режиссер, она жаждала поправок. А когда через несколько дней Валя позвонила ей, чтобы сообщить: поправки сделаны, соседка Нины ответила, что она в больнице.

Словоохотливая старуха рассказала чудовищную историю: в то утро Нина пошла к своей больной, почти ослепшей от пережитого, старшей сестре, жившей в доме напротив. В том большом многоэтажном доме всегда дежурила в подъезде лифтерша, а на столике возле лифта белела кнопка, нажав которую, можно было вызвать милицию.

Но в тот момент, когда Нина вошла в подъезд, лифтерши на месте почему-то не оказалось; когда девушка подошла к лифту, откуда-то сбоку вынырнули двое здоровенных парней, и один из них приказал другому: „Бей!”

Они ударили ее чем-то тяжелым по голове, сбили с ног и продолжали избивать, пока Нина не закричала с искусным акцентом: „Что вы делаете? Я иностранка!”

Парни отступили, должно быть, испугались ошибки. А Нина сумела добраться до сестры и, обливаясь кровью, упала ей на руки. Находчивость спасла ей жизнь. Но все же в больнице пришлось зашить несколько ран.

Через месяц Валя случайно увидела Нину на улице. Она шла на работу в свой институт. Шла наголо обритая, как узница Освенцима, закутанная шарфом, гордо подняв свою маленькую голову. Длинные серьги с зелеными камнями оттеняли ее черные, немного японские глаза.

Преступников, напавших на Нину, милиция искала долго и тщательно, но... как ни странно, не нашла. Может, они были сыновьями тех, кто убил ее отца, духовными сыновьями? А она — была дочерью своего отца.

Через некоторое время Валя узнала, что за Нину уже не нужно беспокоиться: она уехала в далекую вос-

точную страну, откуда происходили дальние, очень дальние предки ее отца. Но всякий раз, когда Валя вспоминала молодую режиссершу, ее охватывало тяжкое беспокойство за родную страну — страну, где убивают актеров, считая их опасными.

С того дня как Валя сделалась вдовой, Тоська неоднократно навещала ее и выражала сочувствие, но глаза у нее горели торжеством. Она словно радовалась ее горю. Потом Вале поведали „под секретом”, что Тоська пыталась снять ее фамилию с одной из их „общих” пьес, очевидно, решила, что без Юры сможет легко расправиться с Вале. Ведь Валина фамилия на афишах выдавала роль Тоськи, на ней шапка горела, а Тоська, ко всему, была еще по-идиотски тщеславна.

Но времена все же были не сталинские, репутация у Тоськи сложилась скверная, она уже попалась как-то на попытке выдать чужой перевод за свой и попросту украсть у молодого автора написанную им комедию. С Вале у нее ничего не вышло.

Вечером того же дня Вале нужно было в последний раз пойти к Настоящему врачу. Во-первых, чтобы не вызвать гнева родных, уверенных, что скоро с его помощью Валя обретет бодрое жизнерадостное настроение. А главное — нужно было без особых мук протянуть останнюю ночь и утро, чтобы встретиться с теми и людьми во всеоружии, аккуратно передать им все Юркины рукописи и закончить тем земные дела.

Настоящий врач принимал в двух разных зданиях: один день — в основном, другой — в филиале поликлиники. Но хотя здания были не похожи одно на другое, его кабинеты в них казались близнецами. Одинаковая мебель одинаково расставлена, и даже царапинки на столах будто одни и те же. Валя каждый раз записывала, потом теряла записку и долго вспоминала, куда на этот раз ей следует отправиться?

К сожалению, врач перестал переселять ее в другие миры. Один раз только он повелел ей зачем-то увидеть море, и Валя перенеслась в Гантиади, в чудесный поселок на Кавказе, вернее, в примыкающую к этому поселку деревушку турецких армян: Белые камни.

Там узколищные люди с носами, как верблюжьи спины, большеглазые и молчаливые, тревожно избегали моря, возле которого жили еще их отцы и деды, бежавшие в стародавние времена с Туретчины. Ту дальнюю сторону их потомки продолжали считать родиной. А здесь все им было чуждо, и они почти не выходили из своих домов, где изредка сдавали комнаты приезжим, выбирая одиноких и смирных, похожих на самих хозяев.

На морском берегу, куда аборигены никогда не спускались, на безлюдной и диковатой песчаной косе, в причудливой неразберихе были набросаны громадные белые камни. На некоторых из них, гладко отшлифованных морем, может, тысячу или пять тысяч лет назад и щедро накаляемых солнцем, хорошо было лежать и покойно, как до сотворения человека.

В Белые камни Валя приезжала летом одна после смерти отца. И эти три недели были самыми тихими в ее жизни. Горе постепенно уплыло в морскую дымку, обкаталось, как морской камень-голыш.

Деревушка — пяток домов — висела, оттененная виноградниками, шагах в тридцати над морем. По почти отвесной тропке можно было слететь к нему прямо в купальнике, обломав по пути веточку дикой сирени. Синьковое небо колеблется над головой, и цветки сирени словно капают с него. Зажав ветку в зубах, хорошо нырять и выплывать, нырять и выплывать из дремучих волн. И запах моря — рыбный, водорослевый, светло-зеленый запах — сливается с кобальтовым запахом цветов в общую, протяжную от горизонта к горизонту ноту.

Валя смыла тогда жгучее горе и вновь полюбила

жизнь. Отвращение к ней и страстная любовь, которые вечно боролись в ее душе, сменились ровным, добродушным настроем. Она стала жить словно медленней и раздумчивей. Но тут наступило время вынужденного альянса с Тоськой-спекулянткой и все, что за тем последовало.

Настоящий врач заметил, должно быть, что она видит часто не то, что он ей внушает, погружаясь в гипнотический полусон, и начал лечить ее каким-то казенным текстом. Внушал ей, что она лежит на койке (этим казарменно-больничным словом он окрестил собственный диван), и руки-ноги у нее расслабляются, а на грудь наваливается тяжелый камень. И бессмысленностью казались и раздражали его слова, но она послушно становилась все же расслабленно-неподвижной и внимала бесстрастному голосу, убеждавшему ее, что она молода и здорова еще, и сможет работать, и должна жить — ради матери.

Но вот ровный голос понемногу уходит, и Валя снова видит не то, что ей внушали. Если бы врач знал, что она видит, покорно слушая его, он бы, наверное, понял, что его двулличная больная связывает последние узелки перед тем, как прыгнуть в лодку Харона, в белую остроносую лодку, которая скоро-скоро заскользит беззвучно по черному Стиксу.

Такое во всяком случае Валя видела однажды, когда ей внушали нечто бодрое и жизнелюбивое. Ах, эти образованные больные! Да еще творческих профессий.

А в предпоследнюю их встречу она увидела совсем иное: несколько чернобородых мужчин на холме копали мягкую, как песок, но очень черную землю. А рядом стояли Гаврошка и Старшая Сестра и улыбались, обнявшись. И вольно дышал ветер, играя солнечными лучами, и где-то рядом лисичкой загорелся костер.

В ушах Вали мирно зазвучали вместо наставлений психотерапевта строки японской поэтессы Оно-но Комати:

Печально все. Удел печальный дан
Нам смертным всем... Иной не знаем доли.
И что останется? Лишь голубой туман,
Что от костра над пеплом встанет в поле.

В последний день — вечером — она пошла в последний раз к Настоящему врачу. Открыла тяжелую дверь. Такой тяжелой она не была еще никогда. За дверью тянулся холл, в который выходило несколько медицинских кабинетов. Сейчас он был пуст.

Истоптанный пол, с глубокими вмятинами на каменных плитах, со стершимся рисунком из пестрых геометрических фигур, напоминал о множестве страждущих, прошедших тут в тщетной, наверное, надежде на исцеление.

Валя чувствовала себя совсем здоровой и спокойной. Только слабой. Но много ли сил нужно, чтобы дотянуть до завтрашнего утра? Лишь одна тревожная змейка-мыслишка покусывала ее: что, если те люди завтра скажут, что нужно еще несколько дней подождать? Им тоже нелегко. У Юрки много тяжелых рукописей. Валя все понимает. Их работа, как у взрывников, которые ошибаются лишь однажды. Но нет, они обещали, им можно верить. Это будет завтра. Валя улыбнулась сама себе и самой себе пожала руку: „Молодец! Выдержала”.

— Не хвались на рать идучи! — ехидно ввернула Старшая Сестра, и как в воду глядела. На стене приемной Валя увидела вдруг бегущие черные пальцы. Она бросилась к двери кабинета. Пальцы беззвучно проплыли над ее головой и ушли в угол. Спрятались в стену.

Господи, что это? Она же в здравом уме и памяти! Неужели прав Петрик, и тетя Нюра, и дядя Федя: Валя ненормальна, хотя сама не замечает этого. Ведь почти каждое утро на рассвете она видит эти пальцы, каждый раз другого цвета. Это — настоящие галлюцинации, здо-

ровые такого не видят. А то, что она уверена в своем психическом здоровье, — лишнее доказательство ее болезни. Все сумасшедшие считают себя нормальными, известное дело!

И ведь действительно она не такая, как тетя Нюра и ее дочка Лидочка, не такая, как Петрик, непоправимо не такая. Наверно, они — норма, а Валя, в глубине души считающая их жалкими мещанами, сама заслуживает жалости. Как там ни крути, нормальные не видят бегущих пальцев!

С похолодевшим лицом она вошла к врачу. „Чепуха! Я здо-ро-ва!“ — мысленно твердила себе Валя, но невольно глядела на свои руки с заметными черными пятнами. Они так и не исчезли за эти две недели. Даже сделались больше.

Врач небрежно спросил, почему у нее до сих пор не проходит на руках экзема, что-то в этом роде он спросил, и в глазах его промелькнуло сочувствие. Решив, что он догадался о пальцах, Гаврошка совсем потеряла голову. Если он узнает, что она видит галлюцинации, врач решит, что Валя помешалась, и сегодня же, по его совету, ее отправят в сумасшедший дом, и наутро она не сможет отдать Юрины рукописи, и они пропадут. Все усилия были напрасны.

Все проиграно и для нее, и для Юрки.

— Молчи, молчи, молчи про пальцы! — твердила Старшая Сестра.

И Гаврошка не проговорила про пальцы, нет! Но выболтала все остальное. Станные, пристальные глаза врача словно растворились в ее глазах. Она проболталась, как покатила с откоса, что опасается его, потому что если угодит в психушку к зловещему старику Лифшицу или к кому-нибудь похожему на него, то не выполнит свой долг, свой священный долг перед мужем. А она очень устала, не может больше бороться, и ей нужно скорей умереть, чтобы не страдать так, как страдает она уже много лет.

Врач спросил вдруг с довольной улыбкой, словно поймав ее, наконец, быстро спросил:

— Но ведь вы один раз уже пробовали это сделать, помните, когда ваш отец болел раком?

Это было, как удар ногой под сердце, тяжелой ногой в сапоге с большими гвоздями. Откуда он мог знать? Кто ему рассказал? Без ее ведома он расспрашивал мать, а та, выходит, знала? И выдала ее?

И, значит, он знал про мучительный позор операции — убийство нерожденных, которое называют абортом, и про это знал чужой человек с его ужасной улыбкой? Почему он все время улыбается, глядя на нее? Разве такое может быть кому-то смешно? И зачем он словно притягивает ее своими светлыми, вопрошающими глазами?

Скорчившись от боли, в состоянии нокдауна, Гаврошка не в состоянии была обороняться. Ее спрашивали — она отвечала. Вопросы падали сверху, били снизу, справа, слева. Врач возникал из разных концов комнаты, как наплыв в кино, лицо его вырастало, потом уходило на общий план.

Она понимала, что он нарочно то отходит, то приближается к ней, понимала, что это прием гипноза, эффективный прием, неведомо зачем примененный к ней, и все же не могла сопротивляться. Она сломалась и раскололась.

И рассказала все о своей жизни. Ему? Нет, пожалуй, себе. Этот человек говорил с ней так, будто она сама спрашивала, в ее лексике, в ее видении, он словно перевоплотился в нее и смог таким образом совершить не гипноз, а обыск, какой-то шмон души.

Своими руками, но против своей воли, она раскрыла тугие, как у морской раковины, створки своей души, заглянула в нее и впервые в жизни узрела свое подсознание. Это было жгуче больно. Открылись старые раны, закровоточили.

А Гаврошка все говорила, словно хотела наговориться за всю свою жизнь.

Она призналась, что часто, бывая у врача, внушала себе, что выдумала его и всю ситуацию, приведшую ее сюда. Просто весна, Юра, как обычно, в командировке, на съемках, а она пишет новую повесть, сосредоточилась на ней всеми помыслами и представлениями, а повесть эта о женщине, внезапно потерявшей любимого мужа, одинокой, окруженной чуждыми ей людьми, которые уверены, что сильно чувствовать могут только нервнобольные, и заставляют ее лечиться от горя.

И в то же время она отлично понимала, что это фантазия, нужная ей для отдыха, для перекура измочаленной души и еще потому, что с реальным посторонним человеком слишком трудно говорить о выстрадавшем и воле его, хоть на несколько минут, унижительно подчиняться.

И закричала Старшая Сестра:

— Немедленно уходи отсюда! Ты погубишь нас! Слышишь?

— Не могу, — с отчаяньем призналась Гаврошка. — Мои руки, и ноги, и язык не подчиняются мне.

— Встать!

— Не могу.

Гаврошка снова стала отвечать. Врачу? Себе? Она пробормотала о самом главном: у Юрки остались рукописи. Здесь их нигде не напечатают.

Профессиональная маска вдруг упала с лица врача. Загадочная улыбка Будды отлетела с ней. Он вышел из образа и как-то совсем по-Гаврошкиному воскликнул:

— Так отправьте их туда! Только тихо, тихо...

Глаза его запылали шальными огоньками, как у мальчишки, взобравшегося на вершину дерева. И Гаврошка узнала в нем Младшего Брата, приятеля, своего. Это Младший Брат воскликнул: „Так отправьте их туда!“

И Старшая Сестра сразу успокоилась, узнав своего в Старшем Брате. Это он добавил осторожно: „Только тихо, тихо...“

И, вздохнув облегченно, Валя призналась:

— А я этим и занимаюсь.

Больше он ее ни о чем не расспрашивал. И внушал ей что-то доброе. А она старалась сдержать дрожь, и скоро ей сделалось тепло. Озноб прошел. И Валя увидела Белые камни и Юрку с удочкой у неподвижного моря. И чувство покоя охватило ее, и ей не хотелось просыпаться...

Глава 6

ТЫ СПИШЬ, ВОРОБЕЙ-ПОДРОСТОК?

Интеллект есть функция какой-то недифференцированной нервной энергии.

М. Спирман⁺

А что такое ночь? И почему она бывает разная? Словно великан-робот, когда кончается день, накрывает мир, как клетку с попугаями, темной шалью и велит жестяным голосом:

— Спать, спать...

И люди засыпают.

Но в шкафу у великана много разноцветных шалей, он вытаскивает их не глядя — какая придется. То злобно-лиловую, как глаза ревливой старухи, поджидающей до полночи мужа, засидевшегося у приятеля за картами. То черную, расшитую щедро блестками, как костюм юной фигуристки, впервые выступающей на соревнованиях, то синюю с блеклыми пятнами неправильной формы, непонятную, как картина художника-абстракциониста и так же заставляющую сопереживать, скорее слыша ее, чем видя.

⁺Ученый-физиолог, научный противник И.П.Павлова.

Эта ночь была скромная, серенькая, словно сшитая из мышинных шкурок, нет, из нейлона, имитирующего мышинные шкурки, легкая и прозрачная, современная ночь.

Валя медленно шла по пустому бульвару. Рядом с ней, зевая во всю пасть, тащился Лорд Джим Поросятков. Его собранная в крупные складки курносая физиономия выражала негодование. Додумалась же хозяйка отправиться на прогулку в темноте, да еще его зачем-то с собой потащила! Ночью храпеть полагается, храпеть и дрыгать во сне лапами, а вовсе не нюхать те ни каштанов и не задира́ть лапы на их шершавые стволы. Всему свое время.

Но хозяйка, не обращая внимания на его демонстративные зевки и негромкое ворчанье, все ходит и ходит взад-вперед по аллеям. Может, она хозяйина ждет? Хозяин, правда, вдруг куда-то пропал. Не хлопает Лорда Джима по высокой холке, не чешет за ухом, не называет своим хорошим парнем.

Наверно, он отправился побегать на бульвар, куда же еще? как сотни раз отправлялся со щенком, но вот, заблудился, должно быть. Однако сколько не обнюхивает Поросятков следы людей на земле — запаха хозяйина не слышно. И пес фыркает недоумевающе. И ему вдруг делается грустно, неизвестно почему.

Валя останавливается у покрашенной в зеленую краску скамейки, у старой скамейки, деревянной, застывшей неразлично, как все другие, у третьей скамейки слева от начала бульвара.

Скамейка пуста. Она кажется такой древней, будто существовала задолго до того, как некий князь, Юрий, по прозвищу Долгорукий, основал здесь город, до того, как первая легкомысленная рыба выползла на берег из мирового океана и зачем-то (ах, как непредусмотрительны эти кистеперые красавицы) превратилась в земное существо.

— Елка! — зовет Валя. — Ты здесь, Елка? Зачем ты

приходила тогда ко мне, девочка? О чем хотела посоветоваться? Несчастный изболевший комок жизни, поверивший, что я человек, напрасно поверивший! Может, если бы много лет назад я бы пришла сюда, ты осталась бы жива? Нет, наверно, ведь я не властна над злыми микробами и не решилась бы отговорить тебя подарить любимому сына. А если б и стала отговаривать, — ты бы не послушалась. Нет, не советоваться, прощаться ты приходила. Ты ждала, что умрешь после родов, предупредили врачи, а единственно, когда они не обманывают, это когда выносят смертный приговор. Уж я-то знаю!

Елка... Я смела брезговать тобой, я, литературная проститутка, много раз писавшая то, во что не верила, продававшая свои лживые страницы, как ты свое больное, детское тело. Да ты ведь даром его отдавала! Запытанный ребенок, ты шла с любимым, чтобы услышать, хоть в пьяном бормотанье, что тебя любят. Пусть твои с тобой мерзкое, грязное, — ты чистая, в восемнадцать узнавшая цену людям и всем заведенным ими подлым порядкам, все же сумела сохранить веру в добро, умела любить, как никто из нас, презиравших тебя.

И Валя падает на колени, и бьется головой о твердые ножки скамейки, о ледяные чугунные ножки.

— Прости, прости, прости меня, Елка! Лучший человек из всех, кого я знала, отважный, святой человек! Я настолько пережила тебя, я так несчастна, я никогда не была счастлива, ты ведь знаешь, и живу за чем-то... Прости, Елка!

Валя вдруг видит совсем рядом на большом каштане серую птицу. Это воробей, еще не взрослый, пушистый, желтоклювый воробей-подросток. Он дремлет, наклонив набок голову, крепко обхватив лапами ветку, упругую ветку с резными, распушенными веером листьями.

— Ты спишь, воробей-подросток? — спрашивает Валя. — А что тебе снится? Нет, ты просто грезишь поти-

хоньку, мечтаешь о том, как вырастешь и превратишься в огромный серебристый самолет. Ты еще маленький и, наверно, любишь стихи и сказки. Хочешь, я прочитаю тебе без книжки, наизусть? Ну, хоть вот эти...

Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов.
Другие встретят солнце
И будут петь и пить,
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить...

Ты знаешь, эти стихи написал поэт Эренбург. Слышал о таком? Эх, воробей, воробей, воробей-подросток, какая же ты серость! Лучше я расскажу тебе сказку. Слушай! Жили-были на белом свете двое людей. Он и она. Они были совсем молодыми, когда познакомились, ей было семнадцать, а ему восемнадцать лет. О, у вас, воробьев, до семнадцати, верно, доживают лишь седоперые старцы, но у людей, представь себе, это небольшой возраст. Они учились вместе в шумном доме, который называется институтом, а потом подружились, а потом поженились.

И сразу им пришлось нелегко. Им не хватало крошек, знаешь ли, воробышек, большие злые вороны били их клювами, отнимали еду и угрожали забить совсем. Особенно худо приходилось ей, она была слабой и доверчивой, просто глупый птенец. Но они любили друг друга.

Потом им стало полегче. Крошек хватало не только для них, но и для их друзей, веселых певчих птиц, которых они постоянно собирали в своем гнезде. Они любили друг друга!

Он был хороший летун, но злые вороны разрешали им лишь перепархивать с ветки на ветку, а сами, каркая, кружились над их головами. Она, женщина, постепенно примирилась с такой жизнью. Они любили...

Но он, мужчина, чувствовал, что крошки для него не все, у него не было счастья свободного полета. И вороны убили его. Нет, не забили клювами, просто у него не выдержало сердце. Ведь у людей, как и у вас, птиц, тоже бьется в груди сердце, не думай, что мы совсем бессердечны, хоть и даем часто повод думать так.

Его не стало... А она бродит по бульвару, и ей очень плохо, ох, как ей плохо, воробей-подросток! Она любит детей, но их нет у нее. Почему? О, воробышек, человеческим детям много нужно, а она долго не могла дать им всего необходимого для счастья. Долго? Никогда! Ведь им тоже пришлось бы жить в клетке с невидимой решеткой, летать лишь над одной веткой, вечно опасаясь ворон, перед которыми бессильны и мы, люди, и вы, воробы. И от горя, от несправедливости у них тоже могли рано разбиться сердца. Она придумывала себе причины, по которым не могла завести маленьких, теплых воробьят, но основная причина была эта.

Еще птенцами им пришлось бы узнать, что они — птицы низшего разряда, птицы с ограничениями, птицы, зависящие от милости господ, вынужденные работать на них и восхвалять их, делая вид, что им самим так нравится. Маленький воробей, воробей-подросток, она слишком любила своих нерожденных детей. Тебе, сынок, не понять этого. Твоя мама-воробыха, отложив в гнездо крохотные яички, вовсе не думает о кошке, притаившейся на соседнем дереве. Но у людей, знаешь ли, головы побольше, чем у воробьев, и поэтому там уместается больше мыслей. Жаль, что так, но ничего не поделаешь!

А теперь она одна, одна, одна... Пожалей меня, маленькая слабая птица. Ведь она — это я, усталая и трусливая Старшая Сестра, смелая, но инфантильная Гаврошка и еще несколько безымянных старух, юных девушек и детей, столпившихся в моей душе. Но те — хор, эти две — солистки. А я — это Валя, та, что пыта-

ется уравновесить их в своей душе, как два полных ведра на коромысле, пытается и не может.

Бедный малыш, я замучила тебя непонятными речами! Давай я расскажу тебе что-нибудь другое. Хочешь знать, как меня лечил врач? Я ходила к врачу, чтобы мне не мешали закончить дела мужа. Юрка никогда не поручал мне этого, но я сама, сама так решила.

И я думала, что легко обману глупого врача, очередного чиновника, ставшего на моем пути. Но он спокойно, как орех, расщелкнул мою душу; видно, банальна она была и запиралась на слишком стандартный замок, а путешествие в страну чужой души было для него привычным делом. Он показал мне, что болит в ее подполье, и щедро залил раны йодом, не обращая внимания, как я корчусь от боли. Но не это помогло мне. На один миг он вышел из образа, и я увидела чужую душу, созвучную моей. Так врач, ставший на секунду искренним, исцелил меня. Он показался мне мальчиком в коричневом костюме, далеким мальчиком из моего детства, лежавшим на спине на площадке лестницы, поднявшимся мальчиком, простившим меня.

Раньше я смутно подозревала, кто был виновником Юркиной ранней гибели, теперь поняла отчетливо: задолго до смерти его тяжело ранили, мои заботы не могли его спасти.

Знаешь, воробей, утром, которое вот-вот придет, я встречусь с теми людьми, работы мужа попадут в надежные руки, и я смогу с чистым сердцем покончить расчеты с жизнью. Пусть живут и страдают дураки. С меня достаточно!

Но отчего я стала вновь ощущать кожаный запах каштановых листьев? И мокрый запах облаков? И неуверенный запах травы? Почему я вновь хочу глубоко дышать? Не хочу и хочу? И почему с рук моих исчезли черные пятна?

И сказала Старшая Сестра:

— Дурочка! Просто прошло время. Оно исцелило

тебя. И пятна, следы нервного истощения, вызванного тяжким горем, покинули наши руки.

И сказала Гаврошка:

— Нет! Мне вдруг стало казаться, что я еще смогу по-настоящему работать, смогу честно писать, исполнять то, для чего запрограммированы двуногие, считающие себя литераторами.

И уточнила Старшая Сестра:

— Ты хочешь сказать: сможешь притворяться, что работаешь? Ты всегда это умела и, конечно, сумеешь снова, дорогая моя! Но работать всерьез — опасно, очень опасно. Это — как думать вслух. Не трепли губы — сбережешь зубы!

И ответила Гаврошка:

— Жить вообще опасно. Но жизнь — искусство мужественных. Когда я решила убить себя, я сдалась — подняла руки не только перед своими личными врагами, но и перед теми, кто подкладывал поленья в печки крематориев. Или... мог их подкладывать. Это — позорная трусость. Как Монтигomo-Ястребиный коготь, я вступаю нынче на тропу войны, единственной справедливой войны в мироздании, незатихающего боя правды с кривдой. Я стану писать о себе и о своих друзьях. Вот моя маленькая ракета!

И расхохоталась Старшая Сестра:

— Инфантильная! Ты и твои друзья одинаково ничтожны, и не найдется ни единого человека, который бы захотел читать о них. Они погибли зря, и родились зря, и страдали зря. Честность и талант, и то, что называют интеллигентностью, не нужно огромному большинству жителей этой планеты.

— Ты лжешь! — закричала Гаврошка. — А если ты права... Что же мне делать?

Ночь вокруг расширялась и меркла. На светлеющем небе двигался ржавый серп, как всегда, один серп без жнеца. Валя протянула руку, чтобы разбудить ма-

ленького воробья, воробья-подростка, крепко уснувшего на ветке под ее сказки. И тут она увидела, что длинный гвоздь, должно быть, днем еще выпущенный из рогатки, насквозь пронзил его пушистое тело. Всю долгую ночь она рассказывала сказки мертвому воробью.

И Валя в тоске подняла руки к серпу, словно замершему над ее головой.

— Бог! Адонаи, Гошен, Будда, Отец Христа! Я не ведаю, как правильно называть Тебя, прости мое невежество. Много лет я верила в Тебя, в доброго Бога всех народов и религий, верила и молилась. Я молилась за своих родных, бесконечно дорогих мне, хотя были они только люди и, значит, грешники.

Но ведь это Ты, великий, мудрый, всеведущий, сотворил их такими. Я любила их, а Ты взял у меня и отца, и мужа. Пусть сама я, страшная грешница, заслужила адовы муки, но они? Почему Ты сначала не забрал меня? Я знаю, человек вправе лишь молить, но не вправе требовать отчета. Но, прости меня, один раз я все же спрошу.

Адонаи, Гошен, Будда, Аллах, Отец Христа! А зачем умерли так рано мои друзья? Ведь без воли Твоей ни один волос не упадет с главы человека. Они были честные и талантливые, мои друзья, и много страдали. А потом Ты забрал их, не дав свершить жизненного предназначенья. Зачем? Зачем Ты сорвал незрелые плоды?

Ведь смысл жизни в том, чтобы выразить свою суть, не так ли? Единый смысл для сосны и ромашки, для лягушки и человека. Ты Сам запрограммировал его во все сущее.

Господи, неисповедимы пути Твои, и, наверно, я не способна понять Твоих велений жалким своим умишкой. Прости меня, Господи, за дерзость мою. Но на одно я имею право, одно я обязана спросить Тебя... Господи, как Ты дозволил сжигать детей в печках крема-

ториев? Живых, маленьких, безгрешных детей, кричавших от невыносимой боли! Почему Ты дал убивать детей, Господи?

Или миром правит дьявол, наслаждающийся нашими безмерными муками, дьявол, Великий Негодяй, выдающий себя за Бога? Нет? Тогда склони, наконец, Свое сердце к людям и дай им всем немного покоя, немного счастья. И, хоть это жалкий эгоизм, но ведь и эту черту характера Ты подарил, дай немного счастья мне, слабому червяку, влачащемуся по этой планете, чье сердце болит от острой тоски, как у миллионов подобных ему!

Дай мне полюбить еще земное, мыслящее, живое, взамен тех, что Ты отобрал у меня. Дай мне ребенка, или подругу, или друга, кого смогу я любить и в ответ получать любовь. Ибо такой сотворил Ты меня, Господи, что без любви мне везде — безвоздушное пространство. Господи, помоги мне!

Дай надежду, что я смогу еще любить и творить, что встречу друзей, и буду жить в стране, где меня не станут считать парией! Нет! И этого я не достойна. Такое счастье лишь для праведников. Но, Господи, об одном лишь молю тогда: дай мне веру! Веру в Тебя и в высшую мудрость Твоих предначертаний. Дай веру множеству двуногих, страдающих вблизи и вдалеке от меня! Дай веру! Или мы убьем, замучаем, искореним друг друга от безвыходности, от безысходности бытия, и прекратится живое на этом большом камне, покрытом сором и кружащемся, кружащемся, кружащемся, неведомо зачем, в мировом океане среди других камней. Дай веру!

Лунный серп проходит над Валиной головой и, не тронув ее, уплывает за облачный занавес.

И сказала Гаврошка:

— Отныне я верую.

И засмеялась Старшая Сестра:

— Ой ли?

И закричала Гаврошка:

— Я верую и стану жить отныне по Божьим предначертаньям!

И ответила Старшая Сестра:

— Три ха-ха! Поживем — увидим.

Белый боксер бежал по бульвару, за ним медленно шла Валя, женщина с поздно повзрослевшей душой... Внезапно над головой ее взлетели огромные руки. Пламенеющие пальцы комкали небо. Их было шесть, девять, пятнадцать на каждой руке. Они тянулись все дальше, росли на глазах, свивались в причудливые фигуры. Их холодные тени мели бульвар. Трепеща, как молнии, они гасли где-то у земли и вновь возникали, вновь в мучительной судороге пытались сжечь Вселенную.

— А может, это и правда молнии? — прошептала Гаврошка. Лорд Джим Поросенков прижался к ее ногам, с испугом взирая на небо. Если то был бред, почему же он охватил и щенка?

— Молнии не бывают без грома, — блеснула знаниями Старшая Сестра.

— Почему не бывают! — привычно заспорила Гаврошка, хотя ничего толком про молнии не ведала. Она проследила взглядом за местом, откуда вылетали искрящиеся пальцы, и удивилась еще больше. Они несомненно появлялись из окна, из круглого церковного окна той большой церкви, где венчался когда-то Пушкин.

После смерти Юры, чтобы скрыть красные, истрадававшиеся глаза, Валя стала надевать на улице очки, своих у нее не было, приходилось носить Юркины, а они не подходили ей с ее минимальной близорукостью, и глаза стало саднить, заволакивать туманом. Однако в первые минуты очки обостряли зрение, как сильная подзорная труба, и теперь, нащупав их в кармане, Валя достала и нацепила увеличивающие стекла.

Да! Молнии вылетали из того окна. Это нелепо. Значит, она больна все же... Но ведь она же видит цветные пальцы. Вот они! Вдруг сделались ярко-зелеными. А теперь побежали фиолетово-голубые, как пламя электросварки. Пристально вглядываясь в дом, откуда рождались пальцы, Валя перевела взгляд ниже. На кованной, старинной, музейной двери виднелась вывеска. Отчетливые буквы: „Научно-исследовательский институт молний”.

Облегченно вздохнув, Валя опустилась на скамейку и впервые за эти тяжкие недели тихо засмеялась. Тысячу раз раньше она видела стеклянную сине-белую вывеску и забыла, забыла... Да, в церквушке изучали молнии и делали опыты по ночам, чтобы днем не смущать жителей близлежащих домов. Она же знала об этом!

Пальцы, витавшие по ее комнате, были тенями искусственных молний, падавшими из окна на вентилятор. Только и всего! Она раньше никогда не просыпалась так рано и не видела их. Боже мой, как просто все объяснялось! Единственный раз, измученная ожиданием той минуты, когда сможет, наконец, передать рукописи мужа, она вообразила, что видит пальцы в приемной поликлиники, далеко от дома, там тоже, должно быть, скользили по стене какие-то тени. Как это сразу не пришло ей в голову? За большим полузабеленным окном во дворе играли дети. Она заметила их, входя в поликлинику. Маленькая девочка ловко крутила хула-хуп, две других перебрасывали тяжелый мяч. Тени их пальцев, преломляясь в стекле, падали на стену холла и носились по ней, словно догоняя кого-то. Тени, тени...

Петрик и тетя Нюра, дядя Федя и другие знакомые, непоколебимо убежденные, что больше месяца не положено горевать по усопшим, что все интеллигенты склонны к помешательству, а те из них, кто не хочет или не может раболепно приспособливаться, — наверня-

ка психи, требующие лечения, тупые самоуверенные мешчане (только благодаря им и стало возможным загонять инакомыслящих в сумасшедшие дома, на изощренные пытки), почти убедили Валю, что она, совсем на них непохожая, конечно, не в норме.

И она стала подозревать у себя какое-то нервное заболевание от шока и искать тому доказательств. Сны, тени... Интеллигентский комплекс вины... Ох, Боже мой! Здоровыми и верными были ее мысли и поступки, но больной — жизнь вокруг. Так часто, едуци в поезде, видишь, как убегают деревья за окном, одно обгоняет другое, а поезд, кажется, стоит на месте. Аберрация зрения, путаешь неподвижное с мчащимся. А в действительности двадцатого века немудрено перестать отличать больное от здорового. Советская форма дальтонизма!

Что ж, она здорова и, наверно, будет жить. Остается решить лишь, как и зачем?

Сгорбившись, усталая, разбитая, но ощущая в душе росток пробудившейся надежды, Валя стояла на бульваре возле третьей скамейки слева. Ждала, когда придут силы, чтобы дойти до дому и начать готовиться к встрече с теми людьми.

А в это время где-то на семьдесят седьмом небе, в серо-голубых гулких просторах галактик двое Высших, не спеша разглядывали Землю и на мгновение задержали свои взоры на Суворовском бульваре.

— Знаешь, — задумчиво сказал Первый, — а ты был прав. Существа, которым я придумал такие черты, как талант и совесть, большей частью оказываются побиты теми, кому ты придумал бездарность и подлость.

— Я же предупреждал тебя с самого начала, что так будет, — еще до того, как мы поставили этот опыт с мельчайшими зверюшками, которых поселили на комке грязи, названном нами Землей, — ответил Второй.

— Но знаешь, чего ты не предвидел? Они здорово научились страдать, мои, во всяком случае, — удивился Первый. — Мне даже жаль некоторых. Вон той, страшенькой, возле скамейки, хочется чуть-чуть помочь.

— Ни-ни! — возразил Второй. — Ты сорвешь весь опыт! Если уж они очень станут корчиться от душевных мук, мы сразу уничтожим всю Землю, а зверюшки пусть полагают, что погибли от атомного взрыва, вызванного ими самими. По крайней мере, — утешенье для них, ничтожных тварей!

— Недурно придумано! — признал Первый. — Только пусть сразу. Они малы и отвратительны, но все же лишние страдания...

— Ученый должен быть выше подобных чувств! Подопытные существа — только подопытные, не более того, — решительно ответил Второй.

И оба снова наклонились над сверхсильным микроскопом, обдумывая очередной опыт.

А много выше, над ними, внимательно их наблюдая, находился Тот, по сравнению с Которым Первый и Второй были мельчайшими зверюшками, хотя и не подозревали, что сотворены Им и подчиняются Его воле. И в глазах Его светилась доброта.

Сбоку на небе медленно рождалось солнце, дышащий желто-красным жаром колокол. Где-то в дальней дали мироздания беззвучно бил, бил, бил набат...

1977

* * *

В туристическом бюро
Все по карте разберут.
Там придумают хитро
Занимательный маршрут.

Доктор за ноги берет,
Доктор мне дает шлепок.
И малютка-самолет
Первый делает рывок.

Дом родильный. Отправной
Пункт. Ночной аэродром.
Вон созвездье надо мной
Закачалось топором.

И в пролет оконных рам
Наливают синеву.
По садам и по дворам
Я в коляске поплыву.

А потом большой совсем
В школу я иду пешком.
Мне пройти кварталов семь,
Каждый дом мне тут знаком.

Поголяй, душа! Дыши
Снежным светом января.

Ах, как числа хороши
На листках календаря!

Но из школы в стон и плач,
Как в поход, уходим мы.
Очереди передач
Под воротами тюрьмы.

И, развеянные в прах,
Полетим, унесены
На телегах и возах
По обочинам войны.

Путешествие мое!
Карта времени в руках.
То случайное жилье,
То посадка впопыхах,

Самолеты, поезда,
Океанский пароход...
Где ж она, моя звезда,
И куда она ведет?

Над зеркальным черным льдом
Полуночной вьюги свист.
Бухта смерти. В Отчий дом
Возвращается турист.

* *
*

Клок бумаги. Протокол.
Расписались понятые.
Дождь таких бумаг прошел
В эти годы по России.

На рассвете проводы.
Увезли куда-то.
(У такого-то, такого-то
То-то и то-то изъято.)

Увезли куда-то.
Где он — не узнаем.
Детство мое изъято,
Смех за вечерним чаем,
Милая теплота
Доброй руки отцовой.

Ляжет бумажка та
В память плитой свинцовой.

Переписка ворохом
Свалена — изъята.
Изъято все, что дорого,
Изъято все, что свято.

В протоколе пункт один,
Как железный стержень —
Что задержан гражданин,
Гражданин задержан.

Гражданина уводил
В кителе детина,
И задержан бег светил
Был для гражданина.

Только сел в машину он —
Двинулась машина,
И задержан ход времен
Был для гражданина.

И пропал он, как в дыму,
На заре в июле,

И дыхание ему
Задержали пулей.

Брось на клочок бумаги взгляд,
Только зубы стисни:
Прочитай, как был изъят
Гражданин из жизни.

Владимир ГУСАРОВ

Баба Феня

Глава из книги⁺

Читаем с ней Евангелие — других книг она не признает, а мне тренировка нужна.

„Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут и знание упразднится”.

„Ибо надлежит быть и разномыслящим между вами, дабы открылись между вами искусные”.

— Гусаров — так себе, — сказал Исаич⁺⁺, — а вот его бабушка — какая музыкальная речь! Мы же не говорим, а каркаем...

У бабки нет простонародного выговора, на украинском она отвыкла говорить.

— Попала я маненькая в пятнадцать лет в пьяную русскую семью...

Поволжского „о” у нее тоже не слышно, видно, царицынские, саратовские и астраханские не окали. Словом, церковные книги тому причина, или еще что, но только нашим вождям неплохо бы поучиться у нее русскому языку. Лишь однажды я услышал от старухи с приходским образованием украинизм:

— В Николаевке открыли нефть и бурлят ее, бурлят...

⁺Владимир Гусаров. Мой папа убил Михоэлса. Выходит в издательстве „Посев”.

⁺⁺А.И.Солженицын.

Жаль, что я до Исаича не записывал ее выражений: „брыляет” означает брызжет, „набукла” — набухла, водой пропиталась. „Я не слышу ничего, а тут заходит милиционер без стуку, без грюку” (Казакова она не читала, Блока тоже, но говорит: „А на улице такая вьюга поднялась”). Умер человек не слишком похвального поведения. Бабка, сжав губы, кивает сама себе и говорит:

— Пошел на пекло скворчать.

Видимо, уже в городской жизни услышала слово „бюст” (не вождя, а женская грудь), но поскольку их две, она говорит:

— Я тогда молодая была, бюсы у меня большие были. А турок на меня смотрит: „Карош, москов, карош”.

— На тебя? — переспрашиваю я с сомнением. Она скромно потупляет взор.

Как-то я на нее наорал, она отвернулась, разобиделась. А я поостыл, жаль стало старую, подошел к ней и поцеловал — чтобы обстановку разрядить.

— Ты чего меня целуешь, ведь сегодня не четверг...

— При чем тут четверг?

— В четверг Иуда поцеловал Христа.

(Кажется, это случилось в среду, но бабка тут ни при чем — так мне запомнилось.)

Любит бабуля рассказывать про младшего брата Георгия, умершего после австрийского плена, хотя, по словам бабки, жилось ему там неплохо, учил детей австрийского офицера. Но самый частый рассказ — про Палестину. Недели две хлопотала, да так, не дождавшись разрешения губернатора, и уехала. Почти год там провела — из дому запаслась мешком муки да ведром постного масла, семья-то у них была — ни тебе подвижности, ни тебе недвижимости, один только гнет вековой... (Поди-ка теперь попутешествуй.) Больше всего она говорит о Христе, о святых. Слушая ее рассказы об Иосифе Прекрасном, о Суламифи, о царе Соломоне, я принимаюсь додумывать старуху:

— Бабушка, так ведь и Христос еврей.

Она, поспорив и попрепивавшись, в конце концов изрекает:

— Тогда, Володя, время такое было — все тогда евреями были.

Один из ее рассказов — про Николю-дурачка — я записал. Он был найден славными чекистами во время повальных обысков после ареста Якира. Потом, когда дело Якира-Красина закрыли, какие-то пустяки вернули, в том числе и бабкин рассказ (фотографии оставили на память). Сейчас я опять не могу его найти, видно, засунул куда-то, так что буду передавать по памяти, по возможности, бабкиным слогом, а не своим „каркающим“. Приятно сознавать, что он уже прошел цензуру, так же, как „Голос из хора“ Терца-Синявского.

НИКОЛЯ-ДУРАЧОК

— И-и-и! Так ты что? Против властей? — бабушка неодобрительно мотает головой. — Власти — это дело не наше. Всякая власть от Бога!

— Понимаешь, бабуля, я давно чувствую, что хоть и не доживу, но на Старой площади еще будут выкидывать из окон письменные столы. Пузырь, сколько ни раздувай, а когда-нибудь да лопнет!

Бабка вдруг оживляется и говорит торопливым шепотом:

— Знаю! Это я лучше тебя знаю! Это еще Николя-дурачок предсказал! — и не дожидаясь моих расспросов, начинает: — Бегал Николя-дурачок по Слободе, как Василий Блаженный, когда и босой, когда и без шапки. Если кто похвалит его одежду — норовил снять с себя и отдать, но разумные люди старались его покормить и что-нибудь дать. Знали его и в Камышине. Цвиркуниха, его племянница, возила его туда к своей тетке, а его сестре. Они и родом оттуда, и реальное Николя там кончил — ученый человек по тем временам был!

Тогда гимназии были только в Саратове и в Сталинграде (так именно она и сказала, но простим ей — полгода осталось бабушке до девяноста пяти). Поставили его начальником станции в Покровском, Енгельс теперь. Человек он был степенный, хотя и холостой, но... впал в буйство. Увезли его в Саратов, в дом сумасшедший, в Сталинграде такого дома не было, а мы, хотя и сталинградские, а нам одинаково — в Саратове и Маруся училась, и Георгий помер, и я в больнице лежала...

— Ой, бабка, ты про это уже...

— Да... Пробыл Николя в Саратове лет пять, потом родственники получают письмо: заберите вашего больного! Приехали. Там вроде как больница — и врачи, и санитары, и монахини. Говорят: буйствовать больше не будет, но и в ум не придет, хотя он, может, умнее нас всех. Врач однажды к нему подошел, за руку взял, ну, этот, пульс, щупать. „Как ты сегодня, Николя, спал?“ — „Я спал здесь, а ты где?“ Врача смущение взяло: как бы Николя не рассказал при санитарях, что он не дома ночевал.

Цвиркуниха, мать Кирика, ему племянница, так что он жил в нашем дворе, она ему печку отвела, потом пришлось скамеечку ставить, чтобы пришедшие могли с ним разговаривать: сколько, мол, проживу, да какой урожай будет, пора ли сына женить... Николя много не говорит — буркнет два-три слова и под тулуп. В Камышине, у другой племянницы его, родилась девочка. Окрестили ее, принесли и пошли в другую горницу — обмывать с крестными. Гуляли-гуляли, захотели взглянуть на дите, открыли, развернули белые новые пеленки, а дите все золой обсыпано. В углу Николя забился — ну, кому еще такое натворить? Спрашивают: „Николя, ты чего наделал?“ — „Ничего не наделал, земле предал“. Через месяц девочка и умерла. Я еще замужем не была, чужих детей нянчила, да по улице с девчонками гойкала, у нас к празднику Казанской Божьей Матери готовились — в управе убирались, цер-

ковь наряжали. Николя заглянул в управу и сказал: „Романовы блины печь собираются!” Потом в церковь сунулся: „Романовы блины печь собираются”. Никто из уборщиц в толк не возьмет, что он бормочет, а он опять свое; да так ясно, громко сказал: „Романовы блины пекут!” Тут уж сомнение многих взяло: какие блины? какие Романовы? Пошли в управу, а там уж служащие собрались, у них только что депеша получена: государь скончался. Блины пекут — значит, к поминкам готовятся... Меня он звал Федопся Андревна, а я уж, бай дюже, как зовет, так и зовет. Когда наши собрались в Палестину, бумаги исправнику подали, я уже вдовая была, муж мне книжку оставил, я струмент продала, а сама шила да свекру гробы красила — сколько раз в гроб ложилась, если покойница моего росту, мне теперь в гроб ложиться не страшно, лишь бы не палили, а то как перед Господом предстану — в виде золы?

— Бабушка, не отвлекайся, ты же про Николю начала!

— Зовут меня с собой богомолки, у них уже разрешение, я тоже подала, но мне нету ответа, потом я узнала — губернатор в Курскую губернию запрашивал, Гусаровы оттуда приехали после воли... Пошли мы к Николе, спрашиваем: „Поедет ли Андревна в Палестину?” Он голову высунул: „Без Федопси Андревны не уедете!” Ан уехали. Не дождались моей бумаги. Одна на пароход садилась. У меня и баулы, и узлы, и ведро с мешком. А тут пожилой еврей говорит, что билет нужно закомпосировать, а то без места останешься. И обещал вещи мои постеречь. Я тогда молодая была, не знала, что евреев нужно остерегаться, и оставила его стеречь.

— Ну и что?

— Ничего, постерег, пока я компосировала. Приехала в Одессу, а наши там — турок воспы боялся и карантин сделал. Опять по Николиному получилось — „без Андревны не уедете”. В Одессе мне писарь гово-

рит: „Почему губернаторского разрешения нет? Может, ты малолетнего сына бросить хочешь?” Я и не знала, что говорить, а Маруся дала ему три рубля, и он понял, что не брошу, и написал бумагу. Посадили на паром, бинокель дали...

— Бабушка, ты про Палестину сто раз рассказывала, говори про Николю!

— Ну, а я про кого? Одному купцу, Кириенкову, в его же саду на его скамейке написал и день, и месяц, и год — он в этот день и помер... Когда ерманская началась, Павлючиха, мельничиха, аж за двадцать верст к Николе ходила — Павлюка на войну взяли. „Николя, когда война кончится?” — „Третьего ноября”. Пришло третье, пятое, десятое — война не кончается. Потом прислали Павлючихе пакет, там написано: „Ваш муж убит третьего ноября”. Вот и выходит, что для него и для нее война кончилась. Шуба у Николи была овчинная, ее не в ту краску макнули, красная она стала, ее и подарили Николе, он ей укрывался и в холод надевал. Холодно еще было, приходят люди, а Николя всю шубу разодрал, делает из волосков пучочки и перевязывает их. „Ты зачем это, Николя?” — „Скоро много красных бантиков нужно будет! Нужно побольше...” И верно! Прошло недели две — царя скинули, пристава об столб головой зашибли, и все красные бантики нацепили — кто на грудь, кто на картуз. Много бантиков понадобилось... Даже сахарозаводчик Курылев, сурьезный человек, и тот бантик нацепил. После переворота пропал он — жену с детьми бросил и убежал, а может, сгинул. Года через два пришел к Курыльчихе вдовец свататься, а она не знает: чи вернется хозяин, чи нет. Пошла к Николе, спрашивает: „Увижу ли когда сваю Афанасия Петровича?” — „Ни его, ни могилки его”. И пошла Курыльчиха за вдовца. Я потом не раз спрашивала и в Камышине, и в Слободе: „Не объявлялся ли Курылев?” — „Нет”, — говорят. Как-то увидел меня Николя с Николаем, маненьким, три года ему было, но

сам ходил, за руку его вела. Николя посмотрел на нас и говорит: „Дети у нас великие, больше нас выросли, ба-альшие люди стали!” И что ты скажешь? Николай каким начальником был! Свой вагон имел, самолёт свой, и Ворошилов, и Маленков, и Шверников в гости приезжали, про них и в календарях написано было. Хоть недолго, а поцарствовал... А Василь Васильича и вовсе в кремлевской стене палили, с самыми большими секретарями. Еще когда отец на Урал полетел, я вспомнила Николины слова: „Дети у нас великие, больше нас выросли”. Когда деникинцев прогнали, в Камышин Троцкий приезжал на красной трибуне выступать — народу сбежалось — тьма!

— Ты не путаешь, может, это Сталин приезжал?

— Нет, Троцкий. Сталин сзади тогда стоял, должно, слушал и проверял. А уж потом, когда ево ругать стали, бабка твоя, Андреевна, божилась, что видела у Троцкого под фуражкой рожки, маненькие такие, совсем не видные из-под волос, приглядеться надо. А Николя шнырял в толпе и все приговаривал: „Повернулась бочка вверх дном. Придет время — на место встанет!” А на трибуну и не глядит, только раз и сказал: „Коммунары... комиссары... Еще горло друг другу перегрызете!” И ведь правда! Чиво только я по радиу о Сталине ни слыхала: урожай ево и солнышко ево, а теперь и схоронить где, не знают. А я и тогда думала: „Ну, великий человек, ну, спасибо ему, но чтоб вместо соньца почитать — это еще зачем?” И еще я вспомнила Николю, когда погоны надели — бочка-то на место становится! Похоронили Николю в двадцать третьем, рядом с отцом Василием, хотели угодником Божьим объявить — не велели. А потом и церковь сломали, и кладбище срыли для культуры и отдыха. Только на том месте, где Николя схоронен, ну точно! — там клумба получилась. Угодник он и есть, как ни верти! И я тебе скажу — и не доживем, а будет все, как Николя-дурачок говорил, он ни разу не ошибся. Только ты, бай дю-

же, никому не говори, а то меня затаскают к Сугинту (Сугинт — уполномоченный ЧК в первые годы революции, мужики и тогда говорили: „С твоим языком к Сугинту попадешь”). Не говори никому, а то я тебе, аминь-каменючка, ничего больше не скажу, хоть убей, хоть разрежь... А Николины слова запомни: „Повернулась бочка вверх дном — придет время, на место станет!”

России сердце не забудет...

(О творчестве Александра Галича)

Знаменитая хрущевская „оттепель” вызвала к жизни ранее глубоко запрятанное, но неизбежно присущее каждому человеку стремление к самостоятельному гражданскому мышлению, к осознанию себя не „колесиком и винтиком” безликого государственного организма, а полноправным вершителем судеб своей страны, ответственным за все — и за прошлое, и за будущее. Ростки этого сознания пробивались медленно и осторожно, главным образом — путем „эзопова языка”. К языку этому я отношу в данном случае все многочисленные проявления „свободомыслия”, стремящегося и быть таковым, и — одновременно — не дать официального повода властям „схватить себя за руку”. Способы пользования „эзоповым языком” были поистине неисчерпаемы. Это было и полное переосмысление творчества Маяковского (на 180° от принятого в учебниках толкования) — восприятие его как поэта *актуально* революционного; увлечение пророческими стихами Блока, Мандельштама, Цветаевой, Волошина; „протаскивание” писателями „смелых фраз”, пусть и прикрытых грудой казенного мусора (за эти-то несколько „смелых фраз” и прощали когда-то читатели тому же Евтушенко все его бездарные и подхалимские опусы, полагая, что последние он пишет именно „для политики”, чтобы иметь возможность обнародовать первые. Такого рода раздвоение личности было тогда,

увы, вещь совершенно естественной и всем понятной); сугубый интерес к определенным произведениям (или даже лишь отрывкам из них) наших классиков — Салтыкова-Щедрина, Достоевского, — и многое-многое другое... „эзоповым языком” были даже и пронзительно лирические песни Окуджавы, с их утверждением примата личного над общим (а что уж говорить о том, что „те, кто идут, всегда должны держаться левой стороны”?! — кто же это воспринимал действительно в соотношении с эскалатором метро?!).

Люди, не могущие открыто выражать свои мысли (по большей части — из-за вьезшегося уже в натуру ощущения безнадежности даже предпринять попытку это сделать, из-за боязни немедленного „пресечения”, репрессий, а кое-кто и из-за недооформленности еще собственного мировоззрения), с увлечением читали вслух, цитировали, переписывали „цензурю дозволенные”, но безумно „смелые” и „как сейчас написанные” откровения 100, 200 и даже 500-летней давности. Трудно было нам выбираться из сталинской шинели... И получался даже некий парадокс: если марксистская литература зачисляла Пушкина чуть ли не в свои предшественники по свержению царского самодержавия, а Толстого — в зеркало революции (сами, впрочем, отнюдь не желая взглянуть в это зеркало попристальней), то передовая интеллигенция нашей „оттепели”, так же вырывая фразы из контекста, устами Щедрина, Гюго или Шекспира обличала общественное устройство СССР шестидесятых годов XX века...

Галич первым прорвал этот барьер „эзопова языка”, он первый назвал вещи своими именами и откровенно *сказал* то, что до него было принято лишь *подразумевать*, первым дал четкое моральное кредо своим современникам:

„Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,

Вот как просто попасть — в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!”⁺

(„Старательский вальсок”)

Зачем Мандельштаму понадобилось писать роковые для него стихи про Сталина? Почему не выстроил себе „башню из слоновой кости” и не отдался „чистой лирике”? Зачем надо было Андрею Платонову писать „Усомнившегося Макара” и „Впрок”?.. Сколь многим писателям, поэтам, композиторам, художникам, ученым можно задать аналогичные вопросы! Может быть, именно как наделенные большим талантом, чем другие смертные, они и ближе к Богу; получивши большой дар Божий, они и должны Ему более других... Потому и не могут они — когда приходит их время — не сказать чистосердечно, как тот ребенок из андерсеновской сказки, что „король-то — голый!” (А ведь и все остальные видели, что — голый, но удобнее, спокойнее им было „не видеть”, и даже внушить себе, что у тебя одного дефект зрения: все же остальные видят другое...так, на каждом, и замыкается этот круговой обман.)

Во всех людях есть искра Божия и у каждого — свой талант, данный Господом. Но если человек увидит открытое ему Богом и не поделится этим с другими, отнимется талант — Тем же, Кто и подарил его...

Судьба щедро одарила Александра Галича, отвела от него все бури и невзгоды 30-х — 50-х годов, и, казалось бы, жить ему да поживать — красавцу, счастливцу, признанному и любимому всеми нашими официальными писательскими и кинематографическими организациями, с перспективой солидного памятника на Новодевичьем. Но — прозвучала в небесах труба Божия и позвала его в бой как своего солдата:

⁺А. Г а л и ч . Поколение обреченных. 3-е изд. „Посев”, 1975. Здесь и далее цит. по этому изданию.

„Над кругом гончарным поет о тачанке
Усердное время, бессмертный гончар.
А танки идут по вацлавской брусчатке
И наш бронепоезд стоит у Градчан!
А песня крепчает — „взвивайтесь кострами!”
И пепел с золою, куда ни ступи.
Взвиваются ночи кострами в Острове,
В мордовских лесах и в казахской степи.
На севере и на юге —
Над ржавой землею дым,
А я умываю руки!
А ты умываешь руки!
А он умывает руки,
Спасая свой жалкий Рим!
И нечего притворяться — мы ведаем, что творим!”
(„Баллада о чистых руках”)

И даны ему были взамен страдания и жизненная маята
на родине, скитания и смерть на чужбине, и — бессмер-
тие поэта.

В настоящем поэте в России всегда есть что-то от
библейских пророков: стремление познать Истину и
призвать к ней, бесстрашно, во весь голос:

„О доколе, доколе,
И не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?!

И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!”

(„Петербургский романс”)

И — как библейских пророков побивали камнями,
так судьба наших поэтов, начиная с 1918 года, — сплош-
ной мартиролог. „Нам не зная жребий вывесил,/Носо-
вой платок в крови”, — скажет об этом Александр Га-
лич.

Бескомпромиссное гражданское мужество, страстная личная убежденность призыва к раскрепощению человека от страха, острая злободневность каждого произведения и умение выбрать самое характерное, типичное в жизни общества, — все это, в сочетании с высоким художественным мастерством формы, сделало свое дело моментально: песни Галича распространились по стране с быстротой молнии, их знали и пели все и везде. И поскольку — что правда, то правда, — отношение к литературе в нашей стране действительно несколько особое: писатель воспринимается именно как „учитель жизни” (да таков он, собственно, и есть, за то и страдания принимает), — трудно переоценить, какое влияние оказало творчество Галича и на нашу молодежь, и на психологическое состояние общества в целом. Ибо отныне нельзя было уже не только лениво, нехотя (но вместе со всеми) голосовать на „клеящихся” партсобраниях, успокаивая свою совесть тем, что „ведь не в тюрьму и не в Сучан, не к высшей мере”, — стало невозможно и „жить спокойно, опускать пятки в метро”, просто молчать. „Я — судья”, — сказал Галич. „Я — судья!” — повторили вслед за ним сотни и тысячи слушавших его песни. Но судья прежде всего самому себе, а потом уже — другим, судья, не выискивающий сучок в глазу другого, а сначала вынимающий бревно из глаза собственного. И считающий в первую очередь именно самого себя лично ответственным за зло, в котором лежит мир, себя виновным во всем, что произошло и происходит с его страной, понимающим, что именно он, лично, своей кровью и жизнью должен быть готов спасти честь и достоинство Отчизны.

„Снова, снова — громом среди праздности,
Комом в горле, пулею в стволе
— Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Наши танки на чужой земле!

Вопят прохвосты-петухи,
Что виноватых нет,

Но за вранье и за грехи
Тебе держать ответ!

За каждый шаг и каждый сбой
Тебе держать ответ!
А если нет, так черт с тобой,
На нет и спроса нет!

Тогда опейся допьяна
Похлебкою вранья!
И пусть опять — моя вина,
Моя вина, моя война,
И смерть опять моя!”

(„Бессмертный Кузьмин”)

Пожалуй, невозможно найти хоть сколь-нибудь важную проблему в жизни нашего общества, на которую не откликнулся бы Галич: возрождение сталинизма и исход евреев из России; „лагерная” тема во всех ее ракурсах и аспектах — и по отношению к экам, и по отношению к „вертухаям”; голодная, нищая жизнь простого человека и семейные склоки среднепартийного мещанства; проблемы антисемитизма и нашумевший в свое время спор между „физиками и лириками”; правительственные кампании против поэтов, писателей, художников и подавление свободы в чужих странах; привычная всем ложь и бессмыслица партсобраний, помещение здоровых людей в психиатрические лечебницы, вопросы спорта... А какой огромный, пестрый, разноголосый мир открывается нам со страниц книг Галича! Да одно перечисление лишь *профессий* его героев заняло бы добрую страницу текста! И каждый из них — абсолютно автономное, самостоятельное существо, живой человек, со своим собственным неповторимым обликом, жестами, речью. Сколько характернейших примет времени, мельчайших деталей быта, обрисованных Галичем со скрупулезной точностью (что, кстати, чисто психологически немало способствует выработке у читателя веры в правдивость автора)! Если бы, скажем, случилась какая-нибудь не-

вероятная катастрофа, в результате которой погибли бы все экономические, социологические и т.п. труды, то из книг Галича можно было бы получить исчерпывающую картину жизни нашей страны 60-70 годов.

Произведения Галича, мне кажется, не совсем правильно называть собственно „песнями” — в общепринятом смысле этого слова. Все в них: острая разработка сюжетной линии, напряженность и конфликтность ситуаций, сугубая детализация обстановки, поразительное разнообразие языковых характеристик персонажей и т.п. — скорее дают право отнести их к жанру эпическому — роману, повести, рассказу, сжатым до предела, очень кинематографичным. Ну, а в том, что романы и рассказы эти — в стихах, что поются под гитару, — своеобразие галичевского творчества. (Кстати, и назвать Галича поэтом-песенником тоже невозможно. Поэт-песенник — это Исаковский и иже с ним, а Галич — скорее уж, бард...)

Возьмем, например, уже ставшую хрестоматийной (не побоимся в данном случае штампа: ведь и вправду — стала, сразу же, как появилась) трагикомедию „Красный треугольник” (в просторечии более известную как „песня про товарищ Парамонову”).

„Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать,
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да, я с Нинулькой гулял, с тетипашиной,
И в „Пекин” ее водил, и в Сокольники.

Поясок ей подарил поролоновый
И в палату с ней ходил в Грановитую,
А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границей.

А вернулась, ей привет — анонимочка,
Фотоснимок, а на нем — я да Ниночка!
Просыпаюсь утром — нет моей кисочки,
И ни вещичек ее нет, ни записочки,

Нет как нет,
ну, прямо, нет как нет!”

Итак, завязка действия: существует классический „треугольник”, жена уходит от мужа, узнав об измене (характерна — „анонимочка”). Муж обрисован всего несколькими словами: „Пекин”, Сокольники, Грановитая палата, поролоновый пояс — и подарок, и места „вождения” типичны для среднего советского мещанина. Ласковое „Нинулька”, „Ниночка” оттеняет отношение героя к жене, которую он органически не может называть иначе, чем „товарищ Парамонова” („кисочка” — это уж явно трусливо-лживое, в предчувствии грозы).

„Я к ней в ВЦСПС, в ноги падаю,
Говорю, что все во мне переломано,
Не серчай, что я гулял с этой падлюю,
Ты прости меня, товарищ Парамонова!

А она как закричит, вся стала черная —
Я на слезы на твои — ноль внимания,
И ты мне лазаря не пой, я ученая,
Ты людям все Расскажи на собрании!

И кричит она, дрожит, голос слабенький,
А холуи уж тут как тут, каплют капельки,
И Тамарка Шестопал, и Ванька Дерганов,
И еще тот референт, что из „органов”,

Тут как тут,
ну, прямо, тут как тут!”

Развитие действия по отношению к „треугольнику”. Герой отрекается от своей „Нинульки”, но жена его — видимо, действительно всерьез переживающая измену (обратите, кстати, внимание, как по ходу действия она меняется в цвете: черная, красная, синяя, белая), — до такой степени обесчеловечена, оболванена своей руководящей работой, что без „собрания” уже не может и помыслить возможностей разрешения конфликта. Здесь же — завязка нового сюжетного узла: начало конфликта героя с обществом (чего он больше всего и боится). Общество охарактеризовано достаточно определенно: презрительно-уменьшительными име-

нами (Тамарка, Ванька) в сочетании с „говорящими” фамилиями (Шестопал, Дерганов), безликость референта вполне компенсируется упоминанием, что он „из органов” (это уже нарицательное наименование в нашей стране — „референт из органов”). „Каплют капельки” тоже имеет двойной смысл: то ли успокоительное лекарство дают, то ли „капают” (т.е. наговаривают напраслину).

„В общем, ладно, прихожу на собрание,
А дело было, как сейчас помню, первого,
Я, конечно, бюллетень взял заранее
И бумажку из диспансера нервного.

А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня, вся стала красная,
У них первый был вопрос — свободу Африке! —
А потом уж про меня — в части „разное”.

Ну, как про Гану — все в буфет за сардельками,
Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами,
А как вызвали меня, я свял от робости,
А из зала мне кричат — давай подробности! —

Все, как есть,
ну, прямо, все, как есть!”

Развитие действия. Меткая характеристика официозной фальши „собрания” и мещанской сути „собравшихся” — любителей перетряхивать чужое белье. Но герой — тертый калач, хорошо знает, что *принято* в таких случаях делать: бюллетень и записку из диспансера он берет не просто так, а — „конечно”.

„Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать,
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да, я с племянницей гулял с тетипашиной,
И в „Пекин” ее водил, и в Сокольники,

И в моральном, говорю, моем облике
Есть растленное влияние Запада,
Но живем ведь, говорю, не на облаке,
Это ж только, говорю, соль без запаха!

И на жалость я их брал, и испытывал,
И бумажку, что я псих, им зачитывал,

Ну, поздравили меня с воскресением,
Залепили строгача с занесением!

Ой, ой, ой,
ну, прямо, ой, ой, ой..."

Строгое следование героя общепринятым нормам и правилам „игры” (и Запад лягнул, и на болезнь сослался, и на жалость брал, и даже „Нинульку” уже „падлой” не называл — как бы на себя всю вину взял) вознаграждено: сюжетная линия „конфликта с обществом” завершается — кульминация одновременна с развязкой, — общество признало героя „своим” и поздравило с „воскресением”.

„Взял я тут букет цветов покрасивее,
Стал к подъезду номер семь для начальников,
А Парамонова, как вышла, стала синяя,
Села в „Волгу” без меня и отчалила!

И тогда прямым путем в раздевалку я,
И тете Паше говорю, мол, буду вечером,
А она мне говорит — с аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.

И племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое,
Она всю свою морковь нынче продала
И домой, по месту жительства, отбыла.

Вот те на,
ну, прямо, вот те на!”

Вот и разрешился конфликт одного из углов „треугольника”. И уже до конца выясняется психология героя, знающего все „правила игры” и добросовестно выполняющего их (вплоть до „букета цветов покрасивее”), но и использующего первую же лазейку, чтобы нарушить их — с какой-то даже детской стремительностью, непосредственностью, эгоизмом... Однако „правила игры” не такая уж ничтожная вещь, чтобы от них можно было избавиться, ибо „игра” эта ведется всеми (и Нинулькой, и тетей Пашей тоже). Чтобы исчерпать сюжетную линию, автору остается уладить еще лишь

один конфликт — с женой, которую ни покаяние на собрании, ни даже букет не разжалобили. И тут — в строгом соответствии с укладом советской жизни — появляется Deus ex machina в лице партийного руководителя и с отеческой (материнской) улыбкой восстанавливает крепкую советскую семью:

„Я иду тогда в райком, шлю записочку,
Мол, прошу принять по личному делу я,
А у Грошевой как раз моя кисочка,
Как увидела меня, вся стала белая!

И сидим мы у стола с нею рядышком,
И с улыбкой говорит товарищ Грошева —
Схлопотал он строгача, ну и ладушки,
Помириться вы теперь, по-хорошему.

И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку,
И пришли мы с ней в „Пекин” рука об руку,
Она выпила „дюрсо”, а я „перцовую”
За советскую семью образцовую!

Вот и все...”

Романы-повести-рассказы-эссе-песни Галича удивительно интонационно многообразны: сарказм, пронзительная боль, мягкий юмор, глубокая грусть, трагизм, восхищение, жалость, открытое негодование, нежность, сожаление, — нет, пожалуй, такого оттенка человеческих чувств, какого не было бы в произведениях поэта. Но, пожалуй, главное, единое для всего его творчества чувство — глубокая любовь к людям, искренняя вера в то, что человек по природе своей хорош, что в конечном счете силы Добра победят силы Зла в его душе. Тиран, поставивший целью своей победить, уничтожить Христа, устроить *свое* царство вечного зла на всей земле („Поэма о Сталине”), и тот в конце жизни падает на колени с мольбой: „Прости мне, Отче,/Спаси, прости...” Над палачом, пределом мечтаний которого было „загнать в барак” и уничтожить все живое, самостоятельное, саму стихию, — по смерти его „коридорная” зажигает „Божью свечечку”. Бывший ээк бережно накрыв-

вает простынею умершего „вертухая” (только что сожалевшего, что не „забил” его „в Вятке”), а сын его „по тому ли по снежочку провожает вертухаеву дочку”...

Бог Галича — добрый (поэт неоднократно употребляет именно этот эпитет) и какой-то очень свой, близкий, родной, такой, с которым можно говорить по душам и кому можно желать каждый день „доброго утра” и „доброй ночи”. И любовь Галича к людям — не головная, не прагматическая, не за что-то конкретное; он любит их такими, какие есть: замученные-закрученные-заверченные жизненной маятой, с искалеченными судьбами и изувеченной психикой, со всеми их недостатками и ошибками.

„Я люблю вас — глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали, до времени, старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Что ни день — то бесстыдными славят фанфарами!
Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали,
Сколько раз соблазняли соблазнами тщетными...
И как черти вы злы, и как ветер отходчивы,
И — скупцы! — до чего ж вы бываете щедрыми!”[†]
(„Признание в любви”)

И в любви этой, в сострадании к ближнему, нет для Галича „ни эллина, ни иудея”. С одинаковой болью скорбит он и о погибших под Нарвой, и о сожженных в Освенциме и Треблинке, о Михозлсе и о Зоценко, одинаково восхищается подвигом поляка Петра Залевского и еврея Януша Корчака, с одинаковой страстностью говорит он и о подавлении „пражской весны”, и о невыносимом угнетении русского народа, и о том, что тысячи людей вынуждены покинуть Родину...

Вот этого последнего и придется сейчас вкратце коснуться. Именно об этой теме (одной из сотен дру-

[†]А. Г а л и ч . Когда я вернусь. „Посев”, 1977.

гих) шел разговор у Галича с другом его детства, писателем:

„— Пусть другие об этом пишут! — гудит Володя и тычет в меня очень толстым указательным пальцем. — А тебе об этом писать не надо!

— Почему мне именно, русскому — как ты говоришь — поэту, об этом писать не надо? — задаю я уже слегка провокационный вопрос.

Володя усмехается:

— Именно тебе не надо, понял?!

Я понял тебя, друг моего детства! Я тебя прекрасно понял!

Это все тот же заколдованный круг, сказка про белого бычка, кольцо, которое не сомкнуть, не разомкнуть!

Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? (...). Пускай об этом пишут другие — со стороны еврея это бестактно!

Вот и поди — вырвись из этого круга!”

(„Генеральная репетиция”⁺, сс. 240-241)

Увы, это было не только частное мнение „Володи”, такова усиленно навязываемая всем политика властителей нынешней России, привыкших управлять по принципу „разделяй и властвуй”.

Эмиграция — трагедия для любого человека, для поэта это трагедия вдвойне, ибо для него это еще и ломка психологии, шок, который не может не сказаться на творчестве. И даже не сама еще эмиграция, но одно лишь сознание ее неизбежности, естественно, отразилось и на поэзии Галича. Произведения гражданско-эпические (именно и принесшие ему огромную любовь и популярность в стране) сменились сугубо личной лирикой, где теперь на все лады варьировалась одна тема — вынужденного расставания с Родиной. (Этой же теме посвящена и написанная незадолго до отъезда автобиографическая книга „Генеральная репетиция”.) Картины прошлого, детства, стремление разобраться, что же, собственно, ему жаль покидать, какая она, Россия, —

⁺А. Г а л и ч . Генеральная репетиция. „Посев”, 1974.

„та, с привольными нивами, та, в цветенье сирени”, или та, где одни „обкомы, горкомы, райкомы” и „безликие лики вождей”? — все это пронизано острой болью нанесенной обиды,

„...Когда Некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.

Угловым жильцом, что копит деньгу —
Расплатиться за хлеб и кров.
Он копит деньгу, и всегда в долгу,
И не вырвется из долгов!”

(Сб. „Когда я вернусь” — „Песня об Отчем доме”)

И все же Галич находит в душе своей силы побороть этот вихрь самых противоположных чувств, он приходит к ясному и твердому осознанию одного: от России он неотделим. Это *его* Отчий дом, именно его, а не пустолицых и безликих отщепенцев, и в дом этот он обязательно вернется. Написанные им уже в эмиграции последние произведения (такие, как дальнейшие песни о Климе Петровиче Коломийцеве, поэма „Вечерние прогулки”), выполненные в его „старой” — эпической — манере, лучше всего доказывают преодоление поэтом духовного кризиса.

Лет десять назад один хороший человек, коммунист, сказал мне: „Если ты хочешь узнать, что такое настоящий коммунист, — слушай Галича!”. Он включил магнитофон и завел „Балладу о прибавочной стоимости”... Года через два, за активное распространение солженицынского „В круге первом” (и категорический отказ „раскаяться”), его выгнали из партии и, естественно, с работы...

Нет, не „классовости”, не „партийности” учил и учит Галич, а прежде всего тому, чтобы каждый из нас был *настоящим человеком*.

Триптих В. Е. Максимова

АЛГЕБРА И ГАРМОНИЯ

Прежде всего — оговорка: сам В.Е.Максимов три своих последних романа („Семь дней творения”, „Карантин” и „Прощание из ниоткуда”), может стать, столь слитыми друг с другом и не считает. Вопрос: вправе ли я в своем разборе приписывать произведениям жанровые черты, самим автором не названные?

Отвечая, что — да, вправе, я мог бы сослаться на ту неповторимо-личную интуицию творческого свершения, при которой художественная, тоже *sui generis*, интуиция должна быть присуща и критику.

Но я хочу задержаться немного на своих взглядах насчет „поверки алгеброй гармонии” — они далеки от представления об эстетической „нерасчленимости” художественного целого (продолжатели этого утверждения В.Кроче готовы вообще похоронить литературоведение как науку); я весь в плену той плеяды исследователей творческого слова, которая громила партийными догматиками за „формализм”, но труды которых (В.Виноградова, Ю.Тынянова, Б.Эйхенбаума и др.), по признанию самих же громивших¹, получили мировую известность.

По поводу „гармонии” я всегда вспоминаю несколько строк из „Доктора Живаго”:

„Произведения, — читаем мы там, — говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего го-

ворят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах „Преступления и наказания” потрясает больше, чем преступление Раскольникова”.

Это „присутствующее искусство”, иначе — гармония, иначе — эстетически „совершенное” в произведении трудно поддается определению, — еще Кант писал о неадекватности эстетической идеи какому-либо понятию. В таком смысле эстетическая нерасчленимость „совершенного” отчасти и бесспорна, но творческая ф а к т у р а его расчленению поддается. Стоя перед картиной художника, мы можем судить вразбивку ее композицию, ракурсы, колорит, светотени и пр.; прочтя роман, задумываемся над особенностями его структуры, образной системы, языка, над существом и направленностью авторского творческого самовыражения и т.д.²

Иными словами: в ходе прочтения литературно-художественного произведения, этого „подлинного чуда”, как называл это польский искусствовед Роман Ингарден³, в процессе раскрытия гармонии мы от непосредственного контакта-впечатления обращаемся к ее природе, то есть к той совокупности форм и приемов, в которой воплощены замысел автора и черты творческого его облика и таланта.

Т а л а н т и в эстетическом впечатлении и в эстетическом раскрытии первороден и перворяден (увы, в критических рассуждениях он часто глушится ворохом побочного и малозначительного). И не только верны, но и программны строчки опять-таки Бориса Пастернака:

„Смягчается времен суровость.
Теряют новизну слова.
Талант — единственная новость,
Которая всегда нова”.

„Новость” В.Максимова, когда я прочитал „Семь дней творения”, была для меня ошеломительна: впечатление, что встретился с крупнейшим мастером рус-

ской нынешней прозы, как сложилось, так и не оставляет до сих пор. Еще и укрепилось после прочтения двух следующих романов. Но укрепилось и желание это впечатление проверить и объяснить.

Отсюда — страницы этого моего очерка.

„ПОСТРОЙКА” И АВТОРСКОЕ ВРЕМЯ

1

Три романа В.Максимова первочтением не прочитываются. А когда читаешь вторично, открываешь, раньше может быть прочего, своеобразие их „постройки”, как называли композицию Достоевский и Толстой: автор, будто скульптор-авангардист, вдохновенен и неожиданен в лепке повествовательных форм — сюжетных экспозиций и продлений, временных и пространственных ракурсов, повторов, концовок и переходов. Из „скульптурности” целого, пожалуй, и возникает представление об этих романах как о трилогии — трех сферических срезах, разных диаметров, но центрального совпадения, фактура которых опережается характером авторского творческого проникновения: в мир и историю („Семь дней творения”), в подручное окружение („Карантин”), в самого себя („Прощание из ниоткуда”).

Дни первого романа⁺ обретают сферическую глубину благодаря временным отступам — структурному приему, которым В.Максимов пользуется часто и широко: в виде ли сновидения, воспоминания или просто ассоциативной параллели повествование вдруг переносится в прошлое, выводя оттуда знаменательные в жизни героев эпизоды и переживания.

Таким сплошным отступом оказываются, напри-

⁺В. М а к с и м о в . Семь дней творения. Собр. соч., том второй. „Посев”, 1976.

мер, День второй — „Перегон” или хроноступенчатый по структуре День третий — „Двор посреди неба”.

Как повторяющийся компонент целого отступы, однако, невелики, размер их — где-то в пределах 10-15 страниц текста. И тем не менее захватывающе интересна для наблюдательного читателя их творчески-функциональная роль — контрасты и увязки минувшего с настоящим, сюжетные и психологические раскрытия и композиционные зигзаги, создаваемые этим „чередованием времен”.

Вот, скажем, экспозиция центрального образа романа — Петра Васильевича Лашкова. Постукивая палкой, он идет по Узловску, городишку, в котором прожил семьдесят лет:

„Тук-тук, тук-тук...” — выстукивала палка асфальтовый панцирь улиц. И сердце города, задыхавшееся под ним, астматически откликалось:

„Я — здесь!” — тянулся к свету сквозь асфальт росток тополя, уже готовый разбиться в листья.

„Я — здесь!” — сыро вздыхала еще не схваченная бетоном земля вокруг водоразборной колонки.

„Я — здесь!” — блистало куском припудренного известкой и цементом зеркала озерцо, а скорее всего просто прудок крохотный.

„Тук-тук, тук-тук, тук-тук!...” (стр. 11).

Эту звучащую и органическую, казалось бы, слиянность героя и окружения, на 12-й странице романа, взрывает первый отступ: в разбитой витрине городского продмага, подле которой собралась толпа, красуется муляж копченого окорока, и зрелище это мгновенно перебрасывает Лашкова в годы его юности. Он видит себя подростком Петькой, прельщенным таким же точно соблазнительным окороком в витрине гастрономической лавки купца Туркова, по которой только что прошла пулеметная очередь. Под пулеметным же огнем ползет Петька к этой притягательной цели, чтобы, доползши, ощутить рукой „шероховатость подкрашенного картона”. И затем плачет от пережитого страха и обиды.

Этот отступ оказывается для старика Лашкова неким „озарением“, разрывает „какой-то мертвый круг, из которого долго и безуспешно в поисках выхода тянулась его окольцованная глухотой душа“, и, как увидим в дальнейшем, становится как бы символом всей творческой интерпретации этого образа.

Экспозиция продолжается, и за замечательным по драматизму и психологической верности эпизодом с дочерью Антониной следует целый ряд „отступов“, вводящих в повествование историю женитьбы Петра Лашкова и других спутников его большой и сложной жизни (брат Андрей, Фома Лесков, Воробушкин и др.). Отступы, перемежающие былое и настоящее (в рамках их подано, например, появление в дедовом доме внука Вадима), сопровождают историю Лашкова до конца — в Дне субботнем их целых три („Еще одно видение Петра Васильевича“, „И еще одно...“, „И еще...“), вводимые ими событийные эпизоды с их познавательным богатством и образной динамикой как бы обретают автономию „презенса“ в повествовательной мозаике целого (чего стоит хотя бы главка о том, как застрявшие в железнодорожном тупике артисты эвакуируемого цирка-зверинца дают представление детям „врагов народа“, отправляемым в ссылку).

Вместе с действием прием ныряния в прошлое вводит в повествование целые вереницы лиц близкой и дальней авторской пристальности, щедро населяющие триптих В.Максимова и сообщающие произведению черты эпопей.

Для наглядности лучше всего, пожалуй, рассмотреть День третий — „Двор посреди неба“, отзвуки которого встретятся нам и в двух остальных частях триптиха.

С главным персонажем этого „Дня“, Василием Лашковым, дворником дома где-то в московских Сокольниках, встречаемся мы, когда он уже вплотную подошел к своему концу. „Пытаясь найти в спутанном

клубке событий ту самую нить, от которой все потянулось”, он начинает воспоминания — ступенчатый отступ в 30 примерно лет глубиной. Как и старшего его брата, только уж совсем под занавес настигает его озарение — „кровоточащая боль” сомнений в смысле прожитой жизни. Что мы нашли, придя сюда? — думает он. — ...Надежду? Веру? (...) Что мы принесли сюда? Добро? Теплоту? Свет? (...) Нет, мы ничего не принесли, но все потеряли. (...) А зачем?..”

Это „мы” его внутреннего монолога раскрывается в „Дне третьем” щедрой множественностью бытийных ситуаций и жизней. Дом с коммунальными квартирами, то есть с тяжелой дрянью и ужасом нищего быта — склок, травли, ненависти, предательства и произвола, являет собой калейдоскоп прозябающих в нем судеб. Дантист Меклер, старуха Храмова с полусумасшедшей дочерью Олей, музыкантшей, пальцами которой „любовался сам Танеев”, и сыном Левого, мелким актером; рабочий Горев с женой и сестрой Грушей; Сима Цыганкова, которую братья сделали проституткой и упрятывают в тюрьму, когда она бросает улицу, решая выйти за полюбившего ее человека; участковый Калинин, кончающий самоубийством, и торжествующий негодяй Никишкин — воинствующий Смердяков послеоктябрьской выпечки... Открывающаяся нам многосемейная и многоголовая хроника „двора посреди неба” разнородна по времени, но одинакова по неизбежности человеческих трагедий и подлости быта. Передано это с такой силою творческой правды и выразительности, какую в прозе наших дней вряд ли сыщешь. Словно автор, развернув микрофильм своих фотозаметок и пережитостей, высветил его на киноэкран — и все заговорило, задвигалось, зажило той жизнью неисповедимого страха и безвременья, от которой у читателя спирает в груди и бегут по спине мурашки...

Так же зримо и страшно бытие психиатрической клиники, куда попадает Вадим (День четвертый —

„Поздний свет”): старичок-священник, режиссер Марк Крепс, которых отправляют с больничных коек в лагерное гибельное тартарары, их разговоры о вере, о русском народе („...почему допустил Создатель одному только народу телом этого искупления стать? Сколько же его распинать можно?”); врач Николай Николаевич, кончающий самоубийством... Повествование здесь тоже включает авторскую игру со временем — шесть отступов в прошлое, а в настоящем — претворенную документальность, которая, вероятно, в значительной мере автобиографична. Сюжетный мотив любви введен словно бы мимоходом, но органичен для замыкания трагической темы Вадима.

День пятый, „Лабиринт” — весь в презенсе: в центре повествования — феномен советской повседневности: строительство. Образы, эпизоды, проблематика (еврейство, творчество, уродства быта, „организация” труда) осенены двойной аллегорией заголовка: лабиринт — издевательская обреченность труда, потому что строится место заключения. Брюсовское „Строим мы, строим тюрьму” здесь, однако, не прозвучит: от советских строителей назначение стройки скрывается. И внутреннее резюме Дня по-горьковски афористично излагает старый комендант общежития Христофорыч в разговоре с бригадиром Меклером: „Вот я и говорю, — стоило вашим дедам начинать эту завируху, чтобы только сменить надзирателей”.

* *
 *

Отмечу еще один „скульптурный” прием — замыкание повествовательной темы или образа тем же мотивом, каким они начались, — я называю этот прием „эллипсом” (в стиховедении он зовется „рондо”). Так построен День второй, „Перегон” — история объездчика Андрея Лашкова в страшные годы паники и неразберихи перед катящейся в глубь страны лавиной врага.

То же эллипсное замыкание — в Дне третьем, в уже упоминавшейся лепке образа Василия Лашкова и хроники „Двора посреди неба”.

Но ярче всего прием этот выступает в теме Петра Лашкова, значительнейшей фигуре первой части триптиха. Черты внешней и внутренней его экспозиции — крепкой поступи с „известной всему городу палкой” и привязанности к дочери Антонине — повторены в концовке Дня первого: проводив Антонину с мужем на далекую стройку, он вновь одиноко шагает к дому: „Едва обозначившееся утро густо подсвечивало асфальт перед ним, чутко вторя резкому стуку его палки”. Этот его шаг, движение — штрих глубокий и символический, потому что связан с напряженными думами, поисками и озарениями мысли и души. Таким озарением о том, что жизнь была прожита без тепла для других, что „все надо бы начинать заново”, заканчивается День первый, „Путешествие к себе”.

И то же, еще более просветленное, озарение перенесено автором в конец романа, в „Вечер и ночь шестого Дня”, замыкает историю духовного возрождения Петра Лашкова: с внуком, сыном Антонины, на руках он идет по сверкающей в горизонт дороге, „навстречу стремительно возникающему дню”. „Он думал и шел” — кончается День первый. Он: „Шел и знал. Знал и Верил”, — так кончается День шестой.

И еще один повтор, замыкающий тему о том, как мучительно искал Петр Лашков начала того самообмана, за который так дорого пришлось расплачиваться, находим в Дне шестом:

„И сколько бы он ни думал, мысль его, покружив по лабиринтам воспоминаний, неизменно возвращалась к тому гулкому утру на городском базаре, когда он оказался у разбитой витрины перед грубо раскрашенным муляжем окорока: „Неужто все-таки и началось это, неужто с пустяка эдакого” (стр. 429-430).

„Постройка” второй части триптиха, романа „Карантин”⁺, причудлива настолько, что сама по себе вызывает у читателя охоту в этой причудливости разобратся.

В авторском фокусе романа двое: капитан Борис Храмов и Мария, его возлюбленная. Трагизм и апофеозы их близости и расхождений, опустошенности и прозрений — сюжетно-психологический стержень и внутренняя тема романа.

В отличие от „Семи дней творения”, сюжетное время в романе плоско и отмерено календарно: поезд из Одессы по случаю холеры „встает на шестидневный карантин”; отступы в прошлое сменяются здесь отступлениями в сны и в сказы, как называю я повести о себе поездных пассажиров, имеющие персональную устно-речевую окраску („Сага о похоронах”, „Исповедь Левы Балыкина”, „Плач Пенелопы” и др., — их, сказов, 8-9). Сны („Сон о крещенье”, сон о Кирилле Храмове и пр.) переплетаются иной раз с воспоминаниями, с полудокументальными вставками вроде „Записок плац-майора Храмова”. Эти сны, сказы и вставки занимают больше трети романа и, перемежаясь с главной сюжетной линией повествования, тоже, кстати сказать, формально неоднородного (оно ведется от „я” героя, но о Марии, например, рассказывает сам автор), создают действительно необычную жанрово-стилевую мозаику.

Вчитываясь, открываешь в ней, тем не менее, вполне гармоническую „постройку”: статичные и побочные, казалось бы, в русле романа отклонения по существу вполне для него органичны — сама тема его предопределяет статичную архитектонику, как, скажем, когда

⁺В. Максимов. Карантин. Собр. соч., том третий. „Посев”, 1973.

то предопределяла ее тема гоголевских „Мертвых душ”. Лес. Железнодорожный тупик. И вагоны застрявшего в нем карантинного поезда. Многоголовье, похожее на население „Двора посреди неба” в „Семи днях творения”, но пестрей и рассыпанней. Набитое под крыши вагонов, оно знакомится, спорит, раскрывает себя в исповеднических рассказах, в полуоргиях, в алкогольном чаду. Пьют все — хмельное, тяжкое марево висит над карантинным поездом и около, включая стерегущее его воинское оцепление.

В этом мареве — Борис Храмов и Мария.

Их история.

Это к их ушам обращены исповеди, их голоса звучат в „бытийных” диалогах, их глазами схвачены портретные облики попутчиков — Человека с рубиновой заколкой в галстук, рыжего летного майора Жоры Жгенти и десятков других, значительных и статистов; сцены-зарисовки вагонного карантинного быта принадлежат тоже им; сцены эти иногда поданы самовключенно, иногда — отстраненно и сатирически: пьяная, например, компания у костра с легко разгадываемыми масками; активист Лева Балыкин, трудящийся над карантинной стенгазетой и гордящийся ее участниками —

„Вот, смотри, мировая, можно сказать, знаменитость, его от Охты до Парижа все бляди знают, и тот стишки сочинить не погнушался ради такого случая. Одно начало дорого стоит: „Я разный, я здоровый и заразный...” (стр. 245).

* *
*

„Просыпаюсь я от резкого толчка. Состав, скрипя тормозами, сбавляет ход и, наконец, останавливается”. (стр. 7).

Так „стартует” Борис Храмов первую главу романа. И дальше многие другие главы открываются этим его, Храмова, „я” — пробуждением в нудящем похмелье или погружением в полугорячую дрему, в обрывки воспоминаний, в далекие от реальности провидческие фантасмагии, „в ничто”...

Последнее обстоятельство первоначально для прочтения внутренней темы романа — она смещена автором во внереалистический а у т , как я это называю, избегая новейших „измов”. „Аутны” сновидения:

„Сны Бориса, — читаем в романе, — давно перемешались с явью. Бред и действительность текли в нем одновременно, то и дело скрещиваясь и переплетаясь. Временами Борису казалось, что он сходит с ума, что горячка тащит его по адским кругам делирия, не позволяя ему ни опомниться, ни проснуться” (стр. 348).

Смелая вершина а у т а — Иван Иванович, „человек с рубиновой заколкой в галстукѣ”, „мой постоянный спутник”, как зовет его Храмов. В спутнике этом — что-то от Агасфера по необыкновенности векового опыта, что-то от булгаковского Воланда — по чудодейственности оказываемой им помощи. „Вы не черт ли?” — спрашивает его Борис. „Я верую”, — говорит он Борису, и слово „Бог” постоянно на его устах. Вместе с героями романа читатель убеждается в том, что автор в этом образе бесстрашно пытается воплотить некие утопические черты активной Небесной помощи и Добра. „Вы странное существо, если вообще — человек”, — говорит Ивану Ивановичу Мария. И в ответ ей:

„— Это лишь кажущаяся странность. (...) Просто душа моя оказалась способной вместить в себя полную меру людского страдания и откликнуться на него... Моя единственная заслуга в том, что я умею вовремя помочь человеку сосредоточиться в самом себе, и тогда вы обретаете способность слушать и видеть себя со стороны, проникать в суть вещей и явлений, приобщаться к другому, запредельному миру. Очищающая мистика, вытекающая из умело поставленной педагогики” (стр. 226).

И далее — знаменательный диалог с Марией:

- „ — Вы удовлетворены?
- В какой-то мере. Где вы были раньше?
- Ждал часа.
- Он пробил?
- Я здесь.

- Почему именно мы?
- Вы — это только начало.
- Что же будет?
- Будет любовь...
- А после?
- Будет свет.
- Для всех?
- Сначала для вас.
- Мы будем счастливы?
- Это больше, чем счастье.
- Что же это?
- Спасение” (стр. 226).

Спасение обоих и совершается под таинственной эгидой этого доброго гения, „очищающей мистики”, проникновения в себя и обращенности к Небу. Для Марии это — освобождение от тяги прошлого („Чуть ночь, мой демон тут как тут,/За прошлое моя расплата” — если взять строки из пастернаковской „Магдалины”), „зов” свыше, подвиг самозабвения и вера. Для Бориса — катарсис в познании своей и общей вины, раскаяние и — вера тоже.

Все это — со внушенным тем же „спутником” представлением о цепном единстве человеческих судеб и воплощений, мотивом отчасти антропософским, звучащим не в одной только второй части триптиха:

„Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории. В нас с вами записано все: охота на мамонтов и восточная клинопись, тайны пирамид и Библия, откровения французской кухни и теория относительности, — говорит Иван Иванович. — Все, буквально все, зашифровано в наших генах. Надо лишь подобрать ключик к этому шифру” (стр. 19).

Представление это нашло в романе и структурное отражение: образ героя, Бориса Храмова, получил хроникальную объемность и продление в самую раннюю, отчасти уж и „аутную” даль, раскрываясь в клочковатых воспоминаниях-снах, и в его внутренней теме, как-то даже и незаметно для читателя, начинает пророскивать тема автобиографическая. Возникает перекличка с

первой частью триптиха, „Двором посреди неба” в Сокольниках: дворник дядя Вася Лашков, воспитавшая Бориса Варвара Храмова, ее сын Лева, водопроводчик Штабель, негодяй Никишкин; рождаются воспоминания о матери, отце и деде, вставки, углубляющие генеалогию — „Из записок плац-майора Петра Храмова, (век XIX), история думного дьяка Кирилла Храмова, доложившего местоблюстителю Стефану о предстоящем антиклерикальном указе Петра (век XVIII), и наконец „Сон о крещенье”, относящийся к XI веку. Илью, молодого подмастерья, высекавшего из камня Перунов и Дажбогов, крестит в Днепре некий привезенный в Киев из Византии монах.

„В твоём пути, — предсказывает Илье монах, — будут поры, когда самое смерть ты будешь вымаливать у Всевышнего как милость и избавление. ... Но помни, сын мой, что на Третий день петух споет для тебя, ибо ты — избран, тебе в конце крестного пути откроется Истина и Красота... В твоих руках дело, которым ты послужишь истинному Богу. На месте бесовского капища ты воздвигнешь храм во имя Его. И в память первому подвигу своему станешь сыном Храмовым” (стр. 26-27).

Внушенное монахом, перед глазами Ильи вырисовывается смутное видение каких-то диковинных строений, тотчас же заплывающее чем-то красным, как кровь. Из багреца, однако, протаивает затем „праздничное и голубое” — паруса, на борту которых прозревал он множество лиц, и „они текли мимо него, озаренные тихим и голубым светом”.

„Сон о крещенье”, полухмельное-полувнушенное „спутником” видение Бориса Храмова, помещен в самом начале повествования, на двадцатых страницах. И, как и в первой части триптиха, тема этого видения повторена в конце романа, образуя эллипс большой структурной, а пуще смысловой выразительности.

Уже в последнем из своих „перемешивающихся с явью” снов („Сон о возмездии” — называет его автор) Борис Храмов снова видит монаха.

„О сколько раз я умирал в тебе и возрождался вновь, сколько раз возвышался и падал, царствовал и всходил на дыбу! — говорит монах. — Ты помнишь?

— Я хотел бы забыть.

— Скоро я сотру в твоей памяти все, о чем тебе не хочется помнить, но прежде ты взглянешь в лицо своему греху и возмездью, чтобы уже никогда не прельститься обманом собственного воображения... Смотри” (стр. 350).

И монах показывает Борису бесконечный людской поток. Шествием „от одного горизонта к другому”

„перед Борисом проходили его соседи по веку, земле, работе: министры, землекопы, воры, застреленные маршалы, конвоиры, судьи, палачи, святые и грешники, праведники и негодяи, поэты и торгаши” (стр. 350).

Среди них Борис разглядывает и свое отражение.

„— Кто это? — холодея, сложил Борис.

— Это ты, — было ответом.

— Когда?

— Принявши крест.

— С кем я?

— Вместе со всеми.

— Сколько их?

— Им несть числа...

— Куда идут они?

— К Нему...” (стр. 351).

„— ...Они, — поясняет монах это движение, — оросили свой путь на земле такой кровью и такими слезами, что уже не могут вызвать к себе ничего, кроме жалости и сострадания. Нет им наказания и некому судить их”. (стр. 353).

И в заключение своего монолога:

„— ...Сейчас тебе надо проснуться, встать и идти. Другие еще спят. (...) Им еще не время, душа их больна и сон врачует ее. Ты же здоров, совсем здоров. Иди...” (стр. 354).

К этому заключению я еще вернусь в конце своего очерка. Сейчас же хочу назвать еще один структурный образ-повтор, „прошивающий” всю хроникальную тему Храмовых, полумистическую символику которого было бы грешно обойти: явление „голубых парусов”.

Как мы видели, оно открывается глазам Ильи Храмова в „Сне о крещенье”. Голубой парус дважды видится дьяку Кириллу Храмову, сопровождая его последний (он принимает яд) вздох: „У облаток оказался вкус облепихи — кисловатый и терпкий. И снова перед глазами потекла река, озаренная пронзительной голубизной одинокого паруса”. Надо, вероятно, напомнить, что это — сон во сне, и Борис Храмов, пробуждаясь в карантинном поезде, вспоминает о виденном им „неправдоподобно голубом, как авиационный околыш”, парусе и ощущает во рту привкус облепихи, — такова образная перекличка в романе. Дальше. У архивных записок рода Храмовых „почерк с ампириными завитушками, похожими одновременно на облачный абрис и скопление парусов, отображенных в чернилах необычайного, голубого цвета”. Незрячий мир умирающего в лагере Валентина Храмова озаряется тысячами свечей, плывущих ему навстречу „под голубыми парусами предсмертного бреда”. Они, наконец, вкраплены и в концовку романа, раскрывая в ней свое символическое знамение:

„Голубые паруса с каждым мгновением становились все ближе и ближе, и Борис с благодарным замиранiem сердца почувствовал, как в нем томительно закипают чистые слезы встречи и торжества:

— Слава, слава Тебе, Господи, за то, что Ты породил меня и спас!” (стр. 362).

3

Недавно я прочитал в „Новом мире” (№1, 1978) новую прозу В.Аксенова „Поиски жанра”. Это — лучшая, по-моему, его вещь. И, раз лучшая, можно было бы озаглавить и так: „Находки жанра”, „признательно” для автора — столько ведь поисков ничем не кончаются, а здесь на редкость успех.

В „триптихе” В.Максимова поисков-находок в части творческой формы немало. Тоже — и в третьем ро-

мане „Прощание из ниоткуда”⁺, хотя, казалось бы, этот вид прозы — авторское повествование о своей жизни — весьма древен и част в истории литературы. Если говорить собственно о русских авторах, то за одни лишь 50 — 60-е годы появляется целый ряд творческих автобиографий с различным креном в художественную эпiku и отчасти в новаторство. Это — последнее тома „Повести о жизни” — К.Паустовского, „Святой колодец”, „Волшебный рог Оберона” и „Кладбище в Скулянах” — В.Катаева, „Капли росы” — В.Солоухина, „Бабий Яр” — А.Анатоля (Кузнецова); присоединю сюда и вышедшие по-русски в 1954 году „Другие берега” В.Набокова.

„Отчасти новаторство” можно было ощутить в иных робких внереалистических сдвигах у Катаева, структурных членениях целого — у А.Кузнецова; наконец — в стилевой свежести и исключительности набоковской автобиографии.

По впечатлению „исключительности” я именно к книге Набокова прислонил бы „Прощание из ниоткуда”.

Других, кроме впечатления, связей здесь собственно нет, скорее — контрасты: читатель Набокова, например, неотлучен от рассказчика-автора, почти бездыханно следит за его мимикой, пируэтными мыслями и крылатого слога; рассказчик в „Прощании” читателя на таком коротке подле себя не держит, но ведет в самые дебри своего окружения, все показывая лицом к лицу.

Но как выразителен и лиричен этот показ — вот что было для меня ново! И как все в нем с в о е !

Помню: с первых же страниц потянуло меня к биографическим справкам. В „Краткой литературной энциклопедии” об авторе сказано:

⁺В. М а к с и м о в . Прощание из ниоткуда. Собр. соч., том четвертый. „Посев”, 1974.

„Воспитывался в дет. колониях. Окончил школу ФЗО, получил профессию каменщика. Работал на стройках; искал алмазы на Таймыре; с 1952 работал на Кубани, где и начал писать”.

Эти несколько протокольных строчек превратились в „Прощании” в яркий автобиографический kaleidoscope: Советская Россия конца тридцатых-сороковых годов, то есть детства и юности автора; она же — начала 50-х, его первых творческих опытов. Снова — из „Литературной энциклопедии”: „Книгам М. присущи трагич. конфликты, острый сюжет”. А как же иначе? Трагические конфликты — существо советской действительности, и в них, в этих конфликтах, тоже бедственно, включены человеческие судьбы. Я не боюсь сравнений: максимовские „мои университеты” гораздо страшнее горьковских — даром, что со времени, охваченного горьковской трилогией, прошло более полувека, и того больше — с начала строительства нового, социалистического благополучия.

Эпизоды, картины, человеческие типы, авторские лирические обращения и отступления, диалоги — все это чередуется в книге стремительно и захватывающе. И так отчетлива переключка с первыми двумя частями триптиха: образ деда (он здесь — Савелий), родных, „дух Сокольнической слободки”... Кирпичная дорожка, например, от парадного подъезда до калитки: она, верно, символ той неизбывной косности и пустоты жизни, от которых уйдет затем маленький Влад, помогавший укладывать на эту дорожку битые кирпичи.

Перед нами хроника почти нерассказуемой жизни: вот Влад в пионерском лагере, взбудораженный первой детской влюбленностью. Вот начало бродяжничества. У контрабандистов. Дружба с „Серым”, чахоточным бродягой из бывших фронтовиков, фигурой колоритной и редкой в подцензурной литературе. Кульминационное в судьбе: Влад и Серый идут на „вскрытие” товарного вагона — предприятие, которое окажется роковым:

„...они, один за другим, спустились с нар и вышли в звездно-августовскую темь. Где-то там над ними гудело и взрывалось мироздание, гибли и возникали галактики, вокруг них рождались и умирали города, взбухали и таяли горы, и никому во всей этой вселенной не было никакого дела до двух бродяг, идущих сквозь темь Москвы-Сортировочной навстречу своей жалкой гибели. Господи, прости нас маленьких и нечестивых за нашу собственную обездоленность!” (стр. 168).

Дальше — суд, тюрьма, побег, расправа, вологодская психушка. И — снова впечатляющий образ: доктор Абрам Рувимыч, вызволивший оттуда Влада и поставивший свою памятную подпись на его путевке в жизнь...

И на всех пройденных перекрестках — вереницы отдельных судеб, чьих-то самораскрытий, горьких сегований и обличений.

„Ты не смотри на меня больными глазами, братишка, — слышит Влад в столыпинском арестантском вагоне голос за пергородкой, — не царапай мне душу. (...) Ты лучше скажи мне, что они, эти твои идейные, делали, когда давили и гнали нашего мужицкого брата и на морозе штабелями складывали?” (стр. 189-190).

Или — от одного неизвестного шибко выпившего литератора по поводу начатых Владом писаний:

„Брось, парень, поверь моему опыту, брось. (...) Ты обречен, ибо, чувствую, искренен, а это в нашем деле хуже рака, чумы и проказы вместе взятых. Наступило время серых и наглых, искренность не в почете...” (стр. 271).

* *

*

Но я возвращусь теперь к своей первичной теме — новизне и исключительности творческой манеры В.Максимова в последнем романе триптиха. В чем она, эта исключительность?

В части структурной это прежде всего — присутствие в повествовании двух героев: героя действующего — мальчика-подростка-юноши Влада, с его тяжелой судьбой, и героя-рассказчика комментирующего. Такое раздвоение, надо сказать, до-

вольно обычно в жанрах мемуарно-автобиографической литературы⁴, но в „Прощании” оно — целеустремленный прием. При этом „я” этого второго, комментирующего героя то сливается с повествующим „я” самого автора, то словно бы принадлежит голосу некоего неведомого нам его собеседника. От „я” действующего героя оно, во всяком случае, отстранено:

„Теперь Владу уже трудно представить, где и как закончил земные дни его бывший спаситель и хозяин, знаменитый батумский делец Бондо Шония... (...) Но где бы это ни случилось, ты не забывай о нем, мой мальчик, не забывай, а если он жив, то пошли ему это свое благодарное „прости”!” (стр. 113).

Таких разбросанных по всей книге: „мой мальчик”, замыкающих собою тот или иной повествовательный фрагмент, множество: „Прости меня, мой мальчик, но это так”... Или: „Но ты не спеши, не спеши, мой мальчик, оно — это детство — еще поманит тебя весной”... И т. п.

О мальчике говорится иногда и в третьем лице: „Ах, Абрам Рувимыч, Абрам Рувимыч! Сколько будет он жить, столько станет помнить вас”. Или: „Прости ему (этому мальчику. — Л. Р.), Давид, его неблагодарность, он заплатил и за нее!..”

Комментарий может ограничиваться одной лишь фразой-сентенцией („Боже, как прекрасен мир, который Ты создал!”, „Господи, каких только подарков Ты не сделал нам, грешным!”), но может и разрастаться в своеобразные эмоционального звучания обобщения, лирические отступления и обращения:

„О, загадочная русская душа, кладезь мудрости и великодушия, источник всяческих добродетелей! Если бы ему тогда автомат в руки, он перестрелял бы их, как бешеных собак. Прости меня, Господи!..” (стр. 102).

„Да, да, откуда и зачем ты появился здесь, на этой земле, мой мальчик? Что изваяло тебя? Ветер? Сгусток клубящейся пыли в случайном луче среди тьмы? Или усталое эхо далеких пращуров, продравшись сквозь время, воплотилось в тебе,

чтобы вместе с тобою окончательно уйти в небытие? Кругом была бездна, и в этой бездне, на крохотном шарике, смеси воды и глины, железа и крови, памяти и забвения, в одном из множества городов прилепилась окраина с веселым названием Сокольники, где однажды ты внезапно ощутил своё присутствие"... (стр. 7-8).

Эта структурная двуголосица сообщает повествованию особую стереофоническую полноту, одну из примечательных его стилевых черт и „постройки". „Обращения" в отдельных случаях могут быть внефабульно-авторскими; таковы, например, обращения к Израилю, к приехавшей туда сестре автора Кате — интересный пример пересечения с ю ж е т н о г о времени действующего героя „презенсом" комментирующего; но, как правило, они тесно примыкают к повествовательному эпизоду. Рассыпанные по всему роману, они весьма разнородного содержания: к знакомой улице, местам, где случалось Владу пройти, к лицам, встретившимся ему на пути, к родичам. К деду Савелию, например:

„Дед ты мой Савелий, боль и горькая память моя, много камней с тех пор отяготили мне душу, но тот, твой, из того декабрьского утра так и остался доселе тяжелее других. Если можешь, родимый, облегчи меня в одночасье хотя бы от этой ноши!.." (стр. 64).

Многие из обращений содержат интересный прием продления времени — от сюжетного, Влада, к авторскому, комментатора: экспозиция персонажа сопровождается заглядкой в его будущее, тоже создающей стереоскопичность читательского видения:

„Эх, тетя Люба, тетя Люба, знала бы ты, как придется тебе умирать в собесовской богадельне, в двух трамвайных останках от дома, а твои „красавчики" так и не удосужатся отвалиться от воскресного стола, чтобы пойти похоронить тебя" (стр. 99).

Или:

„Вы еще встретитесь, Саша, вы еще встретитесь, Саша Галич, но только почти через двадцать лет, в другой обстановке и при других обстоятельствах, и, надо надеяться, оба пожалеете, что этого не случилось раньше!” (стр. 309).

И еще один прием, чрезвычайно частый в „Прощании”: обращения вышеприведенного типа и просто отдельные повествовательные абзацы замыкаются крылатой цитатой афористического или стихотворно-песенного и поговорочного характера:

„Но не переживет своего отца Митяй. И года не пройдет, как сложит он свою кудрявую голову в окружении под Смоленском, и первая же внешняя вода смоет с земли даже самую память о нем. Мне отмщение и аз воздам...” (стр. 43, разрядка здесь и далее моя. — Л. Р.).

Или:

„Скудная явь снова возвращала Влада в его прежнее состояние. Перебиты, поломаны крылья. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Гуд бай, малыш!”

Или:

„Уцелеть в десятилетнем плаванье по ненасытному морю ГУЛАГа он не надеялся, а поэтому предпочел мертвый дрейф бессмысленному сопротивлению. Я б хотел забыться и уснуть!”

Или:

„В конце концов промокшего и ободранного лес вывел его к полотну железной дороги. Предо мной кремнистый путь лежит”.

В своей ранней рецензии на „Прощание из ниоткуда”⁵ я ставил автору эти замыкания в упрек: мне казалось тогда, что благодаря своей ходячести они не усиливают, но скорее разжижают впечатление; тем более, что иные не так уж удачно и примкнуты, а то и процитированы неверно (лермонтовская строка на самом деле читается: „Сквозь туман кремнистый путь блестит”); но теперь я от упрека отказываюсь: нет, прием

этот, вместе с прочими помянутыми структурно-стилевыми особенностями, создает главный признак исключительности книги — пронизывающий ее л и р и з м, непосредственность и доверительность повествовательной тональности, в которой рассказана автобиография.

И такой чуткий фон являет собою этот лиризм для внутренней темы книги — самораскрытия одной души, завершающей начатое уже в предшествующих частях триптиха надматериалистическое осмысление мира.

Здесь это самораскрытие представлено так:

„Знаешь, — говорит мальчику Владу его старший друг, — наверное, земля — это лишь станция нашей пересадки. Нам еще лететь и лететь, пока мы доберемся до места. Каждая остановка для нас — это новая жизнь в новой оболочке. Здесь, к примеру, ты человек, а на другой планете станешь растением или даже камнем. Наша смерть — это лишь прощание с очередной остановкой, не более того. Так сказать, прощание из ниоткуда. Жаль только, что теперь нам достался такой неудобный зал ожидания...”

И немного дальше:

„Ты мал и глуп... Живешь в своем жалком трехмерном мире и рад. Но есть еще, к счастью, четвертое измерение, которое тебе не дано постичь.

— А что это — четвертое измерение?

— Бог”.

Постижение четвертого измерения тем не менее приходит к Владу. В смутных бредах и видениях „в душу его струились мир и тепло, и чей-то голос из ниоткуда спрашивал его, а он мысленно отвечал...”

„...даже теперь, — читаем мы далее, — когда минуло столько лет, и Влад смеет думать, что что-то понял, до чего-то дошел, — он по-прежнему во сне и наяву все еще продолжает внутри себя тот самый разговор. Только теперь он твердо знает, с Кем...”

Читатель напряженно следит за „конфронтациями” действующего и комментирующего героя, прислушивается к „аутным” иногда интонациям в голосе послед-

него. Одна из конфронтаций представляется центральной по значительности ее подтекста, крупная цитата здесь неизбежна:

„Когда там, на Суде Времени, нас спросят, зачем мы жили и какую память оставили по себе, что мы ответим? Как веками заливали собственную землю реками крови и слез, как безжалостно давили слабых и рабски заискивали перед сильными, как множество раз ходили на поводу у пришлых самозванцев и мечтателей с большой дороги? ...

Наверное, мы будем молчать. Молчать от стыда и страха, от горечи и раскаянья. И, может быть, тогда, среди всеобщего молчанья вперед выступит один из нас — тощий сероглазый мальчик в нанковой робе и чунях, простеленных соломой, на босу ногу, с прелыми валенками под мышкой. Выступит и скажет:

— Позволь мне ответить, Всевышний?

Умолкнут серебряные трубы, онемеют хоралы, чуткая тишь воцарится вокруг и бесстрастный голос милостиво вознесется над ним:

— Говори.

— Прости нас, — молвит мальчик. — И отпусти во имя Своего Сына. Если же Тебе мало того, что с нами было, то позволь мне взять их грехи на себя и ответить за все одному” (стр. 330).

Прощение даруется.

Это прощение, чаемое в раскаянии и в раскаянии дарованное, возвещает и в заключении книги голос из ниоткуда:

„...Ты расплатился! Слышишь меня, ты расплатился за все и за всех до седьмого колена! За тобою нет больше никакой вины или же Милосердие оставило землю и ангелы Любви отлетели от нее прочь... (...) Поэтому не спеши, мой мальчик, путь еще далек и ноша твоя тяжела. Ты несешь ее теперь уже не в уплату за грех собственного естества, а в дар Тому, Кто встретит тебя в конце твоего пути. Не спеши, не спеши, мой мальчик, я подожду тебя там — на том берегу. И тогда мы вздохнем с тобою одним дыханием. И причастимся. И отдохнем.

До свиданья, родной, до свиданья!” (стр. 424).

СЛОВО И ОБРАЗНЫЕ РЯДЫ

„Самое важное в произведении искусства, — говорил Лев Толстой, — чтобы оно имело нечто вроде фо-

рил Лев Толстой, — чтобы оно имело нечто вроде фокуса, то есть чего-то такого, к чему сходятся все лучи и от чего исходят. И этот фокус должен быть недоступен полному объяснению словами”...

В литературном произведении искусства в таком лучевом фокусе находится слово. Не то, которое, по мысли Толстого, бессильно этот фокус истолковать до конца, но — явленное сверх толкования слово творческое, впечатляющее и зримое. Зримость рождает понятие о б р а з н о с т и и целую иерархию образного выражения в языке и инструментарии художественной литературы: образ-штрих, образ-конфигурация, образ-пейзаж, образ-портрет, образ-персонаж, образ-мозаика, образ-эпопея, образ-хроника и т. п. (Симонид Кеосский, древнегреческий лирик, сближал поэтический язык с языком живописи: „Живопись — это немая поэзия, поэзия — говорящая живопись”, — писал он.)

В триптихе В.Максимова эта иерархия (или, как называл я выше, „образные ряды”) представлена щедро. Собственно (если идти от синтетического к изначальному), вся первая его часть, „Семь дней творения”, — уникальной широты эпопея трех (30-50) десятилетий страшной российской судьбы. Но и разглядывая часть эту по „дням” — какую динамическую, законченную эпопею тыла минувшей войны представляет собой „Перегон”! Всего 77 страниц, но все — концентрат сцен, лиц, конфликтов, движения, и иная страница развертывается в главу, эпизод — в историю... То же пластическое мастерство и сила в Дне третьем („Двор посреди неба”) — такой выразительной мозаики советского коммунального быта я в современной прозе не знаю.

В традиции рецензентов и критиков — начинать с „героев” произведения. Автобиографический герой триптиха сравнительно краток в „Семи днях творения” (Вадим) и исчерпывающ в „Прощании из ниоткуда” (Влад); его дополняет гомогенный облик Бориса Хра-

мова в „Карантине”, смещенный, как и некоторые другие лица этой части триптиха, в туманность снов, видений и делирия, раскрывающийся, с помощью „астрального” Ивана Ивановича, моно- и диалогически, „изнутри”. Все трое: Вадим, Борис Храмов, Влад — составляют единый и стержневой образ авторского творческого самовыражения. О нем отчасти говорилось уже выше, скажется и еще в дальнейшем.

О персонажах вообще. Их в триптихе две с половиною сотни (по приблизительному подсчету: 120 в „Семи днях творения”, 50 — в „Карантине”, 90 — в „Прощании из ниоткуда”) — б л и з к и х автобиографическому герою и д а л ь н и х, центральных, эпизодических, т. е. лишь временно появляющихся на обочинах сюжета, и вовсе случайных; вряд ли возможен единый критерий членения, разве — запоминаемость!

Запоминаются многие: дочь Петра Лашкова Антонина; Александра (из „Перегона”); Штабель, Груша, участковый Калинин, Никишкин („Двор посреди неба”); Ося Меклер, Муся („Лабиринт”); напарник Влада Серега (судьба которого представлена автором в повести „Жив человек”), Абрам Рувимыч, Агнюша — в последней части триптиха, — это все из „обочных”.

Из центральных всего живей и пластичней выписаны три брата Лашковы; старший, Петр (он же дед Савелий в „Прощании”) — особенно выразительно.

Творческая структура этих образов — кондовая, психологическая, но для меня, по контрасту с современной советской прозой, и новаторская: Петр, Андрей и Василий Лашковы — люди простые, не интеллигенты, но о н и м ы с л я т и и щ у т, и в этой воскрешенной автором в них литературной традиции их поискам и интроспекции д а н б о ь ш о й и с м е л ы й д и а п а з о н; обсуживая правду и кривду жизни, своей и окружающих, они приходят ко многим знаменательным выводам и обобщениям. „Правда, видно, не в чужом огороде прячется, — подытоживает Петр Лаш-

ков, — а в нас самих: Тот не хлеб — душу свою делил, потому всем и хватило”...

В этом ракурсе развертывание образа и совершается: портретную живопись заменяет динамика поведения, экспрессия души. Таков — Андрей Лашков, полный противоречий, контрастов добра и зла: скот, чтобы спасти, — в церковь! и готовность отстаивать кощунство оружием; но мальчишку-испанца везет сквозь снежную гибель в больницу. И раздумье: „Какая сила бросает людей из стороны в сторону, ожесточает их души, лишает людского образа?..”

От внешнего вовнутрь, от тяжести окружения к мыслям о жизни — частый путь раскрытия внутреннего мира персонажа. Вот, например, Петр Лашков в камере брата-дворника, где все — тлен.

„И в этой скорбной заброшенности Петру Васильевичу внезапно и как бы со стороны увиделась и собственная жизнь, прожитая, хотя и яростно, но вслепую, без жалости и разбора”.

„...среди царившего здесь тлена ему беспощадно открывалась его — Петра Васильевича Лашкова — собственная роковая причастность, его родство ко всем и всему в их общей и уже необратимой хвори” (стр. 73).

И, наряду с этим, — такая лапидарная простота и собранность экспозиции:

„Петр Васильевич грузно опустился на лавочку, блаженно вытянул ноги: куда ни кинь, больше семидесяти”.

Минимальность портретной характеристики — отчетливая черта живописной манеры автора; штрихи скупы и броски. Примеры:

„Хмельной возница в заиндевелом капюшоне — кусок кирпичного лица с заиндевелыми же усами”.

„...сухой жердеватый мужик, с красиво разбойным лицом, чуть испорченным легким косоглазием...”

„...крепкогрудая, кержацкого вида деваха с сильными, совсем не женскими руками”.

То же — и в портретах так называемого аналитического типа, т. е. связанных с внутренним обликом персонажа:

„Мокрые от дождя и слез дряблые щеки старика студенисто ‘тряслись’”.

„В нее надо было вглядеться, чтобы увидеть в ее затемненных белыми ресницами глазах что-то такое, от чего на душе у человека начиналась долгая и грустная тишина”.

Лаконичен в триптихе, как правило, и пейзаж:

„Бокастые, чернильного колера облака грузно сползались к горизонту, высевая по пути стылую изморозь”.

„Ранняя поземка с шорохом и свистом сквозила по степи”.

„Небо обваливалось на землю душистым потоком. Дымясь, словно парное молоко, дождь почти бесшумно висел над городом”.

Часто пейзаж по-толстовски спаян с движением и состоянием действующих лиц:

„Степан — высокий и размашистый — шагнул на тротуар и, будто подстерегавшее странника, под ноги ему из-за крыш выкатилось солнце”.

„Они говорили, а звезды все вспархивали и, обжигая темь, падали за ближними крышами”.

„Тополя шелестели за воротами, а над миром плыла голубая звезда и эти вот два голоса”.

В непосредственном окружении автобиографического героя, сливаясь с его ощущениями, пейзаж вырастает в его лирически окрашенное видение:

„Снег косо струился в блеклом свете уличных фонарей, темь и тишина сгустились над Владом почти до осязания, и, плотно отгороженный ими от всего окружающего, он почувствовал, как его уверенно заполняет сладостная жуть одиночества”.

Или:

„Дед жил на самой окраине городка, там, где каждая улочка и дорожка вытекали прямо в примыкающее к ней поле. В безлесом, открытом всем ветрам просторе курились дымки окрестных деревень. Остов обезглавленной церкви

пленным флагманом плыл среди этой невозмутимой глади, и гулкий куб местной крупорушки на отлете сопровождал его в этом печальном плаванье. Острая пирамидка террикона у горизонта одиноко голубела им вслед. Боже мой, как ему избыть, вытравить это из себя? Ничто, ничто не забывается!”

Выше упоминалось, что говорящих лиц в триптихе больше двухсот. Как справиться автору с такой многоголосицей?

Головоломку различения диалогической речи В.Максимов решает с редким, надо сказать, мастерством. Искусство так называемой речевой характеристики высоко в современной советской прозе, особенно в части колхозного и городского обывательского просторечия, но в триптихе колорит языка персонажей разнообразен на диво, личные речевые черты схвачены и передаются тонко и безошибочно — по-своему каждый говорят обитатели „Двора посреди неба”, встречники Влада в „Прощании” и многочисленные члены клана Лашковых во всех трех частях.

„— Владька, где там твой старый хрыч, — витийствует дядька Митяй, брат деда Савелия, — подай мне его сюда печеного или жареного! Нету, говоришь? Пошел комиссар мировую революцию делать на пригородном али курьерском? Мать его в железку, одной ногой в гробу, а все мозги набекрень. Расплодилось их, емель стебанурых, на нашу рабочую голову, куда только от них деваться? Заели жись, паразиты, дышать от ихней трескотни нечем. Придет время, обломаем мы вам рога, отросли больно...” („Прощание из ниоткуда”, стр. 42-43).

Своеобразны и диалоги (динамический строй их, не без хемингуэевского влияния, сложился, как кажется, у советских авторов в шестидесятых, примерно, годах); особенно частые в „Карантине”, они самой структурой своей передают взволнованность и смятение говорящих. Но и в других частях триптиха контрастны и выразительны их внешняя лапидарность и

экспрессивный подтекст. Вот хотя бы из „Семи дней” — любовный диалог Вадима и Наташи:

- „— Милая...
- Зачем я тебе?
- Жизнь моя...
- Боюсь я.
- Чего?
- Ненадолго это.
- Навсегда!
- Это тебе сейчас кажется.
- Всегда будет казаться.
- Смотри.
- Люблю тебя.
- И я... Сразу... Как увидела...
- Ната...” (стр. 355).

Искусны стили сказовой речи, чаще всего встречающиеся опять-таки в „Карантине” („Сага о похоронах”, например, где переданы отчасти и орфоэпические черты); но и в „Семи днях” замечателен „Рассказ Му-си о себе самой”. Интересна архаическая стилизация некоторых письменных и разговорных вставочных повествований, афористичность отдельных высказываний: „А другой чудак сел наверху и тешится: распотрошил Рассею. А она, родимая, токмо и сделала, что замутилась, и сызнава текет, как сто лет тому...” — говорит ставший странником Степан Цыганков („Семь дней творения”).

* * *

Теперь о собственно авторской речи.

Выражение удивления или восхищения в критических разборах, я знаю, прием не столь убедительный. И все ж не могу не сказать, как поразили меня б о г а т с т в о и о р г а н и ч н о с т ь языка В.Максимова.

О богатстве вряд ли нужно распространяться — оно очевидно всякому чуткому читателю, прочитавшему хотя бы первый роман. Органичностью же я называю

прежде всего естественность и спонтанность словоотбора: В.Максимова чужды всякого рода „на цыпочках” многих пишущих современников — наивно-подражательный отказ от абзацев и запятых, стрельба непечатностями и слэнгом, увлечение словотворчеством и диалектизмами, речевые натуги и позы; слово его самобытно по своей природе и непринужденности. Органична у него и гибкость стилевой тональности, связанная с ключевым характером повествования — его эпичностью или его лиризмом, его бытовой реальностью или, напротив, опрокинутостью в некий внеэалистический „аут”.

Все названные выше особенности языка В.Максимова можно бы определить однословно как поэтичность: это язык большой художественной нагрузки — динамики, сжатости (настоящая проза никогда не бывает болтлива), образной и душевной экспрессии.

Я начал эту главку цитатой из Льва Толстого о „фокусах”, знаменующих подлинное в искусстве. В повествовании В.Максимова такие подлинности находят читателя сами:

Бык... „величественно вышагивал по обочине дороги, и в коричневом до черноты глазном его яблоке явственно отражались и земля, и небо, и долгий путь впереди” („Перегон”).

Метафоричность ощутимо включается иной раз в самую обычную, казалось бы, коммуникацию:

„Зима догнала их (эвакуирующихся. — Л. Р.) уже в Моршанске и, обложив первыми хрусткими снегами, заспешила дальше — вслед уходящим вперед эшелонам”... „Дни пластались один к другому, схожие друг с другом, словно бусины первой капли за окном”.

Образность обретает иногда пастернаковский ассоциативно-эмоциональный склад. Вот, например, Василий Лашков с Грушей в Сокольниках, в кафе. Груша — его неожиданное и необычное увлечение:

„Пиво упруго пенилось, и сквозь пену, где-то у самых лаш-

ковских глаз, плавали Грушины руки, схожие с двумя большими белыми рыбами. Он пытался коснуться их, но они ускользали — гибкие и почти неосязаемые. Чуть раскосые глаза ее зовущие мерцали, рассыпаясь в пузырчатой пене на множество голубых капелек”.

В „Прощании” лиризм повествования создает экспрессивные интонации, нагнетенность синтагм, ритмический строй и даже звукописность отдельных абзацев:

„О, эта кирпичная дорожка от парадного подъезда до калитки! (...) Сколько пьяных лбом высекали из нее искры, сколько коварных сапог, каблуков, босых пяток крошило ее поверхность, какая уйма барахла прогромыхала по ее ребрам!”

Или:

„К концу лета над Узловой зарядили дожди. Низкие, не полетному грузные тучи, скользя по крышам, осыпались на землю тяжелой изморосью. Окрестные поля заволокло сизым, напоенным водой туманом. Мир вокруг взбухал и растекался на глазах зыбкой пронизывающей сыростью”.

Так — в „Прощании”. А в „Карантине” общая смещенность героя в сны и подсознание рождает и „абerratивную”, с причудами образность. Об алкоголе, например:

„Вторая (кружка. — Л. Р.) приходится мне как раз впору: мир вокруг принимает танцующие очертания. Сквозь пласты тумана мимо меня начинают дрейфовать смутные лица собутельников”. „Чугунное солнце загорается у меня в голове... (...) Едкая влага обжигает мне гортань, горьким комом разрастается в легких, бьет в голову мутной и тягостной ломотой. Я пью, и вместе с самогоном в меня стремительно ввинчивается озаренное восходом небо”.

Или такие пассажи избыточной образной экспрессии:

„Зревший в моей душе кокон близкого озарения вдруг взрывается и на крыльях выпорхнувшей оттуда бабочки прошлого внезапно возникают витиеватые письма...” „Не чувствуя босыми ступнями дождливой хляби, она бежала вдогонку ушедшему незнакомцу, и белые серафимы любви и милосердия пели над ней свои сладчайшие гимны”.

На примерах такой чуть утрированной образности, чувствую, надо мне задержаться, в смысле: ставить ли ее в упрек автору? Да, ставить — если она контрастна в самом складе фразы и контекста; например, из „Семи дней” — о девушке, приходившей в психолечебницу, где лежал Вадим:

„...близко сдвинутые к переносице глаза ее заполнялись игольчатым мерцанием и тогда в ней цельным и определенным образом проявлялся характер”.

Такие случаи, впрочем, единичны; вообще же образные „нароचितости” оправданы или порочны в зависимости от стилевого ключа целого. В конце концов их природа — в специфике авторского творческого мышления, у которого критерии образности всегда с в о и. „Море смеялось” естественно было для Горького, но не нравилось Чехову. Лев Никулин в книге „Чехов, Бунин, Куприн” пишет о „щегольстве подробностями” в иных бунинских рассказах. „Море пахло арбузом” — так бы не написал Чехов, — утверждает Никулин. — И он бы не написал: „Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью”, или: „Кусты шумели остро и сухо, как будто бежали вперед”. Из этого замечания Никулина как бы следует, что оба примера из бунинского рассказа малоудачны. Малоудачно здесь, однако, только суждение критика, — Чехов действительно в соответствии со своей „дозой” образности так бы не написал, но в жарких красках бунинской живописи „доза” была другая. „Ненавижу, как ты пишешь! — говорил Бунину Куприн, — у меня от твоей изобразительности в глазах рябит!”

„Щегольства”, по выражению Никулина, живопись В.Максимова, за малыми исключениями, не содержит. Не искушает его и экспериментальное обращение со словом, оно (обращение) в общем традиционно. В виде исключения читаем в начале одной из главок „Прощания”:

„Кувшиново! Кувшинчик, кувшин, кувшинка! Слово одновременно округлое и продолговатое, как груша. И звучное, как ритуальный колокол. Вкус зимней ночи на губах. Медленно, словно нехотя, падающий снег за обрешеченным с обеих сторон окном. И тревожные позывные чужих сновидений вокруг. Что им грезится сейчас там, за пределами человеческого разумения? Какие кущи и какая тьма? Действительно: не дай мне Бог сойти с ума! Господи, спаси их души!” (стр. 216).

Это — Влад в вологодской психушке. Это его состояние, сдвинутое в „аут” ускользающей реальности:

„Ему грезилось, будто больничная палата, наподобие одинокого ковчега, плывет сейчас сквозь ночную бездну с грузом спящего безумия на борту” (стр. 217).

Дальше следует рассказ о первой в жизни связи с женщиной — дежурной сестрой Агнюшей, и привязанности к ней, а потом, в лирическом прыжке в будущее, — о том, как позже придет Влад „выплакать на ее, Агнюшиной, могиле три бутылки портвейна по рупь сорок семь”... Придет в село Кувшиново — вот откуда „кувшинное” начало главки...



Эти формы речевой образности в триптихе В.Максимова — откуда они? — если слегка поддаться распространной на Западе склонности выяснять „влияния”, — склонности несколько наивной, по-моему, ибо ведь замечателен подлинный художник не сходством с кем-то, но как раз тем, чем ни на кого другого непохож.

Образность максимовской прозы, если уж попытаться что-то об этом сказать, — лежит, как мне кажется, на перекрестке многих стилевых линий русской литературной традиции: горьковской, Андрея Белого, так называемых орнаменталистов южной группы и — пастернаковской позднего периода символики и простоты. Все это — примерно, гадательно. Но, разнородная на первый взгляд в романах триптиха, она, эта образность, по структурной основе очень с в о я.

РАСКРЕПОЩЕНИЕ РЕАЛИЗМА

Как велика Россия, вынесенная В.Максимовым на Запад в его триптихе! Какой разбег времени! Какая широта охвата! Какое столпотворение драм и судеб, обилие тем, самоутверждение искренности!..

Продление этих моих восклицательных знаков должен, по-моему, составить вопрос: что же из рассказанного в триптихе находится в фокусе авторского замысла? На чем лежит творческий личный акцент?

И тут мне хочется снова обратиться к одному из высказываний Льва Толстого, не раз повторенного мной в связи с понятием авторского о б р а з а :

„В сущности, — писал Толстой, — когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: „Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь? Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника”⁷.

Интересно, что эти к началу века относящиеся слова так перекликнулись с современным литературоведческим понятием о б р а з а а в т о р а — образа, воплощаемого в художественном произведении как авторское творческое самораскрытие. „То, что говорит Толстой, — пишет академик В.В.Виноградов, — одинаково относится и к идеологической позиции писателя, и к стилистическим формам его литературного образа”⁸. „В... структуре о б р а з а а в т о р а находит выражение оценка изображаемого мира со стороны писателя, его отношение к действительности, его миропонимание”⁹.

Спектр, в котором раскрывается образ автора в трех романах В.Максимова и который собственно и сплачивает эти романы в триптих, я бы назвал и с п о

в е д н и ч е с к и м. Предвечно свершенное сотворение мира продолжается в макрокосмосе истории, продолжается на нашей планете, продолжается на Русской земле. Именно на этой последней оно отражается исповеднически в людских душах.

В триптихе представлена целая цепь таких исповеднических отражений. Часть первая, клан Лашковых. Все центральные персонажи здесь интроспективны и покаянны:

„...как и зачем прожил он свои теперешние тридцать девять лет? Куда шел? Чего искал? Плыл ли он хоть раз в жизни против течения?” — размышляет Василий Лашков. „Сушь, сухой дух от тебя идет...” — слышится Петру Лашкову. „От них шел (близких. — Л. Р.), (...) а не к ним! Свету, тепла им, да и никому, от меня не было...”

Исповедническое у героев В.Максимова — всегда движение, путь „от... к...”:

„Утро высвечивало перед Петром Васильевичем втекающую в горизонт дорогу, и он шел по ней с внуком на руках. Шел и знал. Знал и Верил”, — так заканчивается первая часть триптиха.

Духовное возрождение Бориса Храмова и Марии — существо части второй. Путь от бездуховности и смуты к общению с Неисповедимым — суть автобиографического „Прощания из ниоткуда”, части третьей. На смычке всех трех частей возникают символистские подголоски толкования: последний из семи дней творения означен всего восемью словами: „*И наступил седьмой день — день надежды и воскресения*”. Казалось бы, начатая тема оборвана. Но она п р о д о л ж а е т с я во второй и третьей части триптиха. Продолжается как чаемое завершение поиска. В этом смысле структура авторской темы близка пастернаковской в „Докторе Живаго” — там также контрастны и внутренне дополняют друг друга прозаическая и стихотворная часть, где отчетлива вера в грядущее воскресение:

„Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты”.

Попутно приходит на память одно интервью, данное Пастернаком шведскому литературоведу Н.О.Нильсону в объяснение авторского замысла „Доктора Живаго”:

„За то короткое время, которое мы живем на земле, нам нужно уяснить себе свое отношение к существованию, свое место во вселенной. Иначе ведь жизнь невысказима. Это, как я понимаю, означает отказ от материалистического мировоззрения 19-го века, означает возрождение духовного мира, возрождение внутренней жизни, возрождение религии — не как церковно-религиозной догмы, но как мироощущения”¹⁰.

В конечной и обобщающей формулировке: это возрождение и есть ключевая, кровеносная тема триптиха В.Максимова. И в современном читательском ее опосредствовании неизменно возникает вопрос: происходит ли это возрождение в наши дни на Большой земле? Или, напротив, растет и утверждается на ней опустошенность и маразм бездуховности?

По Максимова, верить нужно именно в возрождение. Это рассыпано по всему триптиху:

„— Вера нашего народа, по сути, только начинается... — говорит Петру Лашкову местный богослов Гупак. — Для большей веры через великое сомнение надо пройти, может быть, даже через кровавую прелесть... С мукой, с беззаветностью к вере идут. Вы присмотритесь, Петр Васильевич, кругом тому свидетельства”.

Это „идут к вере” особенно звучно во второй части триптиха, само заглавие которой — „Карантин” — может символически обозначать состояние духа впроголодь, колебание выбора, латентный период обращенно-

сти к Небу. В одном из сновидений Бориса Храмова некто, стоящий на молитве, говорит ему о современниках:

„И теперь они захлебываются в собственной крови и грязи, не в состоянии понять, что с ними такое творится. Но когда им станет окончательно неведомо и чаша страдания их переполнится, спасение придет к ним и они покаются и снова обратятся к Нему, уставшие от греха и скверны. И уже не сойдут с пути, предначертанного Господом”.

И позже, в другом видении, упоминавшийся уже выше завет, который дает Борису монах: „Сейчас тебе надо проснуться, встать и идти. Другие еще спят... Им еще не время, душа их больна и сон врачует ее. Ты же здоров, совсем здоров. Иди...” — можно, пожалуй, толковать как миссионерский завет самому автору, — завет, который и принял он на себя, выполнив его творчески так, что исповедническое стало и проповедью.

К вере в возрождение относится и еще один штрих творческой ориентации В.Максимова, который я бы назвал лесковским: среди мрака и неприглядности выведенных в трех романах лиц и событий там и сям просвечивают прекрасные человеческие облики и черты (дочь Петра Лашкова Антонина, проповедник Гупак, режиссер Крепс, бригадир Осип Меклер, доктор Абрам Рувимыч и многие, многие другие) — как Лесков, собирает автор на смятенных просторах Руси низку полуправедников...

Я назвал эту главку „Раскрепощение реализма”. — Реализма на родине нашего языка.

Иначе и не назовешь — так буйно вырывается на свободу творческое слово В.Максимова, так много находит, о чем сказать, так живо рассказывает, воскрешая приземленные в советской прозе голоса. Будто из огромной смиренной камеры выпустили на вольный воздух десятки вынужденных молчальников, страшившихся даже в мыслях выговорить непопущенное, и теперь вдруг обретших и мысль, и слово, и право на духовные поиски.

А то, как передает нам их возрождение автор, как полно и щедро раскрывает и собственную свою веру, конечно же, делает много шире выбранный мной заголовок. Перед нами не просто раскрепощение, но духовное раскрепощение реализма, раскрепощение самого творческого духа.

Со стороны же художественной — богатейшего мастерства проза наших дней.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. статью „Литературоведение” в „Краткой литературной энциклопедии”.

² Все эти компоненты, вместе с „и пр.” и „и т.д.”, составляют то „в е д е н и е”, которое мы присоединяем к понятиям „музыка”, „искусство”, „литература” и отрицать которое просто невежественно.

³ „Eine wahres Wunder”. Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk, Tübingen, 1963.

⁴ См. выходящую на днях из печати книгу д-ра З. В а т н и к о в о й - П р и з э л „О русской мемуарной литературе. Исследования и материалы”.

⁵ „Новый Журнал” № 119, 1975, стр. 300-303.

⁶ Термин нужный, введенный, если не ошибаюсь, в свое время проф. В.В.Переверзевым; перевести: „однородный” как-то неловко.

⁷ „Литературное наследство” № 37-38, стр. 525.

⁸ В. В и н о г р а д о в. О языке художественной литературы. М., ГИХЛ, 1959, стр. 155.

⁹ В. В и н о г р а д о в. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, стр. 125.

¹⁰ N. A k e N i l s s o n. Hos Boris Pasternak. „Bonniers Litterära Magasin”, Stockholm, 1958.

Борис КОМАРОВ

Секретный воздух

Глава из книги⁺

— Какого цвета снег? — спросили как-то у Ильи Репина.

— Только не белого, только не белого, — рассердился старик.

Теперь почти любой горожанин с готовностью согласится с этим несколько странным для великого реалиста утверждением. В Ленинграде, Москве, в больших городах Урала и Сибири снег бывает по-настоящему белым так мало, что это нелегко заметить. Очень скоро он становится черным от угольной, серым от цементной и черно-бурым от прочих пылей.

В конце 1977 года в столице было отмечено новое явление — снег падал на землю уже черным... Где-то в вышине кристаллики снега слипались с хлопьями саж...

В районе суперфосфатных заводов на Кольском полуострове после таяния снега вся зимняя пыль ложится на траву и лишайники таким тяжелым слоем, что фотосинтез прекращается и растения гибнут, если сильный дождь не смоет с них грязь.

В центре индустриального Запорожья или Днепро-

⁺ Борис Комаров. Уничтожение природы. Выходит в издательстве „Посев”.

дзержинска трудно „захватить” снег белым, так же, как зелень — зеленой. Окна учреждений и домов, расположенных тут, наглухо закрыты круглый год.

— Вы из Госплана? — спрашивали служащие одной организации у приезжего. — Ваших бы начальников сюда, чтобы им глаза повыелю, как нам!..

Можно привести пример одного уральского города, где была создана специальная бригада рабочих для очистки раз в квартал крыш домов от оседающих пыли и сажки. Иначе крыши проваливаются. Или другого городка, где оконные стекла меняются гораздо чаще, чем всюду, так как от присутствующей в воздухе кислоты они быстро делаются тонкими и хрупкими.

Чем же дышит советский человек в тот момент, когда он с чувством превосходства наблюдает по телевизору за душным лос-анжелесским смогом? О загрязненности воздуха он может судить лишь на глаз, в зависимости от чувствительности своих легких и бронхов.

Издающийся для узкого круга специалистов и работников министерств „Бюллетень по проблемам загрязнения окружающей среды” в самом общем виде оценивает обстановку в стране так:

Городов со средним содержанием вредных газов в атмосфере на уровне 100 ПДК⁺ — около 10.

Городов со средним содержанием вредных газов в атмосфере на уровне 10 ПДК — около 100.

Городов со средним содержанием вредных газов в атмосфере на уровне 5 ПДК — более 1000.

Но что такое ПДК, много или мало это — 100 ПДК,

⁺ПДК — предельно допустимая концентрация, стандарт содержания вредного вещества в воздухе, в воде и т.д. В воздухе выражается в мг/м³. Например, советский стандарт концентрации окиси углерода (СО) — 1 мг/м³ для среднесуточного показателя, 3 мг/м³ для разового.

10 ПДК? Стоит ли из-за них волноваться? Что значит „предельно допустимая концентрация“, то есть предельная безопасная для здоровья норма загрязнения, если ее можно превышать в 100 раз?..

В Советском Союзе на многие загрязнители существуют самые жесткие в мире нормативы. И приняты они были раньше, чем во всех крупных странах Запада, однако в целом они, эти жесткие ПДК, остались некоей абстракцией, идеалом, к которому промышленность должна стремиться. Или, как говорят теоретики, „приближаться поступенчато“, от пятилетки к пятилетке.

Какую же опасность представляют для человека различные уровни загрязнения воздуха?

Существует простая таблица, поясняющая эту опасность.

Концентрация веществ до 5 предельно допустимых концентраций, согласно этой таблице, считается зоной настораживающей.

Концентрация от 25 ПДК и выше — зона чрезвычайной опасности для здоровья.

Чрезвычайная опасность означает, что постоянное пребывание в такой зоне в течение недель и месяцев угрожает не только вашему здоровью, но и здоровью вашего будущего потомства. Опыты с белыми мышами, которые проводились в лаборатории гигиены воздуха М.Пинигина, показывают, что после 500 часов в атмосфере с 20 ПДК сернистого газа в половых клетках этих мышей наступали необратимые изменения.

Из всех путей попадания вредных веществ в наш организм дыхательный путь — самый опасный. С пищей и водой мы тоже поглощаем немало полимеров и прочей гадости, однако в пищевом тракте и в почках есть организмы, которые дробят эти, как правило длинные, сложные молекулы на отдельные звенья и в таком виде выводят из организма. Геохимически различные области и районы материков существенно отличаются друг от друга, и человеческий организм к этому более

или менее приспособлен. Состав же воздуха повсюду один и тот же сотни тысяч лет, поэтому аналогичных защитных механизмов в легких и бронхах природа не предусмотрела.

Это в какой-то степени объясняет тот факт, что примерно 68% всего ущерба, который терпит население от загрязнения природной среды, приходится на ущерб от тех болезней, которые вызываются вдыханием загрязненного воздуха: от рака легких до потери способности деторождения.

Официальные отчеты говорят, что наибольшее загрязнение уже много лет подряд наблюдается в городах-центрах цветной, черной металлургии и химической промышленности.

„Признанный лидер” в этих черных списках — Лениногорск (Восточный Казахстан). Почти сто тысяч жителей этого города дышат воздухом, в котором содержится в среднем свинца порядка 30-40 ПДК, а в отдельные дни концентрации поднимались до 440 ПДК!

В соседнем Усть-Каменогорске (Восточный Казахстан, 270 тыс. населения) концентрации свинца в 14 раз выше предельного допустимого уровня. Нередко и тут загрязнение поднимается до 100 ПДК.

В третьем казахстанском центре цветной металлургии — Темиртау — концентрации ртути в воздухе перекрывают нормы в 60 раз.

Химикам Стерлимака (Башкирия) по сравнению с Темиртау дышится легко: ртути тут всего 10 ПДК; правда, к ее парам присоединяется угарный газ — в 21 раз выше нормы, и хлор — в 17 раз.

„Букет” Омска составляет тот же угарный СО (20 ПДК) и набор нескольких других газов — по 10 ПДК и выше.

В известном центре железорудной промышленности Кривом Роге обычны огромные концентрации сернистого газа (SO_2) — до 100 ПДК.

В Ереване, расположенном в горной котловине, последние годы бурно развивали химическую промышленность и цветную металлургию. В результате воздух столицы Армении содержит в среднем СО в 21 раз выше ПДК, сернистого газа — в 7 раз, а также в опасных пределах фенол, фтор и водород.

Ни обоняние, ни другие чувства часто не дают нам никаких сигналов об опасном загрязнении химическими соединениями. Специальные же приборы находятся в обсерваториях, куда ни пресса, ни общественность не имеют доступа без ведома властей.

Поэтому борьба за чистый воздух часто оказывается борьбой с дымом. Заводы тратят деньги прежде всего на те фильтры, которые улавливают зольные частицы и развеивают черные клубы над трубой. „Чистое небо над комбинатом”, — правдиво информирует общественность пресса. Однако, улавливая крупные частицы, фильтры пропускают прозрачные окислы азота и серы, которые прежде связывались частицами золы. Теперь же эти окислы поступают в атмосферу в чистом виде, легче растворяются каплями дождя, и ущерб загрязнения — от таких кислых дождей — даже увеличивается. Хотя над трубами действительно — одно чистое, дрожащее море.

На гигантском цементном заводе на берегу Черного моря в Новороссийске были введены дорогие фильтры, и облака пыли, окутывавшие прежде весь город, исчезли. Но наполовину такая очистка — оптический обман. Фильтры не задерживают мелкие, невидимые глазом фракции, и при попутном ветре они летят через залив на жилые районы. А эта мельчайшая пыль наиболее опасна для легких.

Подобное положение и в Братске. Никаких серьезных дымов над городом не видно. Анналы местного бюро Интуриста полны комплиментов молодому сибирскому городу. Но приборы регистрируют превышение норм СО, SO₂, аммиака и других газов во мно-

го раз. Лесоводы бьют тревогу — тайга вокруг Братска, не говоря уже о насаждениях в черте его, быстро сохнет. Подрост гибнет на 100%.

Кроме Братска, Темиртау, в числе городов с опасными и чрезвычайно опасными уровнями загрязнения находятся такие города, как Новокузнецк, Амурск, Магнитогорск. Почти все бывшие комсомольские стройки. Три десятилетия в шумных газетных статьях между этими названиями — Магнитка, Кузнецк и т. д. — и понятием „светлое будущее” ставился знак равенства. Теперь, завершенные, эти города вызывают совсем иные ассоциации.

Знаменитые строки Маяковского о Кузнецке (сейчас Новокузнецк, в промежутке — Сталинск) — „Я знаю, город будет, я знаю — саду цвести, когда такие люди в стране советской есть” — повторяются все реже. „Сада не получилось”, — подтверждает Чивилихин, говоря о Новокузнецке. Были на некоторых улицах тополя, но их срубили из-за аллергенного пуха, хотя для этого их можно было просто обкорнать...

В самом знаменитом Комсомольске-на-Амуре воздух относительно чистый, много зелени. Но в его спутнике, построенном в 60-х годах Амурске, работает огромный целлюлозно-бумажный комбинат. (О его строительстве и экологической опасности пресса ничего не писала. Все же не Байкал.) Стоки комбината превратили в зловонную выгребную яму большое озеро, и тошнотворный запах часто доносится отсюда и до транссибирской магистрали, заставляя пассажиров зажимать носы, и до Комсомольска, расположенного в 40 километрах.

В начале 1977 года на одном из заседаний Госплана СССР обсуждались рекордные уровни рака легких и других болезней дыхательных путей в Новокузнецкой и Кемеровской промзонах. Первенцы социалистической индустрии оказались новыми продымленными Манчестерами и Питсбургами начала XX века. Случайно ли это?

„Первенцы” строились во время первых, трудных пятилеток, тогда было не до экологии. Допустим. Такие задымленные нынче города, как Норильск, строили заключенные, да еще во время войны. Тут тоже вопросов нет. Ну, а Рустави и другой грузинский центр металлургии — Зестафони; Чимкент и Жданов, и недавний Стерлимак — это стройки конца 50-х и 60-х годов. Почему же тут сэкономили на охране среды?

И наконец, Тында, столица БАМа, где смог повис над дорогами уже сейчас, когда город и промузел не построены и наполовину. Сейчас-то можно было учесть экологические факторы?.. Если бы хотели учитывать...

Фотографии дореволюционной Юзовки в школьных учебниках истории СССР дают наглядное представление о капиталистах-хищниках, которым наплевать и на рабочих, и на природу, на все, кроме прибылей.

Современный Донецк славится зеленью на улицах и прозрачностью воздуха. Местный Ботанический сад вывел десятки отличных сортов цветов и кустарников, устойчивых к загрязнению среды. Они оживляют территории вокруг многих заводов и шахт.

Но данные закрытых отчетов лишены цветочных вишенок: заболеваемость раком легких у рядовых граждан Донецка (не шахтеров) на 300% выше, чем у жителей других городов. Не покажутся ли после этого цветы на обширных городских газонах скромными маргаритками на могильных холмиках?..

Зелень и цветы не могут компенсировать высокой загазованности во многих районах Украины. Озеленение не решает ни одной серьезной проблемы гигиены в промышленных городах. Зато психологический эффект газонов и скверов весьма велик. Какая цифра снижения концентрации фенола или сернистого газа (даже если бы она попала в печать) может тягаться в производимом впечатлении с простым цветком ромашки? С ее ярким фото на обложке журнала?

Озеленение промышленных зон — весьма нелегкое дело, но часто легче изменить биологическую природу растений и заставить их цвести в дымовой трубе, чем изменить бюрократическую систему, защищающую природу в основном постановлениями на бумаге.

„...при дальнейшем развитии народного хозяйства по 1990 г. в ряде промышленных центров СССР могут сохраниться, а иногда и возрасти, чрезвычайно опасные для здоровья уровни загрязнения атмосферного воздуха”. Это цитата из прогноза состояния окружающей среды к 1990 г. В нем, как и в прогнозе „Природа 1980 г.”, называются некоторые цифры заболеваний, связанных с загрязнением воздуха.

В последние десять лет число заболеваний раком легких в стране удвоилось. Среди новорожденных каждый год на 5-6% больше детей с генетическими пороками, чем было в предыдущем, а число родовых травм и выкидышей возрастает на 6-7% в год. В целом генетический груз населения, то есть количество людей генетически неполноценных, сейчас составляет 7-8%, по данным академика Дубинина, и при нынешних темпах роста к 1990 г. может достигнуть 15%⁺. Иначе говоря, в следующем поколении едва ли не каждый шестой взрослый может оказаться неполноценным физически или психически. Вопрос генетического благополучия стоит особенно остро, так как из всех республик только народы Средней Азии и Азербайджана обеспечивают свое воспроизводство.

Каждый год число неполноценных детей, находящихся на содержании государства, возрастает на 200

⁺Для сравнения: в супериндустриальной Японии, пережившей Хиросиму, генетический груз достиг 12%.

Загрязненность — запыленность — атмосферы становится причиной широкого распространения аллергий. Сейчас разными видами аллергий страдает 2% населения страны, к 1990 г. это число возрастет до 3,5%.

тыс. человек и расходы на их содержание увеличиваются примерно на 120 млн. руб. в год.

Общий ущерб народному хозяйству от загрязнения воздуха и вод (ущерб от загрязнения почв прогноз не учитывает, поскольку нет надежных методов его учета) оценивается экспертами в 20 млрд. руб., т.е. в 5% национального дохода к 1980 г. В следующие 10 лет он возрастет до 45 млрд. руб., согласно этим оценкам; а по не вошедшим в доклад данным, он в 1980 году может составлять уже 50-60 млрд. руб. и к 1990 г. достигнуть 120 млрд.⁺ Причем почти половина убытков придется на область здравоохранения и только 20% — на сельское хозяйство и 12% на промышленность.

Хотя в ближайшие годы промышленные выбросы в атмосферу должны сокращаться, автомобильное загрязнение быстро растет, и суммарное загрязнение воздуха к 1980 году, по прогнозу, увеличится на 10-15% по сравнению с 1975 годом.

К 1990 году оно может вырасти почти на 100%, и вклад автомашин в это составит почти 70%. (Соответственно: 242 млн. тонн всего, или 172 млн. тонн в год — автомашины.)

⁺ В отзыве на прогноз „Природа 1980 г.” академик Герасимов писал, что выводы его авторов выглядят неубедительно оптимистическими после тех мрачных данных, которые они приводят по ходу дела. „Почему, — спрашивал Герасимов, — авторы утверждают, что в 11-й пятилетке на состоянии природы благоприятно скажутся мероприятия 10-й пятилетки, если они сами показывают, что эффект этих мер ниже запланированного?” Он также критиковал прогноз за то, что он требует немногого по охране природы в будущем. Интересно, что и „Природа 1990 г.”, одним из руководителей которого стал Герасимов, страдает тем же. Нарисовав тревожную ситуацию в каждой сфере отдельно, в выводах прогноз использует такие обтекаемые формулировки, в каких можно выдать поминки за свадьбу. И теперь коллеги Герасимова отзываются о прогнозе „Природа 1990 г.” — „Цифры ущерба занижены. Итоги подлакированы”.

От автомобильной загазованности страдают, разумеется, прежде всего большие города. На Невском и других центральных улицах Ленинграда содержание двуокси азота достигает в иные дни 50 ПДК и никогда не спускается ниже 5 ПДК.

Автомобилей в городе не так уж много — 670 тысяч, но вдали от главных магистралей дышится не намного легче. Один Кировский завод выбрасывает в сутки 42 тонны чистого углерода, и во всем районе вокруг него содержание СО превышает норму в 15-25 раз. В районах, прилегающих к заводам „Большевик”, „Пластполимер”, концентрации фенола, сероводорода держатся на уровне 8-10 ПДК. 70% всех промышленных предприятий города не имеют пылеуловителей. Сотни заводов выбрасывают десятки тонн пыли ежедневно, сотни директоров платят ежегодно штрафы (из своего кармана!), но в целом загрязнение воздуха растет.

Нынешний воздух „гнилого Петрограда” содержит около тридцати химически активных примесей. Состоит этот „букет” (кроме обычных угарного и сернистого газа, фенола и сероводорода) из альдегидов, сложных эфиров, толуола, паров хрома и щелочей, формальдегидов и марганца.

Огромные массы сернистого газа выбрасывают и в Ленинграде и в других городах ТЭС и ТЭЦ, работающие на углях и мазуте. Нет ни одного города-„миллионера”, который бы не значился в прогнозе „Природа 1980 г.” в числе городов с весьма опасным уровнем загрязнения сернистым газом. Кроме „миллионеров”, чрезвычайно загрязнены выбросами теплоэлектростанций и такие промышленные города, как Рязань, Березники, Уфа, Дзержинск, Ангарск, Новокуйбышевск, Воронеж и Днепродзержинск, родной город Л.И.Брежнев.

Но не только жители промышленных районов страдают от плохого воздуха. Благодатная природа,

„уездная тишь” становится мифом на наших глазах. Излучины нетронутых рек, звенящая тишина и мягкие очертания холмов, в которых угадываются древние городские укрепления, — все это разрушается или в лучшем случае заслоняется трубами, градирнями, заводскими корпусами. Вместе с разрушаемой природной средой уходит в прошлое и культура, насчитывающая пять, а то и шесть веков.

Заводы, которые появляются в провинциальных городах, не так громадны, как их столичные собратья. Но чем меньше объем производства, тем убыточнее очистные сооружения и приспособления технологии к требованиям экологии. Да и людей в малом городе немного, так что убытки в системе здравоохранения оказываются не такими ужасными.

Южно-Сахалинск — небольшой, по нашим масштабам, и к тому же приморский город. И все же 200 дней в году его воздух содержит угарного газа в 10 раз выше нормы. И столько же фенола, сернистого газа и сажи. Иногда ветер доносит зловоние от соседнего Долинска, где работает целлюлозно-бумажный комбинат.

Жители Волжска (возле Волгограда) отказываются ездить в троллейбусах и автобусах, которыми пользуются рабочие завода метилкапролактама. Ничтожные количества этого соединения добавляют в природный газ, чтобы обоняние человека ощущало его утечки. Одна-единственная молекула метилкапролактама в кубометре воздуха раздражает наше обоняние выше нормы. Дурной запах рабочие уносят домой на одежде, и не только прохожие — супруги и дети отказываются общаться с таким человеком. По данным местного загса, после пуска завода, число разводов выросло вдвое.

Оха и Корсака на Сахалине, Мончегорск, Никель, Кола на Кольском полуострове, Кунда в Эстонии, Кин-

гисепп и Пикалево, Гатчина и Кириши в Ленинградской области, Орск, Троицк, Миасс на южном Урале, Сибай и Бурибай в Башкирии, сибирские Балаково, Ачинск, волжский Камышин, северокавказские Новочеркасск и Невинномысск, Энгельс, Бердянск, Ковров и Коломна, Гурьев и Старый Оскол — круглый год в воздухе этих провинциальных городов содержится по 20-25 ПДК различных газов.

„Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...” — о воплощении этого поэтического лозунга в реальность тут не место спорить. Но место отметить, что недавнюю быль — свежий воздух малых городов страны — развитие социалистической индустрии превратило в волшебную бабушкину сказку.

Отчет „Природа 1980 г.” ничего не сообщает о воздухе сельской местности. Сам по себе он, вероятно, все еще чист, но медицинские исследования говорят, что в Ленинградской и Московской областях крестьяне болеют раком так же часто, как рабочие рудников и шахт. Пыль минеральных удобрений, пестициды, которые часто распыляются с самолетов⁺, вдыхаются сельскими жителями в больших количествах, а они способны оказать разрушительное влияние даже на половые клетки человека. Несмотря на низкую химическую и техническую оснащенность хозяйства вообще, в этом отношении наши колхозы недалеко ушли от супериндустриальных американских ферм. В благодатной Калифорнии, например, занятие сельским хозяйством официально считается наиболее вредным для здоровья делом⁺⁺.

⁺Сб. „Республиканская конференция: актуальные проблемы охраны окружающей среды”, Ташкент, 1977 г. Особо опасным гигиенисты считают пестицид базудин, который в километре от края обрабатываемого хлопкового поля оказывает угнетающее действие на детей и взрослых.

⁺⁺У. Д у г л а с . Трехсотлетняя война. М., 1975 г.

Следующий миф — это чистый и здоровый воздух Москвы.

Безусловно, атмосфера столицы чище ленинградской, ташкентской или ереванской, не говоря уже о центрах металлургии. Однако в целом чистота московского воздуха — это большой миф, порожденный газетами, радио и прочими органами массовой информации, подобно тому, как когда-то гигант Гаргантюа был рожден из левого уха своей матушки Гаргамаллы.

Ни разу ни один панегирик столичному воздуху не привел конкретных данных — какова же эта чистота в цифрах. Оно понятно — это разрушило бы все усилия пропаганды. Содержание угарного газа (СО) в московском воздухе последние годы постоянно превышает среднесуточную ПДК в 10-13 раз! В Пролетарском, Перовском, Ленинградском районах и на некоторых транспортных магистралях города его концентрации поднимаются до 20-24 ПДК. (Напомним: по классификации советских гигиенистов, 10-15 ПДК — зона непосредственной опасности, 25 ПДК и выше — чрезвычайной опасности для здоровья.)

Шесть месяцев в году сероводород в воздухе превышает норму. Иногда его концентрации достигают 7-8 ПДК. Сернистый газ, пыль, двуокись азота, фенол — все это, хотя и нечасто, превышает нормы и в 5 раз, и в 10, и в 19 раз. Газеты афишируют цифры — 470 промышленных предприятий и 180 автобаз снабжены совершенными системами очистки воздуха и воды, но о том, что почти столько же московских заводов и фабрик не снабжены такими системами, они умалчивают.

Известный журналистский трюк — сравнивать заведомо разные вещи и делать из этого выводы в свою пользу. Воздух Москвы сравнивается с воздухом Лос-Анжелеса, Нью-Йорка или Токио, где автомобилей в 10-15 раз больше, чем в Москве. На этом основании делается вывод о самом чистом — среди крупнейших городов мира — московском воздухе. В этот ряд никог-

да не ставятся Вашингтон, Лондон или Стокгольм, где машин хотя и больше, но дышится там легче. А если не принимать во внимание уровень автомобилизации, то самый чистый воздух — в Пекине!

Существенно и то, что с 1974-75 гг. в западных столицах и в Токио уже загазованность воздуха несколько пошла на убыль, в Москве же она растет.

Согласно газетной пропаганде, воздух городов СССР становится все чище и чище; согласно данным прогнозов „Природа 1980 г.” и другим — все хуже.

Один из известных экономистов, занимающихся проблемами экологии, профессор М.Я.Лемешев заявил как-то, что наша экономика не может позволить себе тратить на охрану среды 15-20% стоимости каждого завода или фабрики⁺.

По словам Лемешева, установка на выхлопных трубах автомобилей фильтра, который существенно снижает загазованность городской атмосферы, для нас также непозволительная роскошь. Фильтр, установленный теперь на каждом шведском автомобиле (благодаря чему воздух Стокгольма и других городов Швеции значительно очистился), удорожает стоимость автомобиля примерно на 15%. У нас розничные цены на легковые автомашины возрастают чуть не каждый год на такой же процент, но пойти на увеличение себестоимости „Жигулей” или „Москвичей” на 15% наша экономика никак не может... Вот лет через пять-десять вырастет производительность труда — тогда, может быть...

Представление, будто у нас еще много времени, чтобы исправить положение и не довести дело до лос-анжелесских смогов, — это еще один миф. Пропаганд-

⁺Согласно опубликованным в СССР данным, инвестиции на охрану среды в промышленности США и Японии составляют 8-29% всех капиталовложений. В отдельных случаях и у нас было разрешено ассигновать 30% капиталовложений на создание „чистых” нефтеперегонных заводов (например, в Перми). Но это в особых случаях — для витрин.

ные иллюзии легко рассеиваются при сопоставлении их с реальными цифрами.

Насколько хуже дела у „капиталистов”? Выборочные данные говорят о небольшом разрыве. Количество СО в больших городах США в часы пик достигает 30-40 наших ПДК. На улицах нашего Ленинграда, Москвы, Баку, Ташкента, Новосибирска концентрации 20-30 ПДК не редкость. Бывает и 40 и 50 ПДК. Стоит ли хвастаться тем, что у нас на магистралях яду меньше, чем у них, если и у нас вполне достаточно, чтобы отравлять здоровье людей?

Абсолютные данные гораздо важнее в данном случае, и они дают примерно такую же картину. Прогноз „Природа 1980 г.” говорит, что на „свалку вверх” в год в стране забрасывается около 110 млн. т. различных загрязнителей. (Прогноз называет цифру 95 млн. т. для 1975 г. и 114 млн. т. для 1980 г. в результате увеличения числа автомобилей. Специалисты говорят, что обе цифры занижены минимум процентов на 10. Будем держаться, однако, официальных данных.)

Итак, в СССР — 110 млн. т., а в США — 180 млн. т. Территория Советского Союза почти втрое больше основной территории США без Аляски, однако плотно населена у нас часть, вполне сопоставимая с США.

Основная доля загрязнений, конечно, достается жителям больших городов и городских промышленных скоплений (агломераций). У нас в таких агломерациях живет примерно 140 млн. людей, в США — около 170 млн. Получается, что 60-55% нашего населения дышит почти таким же плохим воздухом (лишь на 1/5 лучше), как и большинство американцев.

Тенденции развития говорят, что к 1982-84 годам почти вся наша страна будет дышать чем-то еще худшим, чем нынешний воздух городов США. В США все возрастает тенденция к уменьшению загазованности.

Сейчас, загрязняя воздушный океан на 15-18% больше нашего, Соединенные Штаты производят про-

дукцию в два с лишним раза больше СССР. У американцев сейчас в 5,5 раза больше автомобилей, чем у нас (в США — 110 млн. штук, в СССР — 18-20 млн.), но при этом они загрязняют атмосферу лишь в 1,4 раза больше. Иными словами, на каждую единицу товара социалистическое хозяйство производит вдвое больше всевозможных загрязнителей воздуха, а каждый советский автомобиль отравляет окружающую среду чуть не вчетверо больше каждого американского. (Объясняют это более интенсивной эксплуатацией автомашин у нас и худшей регулировкой двигателей.)

В разработках экологически чистых двигателей наши ученые находятся на международном уровне. Однако если даже завтра будет создан в СССР прекрасный водородный или иной чистый двигатель, через сколько лет советская автопромышленность будет его выпускать массово?.. Специалисты говорят, что вопрос надо ставить иначе — через сколько десятков лет?..

Таковы факты в свете реальных цифр. Они не дают оснований для спокойствия, напротив, они заставляют задумываться не только о чистоте воздуха, но и о методах современного социалистического хозяйствования. Факты не дают нам надежд на более чистый воздух в наших городах, более того — на уменьшение нынешних темпов роста его загрязнения.

СССР — господствующая элита

ПУТЬ НАВЕРХ. СТРУКТУРА ЭЛИТЫ

Пропаганда в СССР следует закону средних чисел — одна и та же ложь повторяется бесконечное множество раз, и в накаленной и напряженной социальной атмосфере срабатывает в человеке рефлекс: скудная и монотонная, она сперва захватывает, затем поработывает его. Поначалу человеку кажется, что он только подыгрывает пропаганде, но проходит какое-то время — и уже пропаганда играет человеком. И вот уже не своекорыстная элита, а обманутый, маленький человек пытается убедить себя и других, что живет он в общем-то в стране равных возможностей. Но беда — неравны, несовершенны люди. Большинство тупы, инертны, ленивы и ищут в жизни только развлечений, удовольствий и сытости. И вот среди этой серой массы находятся энергичные, честолюбивые личности. Они рвутся к деятельности и власти. Это их право, как и право тех, кто им не воспользовался. Все, таким образом, в этом мире разумно, справедливо и истинно... Наивная вера обездоленных людей! На самом деле путь вверх в советском обществе предрешен в соответствии с определенной программой; для этого немного значат таланты и способности, определяющим являются национальность, происхождение, связи и деньги.

В СССР имеется не одна, а несколько привилегированных групп. Элита первого уровня — артистичес-

кая, художественная, спортивная. Она относительно открыта. В нее попадают в соответствии со своей одаренностью и склонностями. Допускаются инициатива, самобытность, оригинальность.

Следующий уровень — научная, техническая, промышленная элита — полужакрытая. Критерии отбора здесь происходят по принципам лояльности: учитываются человеческие и деловые качества. Свобода выбора ограничена классовым подбором и партийной принадлежностью.

Высший, третий уровень — это партийная, дипломатическая, военная и полицейская элита. Она практически носит закрытый характер. Набор в нее жестко регламентируется социальным происхождением и национальностью. Чтобы войти в нее, недостаточно таланта, — напротив, творческий дух, самостоятельность мысли, независимость суждений ей противопоказаны. Не служит универсальным пропуском и благонадежность. Эта элита — союз определенного человеческого материала, исполнительного, беспринципного, равнодушного.

Между элитами существуют четкие переборки. Но сплошной стены нет. Так что допускается определенное просачивание, которое, как правило, идет от третьего уровня через второй к первому, но возможна, хотя и значительно реже, обратная связь. Третий уровень

Каждая элита строится изнутри по принципу плюрализма. Однако по отношению к окружающим это определяет возможности всех остальных социальных групп. Доминирующий фактор в нем — партийная группа.

Каждая элита строится изнутри по принципу плюрализма. Однако по отношению к окружающим это объединения сплоченные и монолитные. Приняв или отвергнув какое-либо решение, элита противостоит всему остальному миру единым фронтом, даже если внутри ее не всегда удается достигнуть единства взглядов и действий. Элиты подвижны желанием: 1) удер-

жать имеющиеся привилегии и власть; 2) умножить привилегии и увеличить власть; 3) поддерживать политический режим во всей многообразной его структуре.

Время от времени элиты раскрываются, и из них выпадают или выбрасываются те, чьи стремления не укладываются в вышеприведенные пункты. Затем элита вновь смыкается, становясь на какое-то время более однородной, а потому и более сплоченной.

Элиты отличаются сложным переплетением родственных связей, которые действуют как по горизонтали — внутри элит, так и по вертикали — между элитами. Поясним это конкретными фактами: среди 3980 семей города Ярославля, которые по тем или иным признакам могли бы быть отнесены к элитам первого, второго и третьего уровня, 2708 семей состояли в родстве друг с другом, а 448 семей были связаны родственными узами с семьями элиты Москвы, Костромы, Владимира и Ростова⁺.

Так, на примере только одного советского города выявляется связь различных семей, общим знаменателем которых является общественное положение, привилегии, богатство. Это же характерно и для других городов Советского Союза. В Баку было обследовано 7210 семей элиты: 5100 были связаны родственными узами друг с другом, 1081 — с семьями такого же достоинства городов Кировабада, Сумгаита, Еревана.

Примечательна следующая корреляция: среди семей элиты первого уровня — в значительной мере, второго — несколько меньше — дети избирали профессии одного из родителей и со временем просачивались в

⁺Цифры взяты из исследования, проведенного в 1972 г. под руководством А.Харчева, „Структура советской семьи”. Опубликовано с грифом „Для служебного пользования” в трудах Института конкретных социологических исследований Академии наук СССР. М., изд-во АН СССР, 1973.

соответствующие элитарные группы. В Баку этот процент был 40, в Ярославле — 28, в Ереване — 37, в Москве — 21. В семьях элиты третьего уровня профессиональная преемственность „родители-дети” была характерна для семей военных (49%) и дипломатических (19%), в семьях партийных работников этого стремления почти не наблюдалось (0,9%).

28% детей партийных работников города Баку избирали научную или педагогическую карьеру, 22% — художественную, 30% — техническую, 16% — дипломатическую, 4% — военную. По Москве эти цифры выглядели несколько иначе. Наблюдалось известное смещение в сторону дипломатической карьеры — видимо, существовали большие и лучшие возможности для этого — 38%, научную карьеру предпочли 29%, художественную 7%, и только 2% детей решили связать свою судьбу с армией. Но в целом тенденция оставалась: дети партийных работников устремлялись в иные, не партийные области жизнедеятельности. Выявить достаточно полно причины этого явления не удалось. Однако отдельные социологические опросы подтвердили, что в семьях партийных работников партийная работа как профессия, и призвание уважением не пользовалась. И не только у детей, наблюдавших партийного функционера в облике одного из родителей, но и у самих родителей, которые предпочитали, чтобы их дети избирали карьеру научную, дипломатическую, военную, но никак не партийную⁺.

Ни один из наследников членов ЦК КПСС не предпочел профессию отца. Даже дети Брежнева решили: сын — податься в торговлю (нынче он заместитель министра внешней торговли), дочь пробует свои силы на

⁺Факты взяты из обобщенных результатов социологического обследования „Структура советской семьи”, которое было проведено в 1971-72 гг. по указанию ЦК КПСС. Результаты исследования опубликованы не были, однако выводы были представлены в отдел пропаганды ЦК КПСС в декабре 1972 г. дирекцией ИКСИ.

научной работе (старший научный сотрудник Института по изучению Соединенных Штатов).

Было бы безосновательным думать, что и сами родители — партийные чиновники — разочаровались в своей карьере, испытывают чувство неудовлетворенности; каждый из них доволен, в полной мере наслаждается многообразными преимуществами и благами, но — это примечательно — 32% опрошенных нами партийных работников города Баку заявили: если бы они начали жизнь сначала, то выбрали бы иную специальность — научную, инженерную, дипломатическую. И ни один из обследованных не желал видеть своих детей в качестве партийных работников, хотя каждый стремился предоставить своему ребенку хорошее воспитание и дать основательное образование.

Советская элита стремится изолировать своих отроков от народной массы. В СССР нет частных школ, но существует довольно разветвленная система школ специализированных — для одаренных детей, — в которых обучение ведется на нескольких языках, школы музыкальные, математические, художественные. Формально эти школы открыты для всех желающих, но дети элиты в них составляют подавляющее большинство: в Баку — 79%, в Москве — 81%, в Ленинграде — 72 %, в Киеве — 74%, в Тбилиси — 84%⁺.

Какова причина? Может быть, условия отбора в этих школах особенно сложные: требуются определенные навыки, склонности, способности, привычки? Если судить по официальным программам, — нет. Знания, приобретаемые здесь, ничуть не шире тех, какие возможно получить в других школах. И все же сложности есть. В спецшколах менее уплотненные классы, лучше поставлена воспитательная работа, более совершенно

⁺Эти цифры приведены в докладе Суслова, секретаря ЦК КПСС, на совещании в Кремле заведующих кафедр общественных наук в декабре 72 г.

дидактическое оборудование. А такие условия возможно предоставить отнюдь не всем, но только избранным. И по существу при отборе кандидатов конкурс проходят родители: ребят из высокопоставленных семей принимают благосклонно и охотно. Для детей трудящихся доступ затруднен и ограничен. Важное достоинство указанных школ — тесная связь с университетами. А в СССР, где желающих получить высшее образование больше существующей возможности его дать, это обстоятельство — весьма немаловажное преимущество. 92% выпускников таких школ принимаются в советские вузы практически вне конкурса. Кроме того, в подобных школах — единственных в СССР — преподавание иностранных языков поставлено профессионально. Следовательно, для их выпускников охотно раскрываются двери таких институтов, как Высшая дипломатическая школа, Институт внешней торговли, Институт международных отношений. Так и получается, что из 870 студентов, принятых в 1971 году в Институт международных отношений, были: 312 детей ответственных партийных работников, 210 — крупной советской бюрократии, 180 — высших офицеров, 50 — академиков и профессоров и только 8 оказались детьми рабочих и двое — крестьян. И еще один факт, который, правда, не укладывается в нашу тему, но примечателен: 78% зачисленных в этот институт в 1971 году — русские, 13% — украинцы, 7% — белорусы и только 1% представителей прибалтийских республик. Традиционно не принимаются в этот институт евреи, татары, молдаване, узбеки, таджики.

Цель привилегированных школ, в которых обучаются дети элиты — воспитать человека, уверенного в своих силах и в том, что власть, малая или большая, принадлежит ему по праву — по праву социального происхождения. Здесь воспитывается характер будущего руководителя, и характер совершенно определен: надменный, самонадеянный, самоуверенный, бес-

принципный. Словом, каждая такая школа выпускает людей, которые нужны с точки зрения тех, кто находится в советском обруче власти. Воспитанники этих школ будут связаны единой выучкой, мировоззрением, круговой порукой. Но прочнее всего их будет держать вместе внутреннее сознание принадлежности, причастности к одному кругу людей — людей, привыкших править и подчинять. Выпускники этих школ по окончании вузов пойдут работать в партийные комитеты, в органы безопасности, на дипломатическую службу. При всех перемещениях они уже никогда не выпадут из глубоких кожаных кресел, не выйдут из общества значительных и влиятельных лиц. Их повсеместно будет окружать сеть старых приятелей, они будут вращаться в мире, где их друзья или родственники определяют характер советского истаблишмента и делают политику.

БАРЬЕРЫ ПЛУТОКРАТИИ

Есть много нитей, которые связывают между собой советскую правящую элиту в единую кастовую пирамиду власти. Традиции, ритуал, привычки, складывающиеся десятилетиями. И — клубы. Не удивляйтесь: без вывесок и эмблем (чтобы не уведомлять прохожих о своем назначении), по соседству с глухими правительственными дачами, за тяжелыми дверьми и резными стеклами, стоят, прячась в зелени, почтенные особняки. „Дома” партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и прочих работников. Суть не в формальном названии, вполне благочестивом. Они любят камуфлироваться под безобидными вывесками профилакториев, гостиничных дач и даже финских бань. В каждом городе и даже районном центре есть по крайней мере один такой дом — клуб.

Это советское заведение играет в жизни страны весьма существенную роль. Окончательные решения

принимаются на заседаниях коллегий министерств, бюро горкомов и райкомов, но предварительную обкатку и формулировку они принимают здесь — в клубах. В замкнутой и неспешной обстановке, располагающей к отдыху и покою, завязываются необходимые знакомства, стыкуются сильные советского мира — партократы и технократы, дипломаты и прокуроры, руководители академий и главы творческих союзов. Короче — господа и исполнители. Здесь не спрашивают удостоверения: пропуском служит машина с правительственным номером и вышколенные шоферы. Портье услужливо выступает навстречу. Распахнет тяжелую дверь, подхватит шляпу. И с этого мгновения вступает в права ритуал. Кухня — изысканная, вина — выдержанные. Ответственные работники отдыхают здесь легко и непринужденно: бильярдные столы, добротные, сверкающие политурой рояли, золотые канделябры, цветные телевизоры, стереофонические радиоприемники, широкий набор зарубежных газет и журналов — из тех, которые не поступают в свободную продажу. А для ищущих уединения — солидные библиотеки.

Крикливые лозунги, кичливые обязательства передовиков — обязательный реквизит рабочего клуба и фабричного красного уголка — не смущают изощренные вкусы солидных посетителей этих домов. Но оригинальные полотна известных художников, старинные литографии, нигде более не выставляемые, позволяют приобщиться к изысканному миру искусства, почувствовать свою значительность. И конечно, сама атмосфера — высокомерная непринужденность, создаваемая годами тесного знакомства, обращение на короткое „ты” — свидетельствует: здесь начинается особый мир — мир власти.

Клубы ЦК КПСС — самые фешенебельные, и доступны они небольшому кругу. В них же есть особые залы для самых избранных — секретарей ЦК и членов Политбюро. Клубы обкомовские и горкомовские более

демократичны: здесь встречаются представители высокопоставленной интеллигенции, влиятельных военных кругов, администраторы промышленности, боссы госбезопасности.

Связывающим звеном и местом встреч представителей самой высокой элиты и элиты просто высокой служат творческие клубы — „дома” работников искусств, литераторов, журналистов, художников, композиторов. Сюда на „огонек”: на эксцентричное представление, на просмотр запрещенного фильма и просто пообщаться с богемой — поглазеть на кинодиву, пройтись в паре с изящной балериной, выпить кружку чешского пива с популярным поэтом — авось, запечатлит в оде — время от времени заявляются почтенные степенные секретари ЦК. Здесь все свои. Все, кто принадлежит этому кругу, — его горячие приверженцы и защитники. Некоторые иногда позволяют себе выразить робкое смущение, но целиком никто не отвергает этого мира — благодетеля, на котором покоится его благополучие. Да и сами партократы время от времени позволяют себе немного позлословить — самую малость — и не по поводу, конечно, основ. Любят иронию (хотя отвергают сарказм), поклонники злых эпиграмм и острых анекдотов.

Всякий приобщенный к такому „дому” привык к определенному образу мышления и стандарту поведения. Хотя у каждого свои сани: кто-то управляет областью, а кто — тиранствует в союзе писателей.

Клубы, как слоеный пирог: в тех, что поскромнее, горкомовских или райкомовских, выбор блюд ограничен, хотя в достатке есть армянский коньяк и черная икра. Разговоры здесь заземлены доступной информацией: о размерах взятки, о семейных сплетнях, о видах на повышение. Клубы ЦК, Совета Министров иные: в них все самое лучшее — мебель, сервировка, яства. Здесь принято обсуждать привычки генерального секретаря или исследовать последствия правительственной

реорганизации. За одним столом могут встретиться генеральный прокурор и министр внутренних дел, президент Академии наук и председатель Госплана. В этих домах на ужинах при свечах завершает свой оборот спираль разделения труда в управлении советской Россией. Здесь синтезируется то, что впоследствии расходится по каналам власти: постановления, резолюции ЦК КПСС оговариваются, осмысливаются, анализируются в клубах и лишь затем направляются в массы, принимая формы политического курса. Разумеется, все это происходит не столь упрощенно, как может показаться из нашего описания — схемы общественной жизни приблизительны. Не каждый посетитель такого дома — обязательно политический лидер. Но все вместе они образуют узел решающего влияния и центр тяжести власти в стране. Этот сильный и в высшей степени влиятельный круг людей, разумеется, не всегда собирается вместе и не постоянен. Внутри каждого клуба сложная и замысловатая иерархия. Посетители разбиты на небольшие группы, клики.

Бывают в этих группах и политические деятели, вышедшие в тираж. Но они составляют всего лишь фон, наподобие хора в древнегреческом театре, для влиятельных и сильных плутократов. Клубы выполняют строго определенный социальный заказ: 1) принадлежность к ним указывает, в чьих руках сегодня сосредоточена власть в стране и на какой ступеньке власти кто находится; 2) там выявляются и выверяются определенные позиции — кого поддержать, к кому примкнуть, набрасывается сценарий очередной политической интриги.

Достаточно выписать имена постоянных посетителей этих домов, чтобы узнать, кто в современной России приводит в движение рычаги власти. Правда, случается и такое, что здесь оказываются и необычные визитеры, которым по формальному статусу быть не положено: начальники цехов, заведующие отделами кадров,

руководители кооперативных артелей. Держатся они неуверенно, пьют мало, немногословны. Верный признак, что заключена выгодная сделка — и растроганный партократ в благодарность пригласил служилого человека. И еще: очень часто встречаются в клубах делающие карьеру честолюбивые балерины, мечтающие о большой сцене певицы и просто женщины, единственное достоинство которых — молодость и красота. Путь к успеху лежит через эти клубы. Все начинается с робких выступлений — сольного пения, художественного чтения, затем — уединенные дачи, а далее приходят награды и признание.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Партократия в СССР достигла весьма почтенного предпенсионного возраста — 60 лет. Но рядовой советский гражданин немного знает о ее социальном происхождении. Загадка вот-вот должна была раскрыться в результате основательно задуманного АН СССР социологического исследования под претенциозным названием „Характер и образ жизни партийного работника”. Но не успело обследование начаться в мае 1971 года — только-только были собраны первые материалы и сделаны первоначальные выводы, — как в декабре пришло указание: проект закрыть, людей переместить, материалы сдать в архив. И все же некоторые выводы, весьма неполные и неокончательные, я попытаюсь обобщить. Опрошено было 18720 партийных чиновников, вступивших на сцену политической жизни до и после второй мировой войны.

Из довольно-таки многочисленной группы молодых партократов у 44% родители были служащие, у 22% — инженеры и экономисты, у 7% — крестьяне.

Эти показатели существенно расходятся с цифрами социального происхождения партократов, начавших карьеру в 20-30 годах: 12% происходили из крестьян-

ских семей, 49% — рабочих, 26% — служащих, 9% — военных, ни одного процента из среды интеллигенции. Изменился за эти годы (30-40 лет) и образовательный уровень партийного функционера. В 1922 году партийные работники, получившие высшее образование, составляли 2,7%, спустя 50 лет — 87%. Процент партийных чиновников, имеющих высшее образование тем выше, чем ниже официальный статус работника: среди секретарей обкомов имеют высшее образование 64%, секретарей горкомов 79%, секретарей райкомов 84%, 92% всех инструкторов и инспекторов горкомов и райкомов имеют высшее образование. Следовательно, правомерен вывод, что высшее образование — условие и предпосылка партийной карьеры. Однако имеет ценность не всякое образование, а специализированное, получаемое в партийных и высших партийных школах или же в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Из 18 тысяч опрошенных партийных работников 79% получили образование в этих учебных заведениях, куда принимаются только по рекомендации городских и областных партийных организаций. Отсюда становится понятным, почему на долю сыновей высших должностных лиц, высокопоставленных инженеров, ответственных работников министерств приходится 66% партийных работников, хотя и выходцы из низших социальных пластов — рабочие и крестьяне — время от времени приобщаются к партийной карьере. Но для них получение обкомовских рекомендаций для обучения в партийных школах более проблематично.

Стало быть, будущими руководителями скорее становятся люди, принадлежащие к этому кругу от рождения. Типичный начинающий партийный работник ЦК КПСС 70-х годов — это человек 35-40 лет, окончивший вуз, проработавший несколько лет в комсомоле (40%) или же на профсоюзной работе (25%), затем прослушавший курс высшей партийной школы (70%) или Академии общественных наук (12%) и на-

конец осевший в партийном аппарате. Здесь в течение десятка лет он начинает расти от инструктора к инспектору, от инспектора к заведующему сектором. Если к 50 годам он дотянется до заместителя заведующего отделом, то рост продолжается. Зигзаги карьеры многочисленны: в самом аппарате ЦК или в обкомах и крайкомах. Тем, кому перевалило за 50 лет и кто не укрепился достаточно прочно на партийной работе, предлагают перебраться в сферу промышленности, сельского хозяйства, науки.

Было замечено, что образование — важный атрибут партийной карьеры. Но было бы преждевременно делать вывод, что чем выше и совершеннее образование, чем оно основательнее и глубже, тем быстрее партократы достигают вершин партийной карьеры. Окончание вуза — обязательно. Все, что над вузом, — излишне и мешает партийной карьере. Выпускники университетов достигают вершин в карьере через 28 лет, а те, кто добился ученых степеней, в 82 случаях из 100 заканчивают партийную карьеру по получении звания доцента или профессора. В лучшем случае кандидаты и доктора наук поднимались до лекторов и советников ЦК.

43% работников аппарата ЦК КПСС начинали свою карьеру с инструкторов горкома, 37% были взяты из обкомов партии, 12% выдвинуты из сферы промышленности и сельского хозяйства. Немаловажное значение имели родственные связи: у 39% работников ЦК КПСС близкие родственники — ответственные сотрудники Министерства обороны, Комитета государственной безопасности, Министерства внешней торговли и Министерства иностранных дел. Получается весьма примечательная картина. Дети партийных работников от партийной карьеры отталкиваются, а отпрыски чиновников госаппарата — напротив — к партийному поприщу стремятся.

Пробившиеся в ряды элиты благодаря собственным силам более подвижны, инициативны, динамичны,

более действенны в функциональном смысле — способны выполнять различную работу и занимать разнообразные посты. Выходцы из высокопоставленных семей пассивны, что, однако, не мешает им быстро продвигаться по службе.

В отчаянных попытках создать хоть какие-то ценности советская пропаганда, манипулируя статистикой, пытается внушить обывателю представления, что хорошее воспитание и основательная культура открывают путь к независимой и обеспеченной жизни. Это утверждение теряет смысл, когда мы говорим о партократах. Здесь тактичность, вежливость, обязательность, предупредительность — серьезная помеха для тех, кто стремится преуспеть. Культура всегда связана с опасностью появления у человека щепетильности. И эта щепетильность, если ее тщательно и изошренно не скрывают, — пагубный недостаток в партийной жизни. Человеку, привыкшему к тактичности и корректности, невозможно преуспеть в мире партийной работы, где действует относительная правда и безусловная ложь. Культурный человек оказывается в этих условиях явно не в выигрыше в сравнении с хамом, которому не надо тратить душевных сил, чтобы приспособиться. Приспособленчество — суть плебея.

К политической карьере стремятся люди, не склонные к систематизированному, последовательному труду. Кадры правящей элиты на всех уровнях рекрутируются из дилетантов — дипломы и аттестаты не более чем прикрытие невежества. Это неудавшиеся инженеры, бесталанные журналисты, незаконченные ученые. И дело здесь не только в некачественности самого человеческого материала, который поднимается до уровня партократии, но в структуре самого процесса восхождения партократии, которая раскрывает двери только тогда и только перед теми, кто склонен поступиться профессионализмом во имя партийности. Этот процесс проявляется от движения личности уже на

уровне комсомольской работы. Конечно, может случиться и так, что секретарем первичной комсомольской или партийной организации окажется в общем-то неплохой специалист. Но суть проблемы именно в том, что если он склоняется к партийной карьере, его тотчас же освобождают от обязанностей специалиста — он становится освобожденным партийным секретарем.

И отныне все его внимание и вся его активность вращаются вокруг одного и того же стержня — лозунгов, призывов. Он должен быть в состоянии болезненной активности, к чему-то постоянно звать, за что-то неизменно бороться и ратовать, в чем-то убеждать и много-много говорить, переполаскивая одно и то же дерьмо — передовицы газет, правительственные постановления, партийные инструкции.

И уж где этому человеку, загнанному в текучку, бегущему с одного совещания на другое, заботиться о повышении своего профессионального уровня! Дальше — хуже: специалист деквалифицируется. И вот уж он ухватывается за партийную работу как за необходимое, как за единственную возможность, опираясь на которую он может держаться на поверхности. Если же он сорвется, путь назад в производство, в науку мучительный и, как правило, трагичный. Он почти все позабыл, перебираясь с одной ступеньки партийной карьеры на другую. Принцип, таким образом, — не сорваться. Затем приходит понимание, что для этого важно не высовываться, то есть не проявлять самостоятельность суждений, жертвовать принципами во имя директив, убеждениями — из-за циркуляров. Многое из того, что составляет суть и цену человеческой личности, теряется и забывается по пути к партийной карьере.

Но образующаяся в человеческой личности пустота должна быть чем-то заполнена: и партийный функционер ищет удовлетворения своего тщеславия в одном-единственном, что ему еще доступно — в партийной карьере. Этому приносятся в жертву остатки чести

и последние частицы честности. И когда человек наконец поднимается до такого уровня, на котором принимаются решения, уровня, определяющего жизнедеятельность других, оказывается: человек зачерствел в своем эгоцентризме. Он уже не в состоянии правильно воспринять и верно оценить все то, что находится вне круга его устремлений. Его ум почти полностью занят интригами, борьбой за иллюзорное равновесие подчинения и подавления, на котором он вынужден балансировать, находясь на вершинах пирамиды власти. Это заполняет его ум и совесть. А поскольку продукты питания и прочие вещи он получает из особых распределителей, то и о материальном уровне жизни простого человека он знает только по полузабытым представлениям прошлого или же по лицемерным заявлениям газет. Если же вдруг в его жизнь врывается подлинная информация, он стремится ее изгнать как можно быстрее и решительнее, так как это может, не дай Бог, привести к шевелению чего-то человеческого в душе, что чрезвычайно опасно в системе тех переменных, в которых вращается партийный работник. Вот почему не следует уповать на пробуждение или возрождение личности в этих людях. Апелляция к добру, справедливости, ссылки на народные страдания, даже на национальные интересы — не действуют. Для партократа, отвыкшего самостоятельно мыслить, эти понятия наполнены иным содержанием: иррациональным, марксистско-ленинским.

Однако совсем не исключено, что тот или иной политический деятель вдруг захочет реставрировать общечеловеческие ценности в угоду карьеристским интересам — в борьбе за власть. Как это было, например, во время событий Пражской весны. Мотивацией большинства чешских партийных функционеров была власть, их беспокоило наличие широких возможностей действия у Новотного и отсутствие этих возможностей у них. Именно утратой многих человеческих достоинств

определялось поведение Дубчека — непоследовательность, нерешительность. И будет определяться деятельность неодубчеков в будущем. Хотя всегда необходимо принимать во внимание давление народных масс (а в массах этих никогда не теряются и не утрачиваются общечеловеческие нравственные понятия) на партократов. Характер этого давления на политических руководителей и особенно его сила могут определить те или иные шаги государственных чиновников в периоды кризисов и социальных катаклизмов. Но дубчеки и неодубчеки могут двигаться вперед к общественному прогрессу, к реформам радикальной реорганизации общества только как балласт, потому что, духовно ущемленные опытом и традицией партийной жизни, они могут создавать только ущербное. Поэтому истинная революция может от них оттолкнуться, какое-то время на них опереться, а потом — это главное условие — их решительно отбросить.

Вот почему на Западе безответно повисают вопросы: как это может быть, что на уровне высшей власти (ЦК, Политбюро, Совета Министров) не понимают то, что в общем-то известно каждому: что тоталитаризм антинационален, антинароден, античеловечен. Как это может быть, — вопрошают на Западе, — что как будто мыслящие люди: секретари ЦК, министры, генералы — не видят необходимости реформ? Ведь они не могут не любить свой народ, не могут не думать о будущем! Здесь не одна — три ошибки. Первая — селекция партийная не выводит на олигархическую орбиту умных людей. Вторая — эти люди недообразованы, они воспринимают действительность неполно, частично. Третья — чувств там нет, в том числе и любви к народу. Есть только разговоры о чувствах, и то — о собственных. А если все же случается пробиться слабым росткам совести — они срезаются страхом и наказанием. Это проявляется во всех углах трапеции власти. Разумеется, в каждом углу — своеобразно.

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ ПАРТОКРАТА

Страх сделать неверный шаг, совершить оплошность преследует партийных функционеров постоянно и повсеместно. И чтобы не утратить внутреннее равновесие, партократу необходимо внешнее подтверждение его исключительности. Колоссальная зарплата, многообразные привилегии недостаточны: их не выставишь напоказ, не заявишь о них во всеуслышание. Необходимы внешние символы, и советская власть любезно их ему предоставляет.

Распределение символов занимаемого положения решается в полном соответствии с фактическим значением занимаемого поста. Так, положение заведующего отделом ЦК уступает по своему значению положению помощника первого секретаря, хотя помощник, в отличие от заведующего отделом, не является депутатом Верховного Совета или членом ЦК. Секретарь ЦК, ведающий кадрами или опекающий армию, — деятель значительно более высокого ранга, чем секретарь по науке. Так что важность партийной персоны невозможно определить, лишь руководствуясь уставом партии. Здесь нужны иные критерии. Я предлагаю — „критерий кабинета”.

Значимость партийного работника полнее всего определяется характером и размерами его апартаментов. Все прочие признаки — второстепенны. Совершенно очевидно, что великолепный лимузин „Чайка”, содержание которого обходится в год в 10 тысяч рублей, ни коим образом не может быть предоставлен в распоряжение обладателя маленького кабинета и того, в чьем кабинете нет правительственного телефона. Что же касается автомашины ЗИС с пуленепробиваемыми стеклами, то в ней ездит хозяин кабинета площадью по крайней мере в танцевальный зал, в котором обязательно должен быть установлен телефон высокочастотной связи — ВЧ.

Партийные работники менее значительные — инспектора ЦК — отличаются отсутствием в их кабинетах ковров и штор на окнах: их заменяют нейлоновые занавески или жалюзи. Партийным работникам просто значительным — зав. секторами ЦК — полагается ковер во весь кабинет, портьеры бархатные до подоконника, телевизор. Партийные работники очень значительные располагают коврами только ручной работы, пользуются письменным столом из красного дерева, который свидетельствует о более высоком положении его хозяина, нежели стол из орехового дерева, который, в свою очередь, указывает на более солидный ранг работающего за ним, чем дубовый или металлический стол.

Антикварная мебель — верный признак, что ее обладатель — не менее, чем секретарь ЦК.

К кабинету с ковром ручной работы, то есть чиновнику очень значительному, полагается дополнительная комната отдыха — с ванной и индивидуальным туалетом. Атрибуты генерального секретаря — это государственная тайна. Однако, по рассказам очевидцев — бывалых людей, — можно представить, что к его кабинету примыкают подсобные комнаты с дежурными врачами, телохранителями и экспертами, дегустирующими пищу, — не дай Бог, чтобы не подсыпали яду. Но главное достоинство генерального секретаря — это длина его кабинета: 18 метров. Пока посетитель приближается к генеральному секретарю, его пробивает не один пот, обуревают не одно сомнение. А генеральный секретарь может не только разглядеть вызванного на доклад, но даже продумать соответствующую речь.

Следует иметь в виду, что знаки-символы иногда, к сожалению, используются не по назначению. Секретарь Насиминского райкома города Баку Мамедов отдал свой служебный кабинет панелями из тикового дерева, что допускается только в служебных хоромаш секретаря горкома. А секретарь Бакинского городского комитета партии Насруллаев развесил в туалет-

ных комнатах картины художника Абдуллаева и расположил полки с книгами.

Неправомерное использование знаков отличия — ненужный снобизм. К тому же это обостряет антагонизм внутри партийного аппарата: неопытный посетитель подчас не знает, к кому его вызвали — к первому секретарю, просто секретарю или к помощнику секретаря. Вот почему символы высокого положения в СССР предписываются только свыше, хотя всегда существует опасность, что иной зарвавшийся партийный бюрократ переступит через ограничение, приобретет слишком дорогую служебную обстановку — предусмотрен по реестру румынский кабинет, а он купит финский. Или велит вдруг в персональном туалете поставить мраморный умывальник. Очевидно, такое происходит с теми деятелями, у которых самоуважение опережает статус.

Но чтобы у партократии не возникло никакого сомнения в собственной ценности, значимости, необходимости, в соответствии занимаемой должности, партия одаряет своих слуг высокими знаками государственного и общественного отличия.

На уровне райкома: инструктор непременно депутат районного совета депутатов трудящихся, зав. отделом — уже депутат горсовета, а секретарь — депутат областного совета. Но самым желанным было и остается депутатство в Верховном Совете. И суть дела здесь, конечно, не в убогих грошах — 50-100 рублям в месяц, которые причитаются депутатам Верховного Совета республики и Союза (партийный работник даже районного масштаба никогда не унижится до такой мизерной суммы), — а в том, что искомое депутатство предполагает такой чрезвычайно ценный символ, как красный флажок на бортике пиджака, который выставляется напоказ на зависть тем, кто такого флажка не имеет. Суть этой зависти будет понята, если мы разъясним, что медный флажок с красной эмалью дает право пов-

сюду проходить вне очереди. Разумеется, ни один партийный работник и так в очередях не стоит, но подумайте, как много значит иметь в СССР юридическое право, надменно расталкивая серую массу трудящихся, заявить: „Простите, товарищ, мне положено”. И снисходительно выставив грудь с флажком, пройти вне очереди. Реакция чисто советская: окружающие расступаются — положено. К несчастью, однако, в 1972 году чуть не была обесценена ценность депутатских флажков. Флажками, правда, несколько другой формы, стали одаривать всех депутатов — краевых, областных, городских, районных и даже сельских. Но вот прошло небольшое время, и население разобралось: где флажок — только флажок, а где флажок с правами.

По должности в депутатах Верховного Совета всего Союза положено быть секретарям горкома и заведующим отделами ЦК. Но известно: есть различия в важности секретарей: секретарь горкома областного города — это одно, секретарь столичного — совершенно другое. И в тех случаях, где для выявления этого столь важного различия недостаточно депутатство в Верховном Совете, вступает иерархическое деление по другой шкале — партийной: кандидат в члены ЦК, член ЦК, кандидат в члены бюро ЦК, член бюро ЦК. Селекция чрезвычайно жесткая и всегда в точном соответствии с исполняемой должностью. Одним секретарям горкома положено быть членами республиканского ЦК (город с населением до миллиона), для других допускается членство в ЦК КПСС.

На самом высоком уровне добавляется еще одна градация — участие в многочисленных комиссиях Верховного Совета. В СССР общество распадается на прослойки, как хороший датский бекон. И каждая прослойка есть функция должности: 98% членов ЦК КПСС представлены в этом высоком партийном форуме только потому, что членство в нем определяется характером выполняемой работы.

Советское общество организовано по типу военных учреждений — в нем существует обязательная субординация: кооптация в Верховные Советы осуществляется по тем же принципам — в нем представлены не посланники народа, а многообразный спектр партийно-административного аппарата. Но Верховный Совет — более представительная организация, чем ЦК, а поэтому он дополнительно используется как декорум пролетарской демократии. Там отсчитан определенный процент рабочих, требуемое количество колхозников, немножко рассыпана и интеллигенция и женщины — скромные труженицы социалистического строительства. Но это не компетентная публика — статисты, проходящие через депутатский срок без следа и без влияния. Все решения там принимаются только теми, кому положено быть в Верховном Совете по должности. Назначение прочих — в нужный момент, голосуя, поднимать и опускать руки.

Множество избирателей в СССР — вообще не голосует из-за безразличия и апатии, из-за унижения и беззакония, а главное — потому что выборы в СССР фальсификация, и после них все остается неизменным.

Отчуждение в СССР столь основательно, что человек, лишаясь внешних атрибутов своего существования, должности или общественного положения, полностью распадается как индивидуальность. Его не спасают ни ум, ни квалификация, ибо в СССР ценность личности есть функция той только роли, которая ему предписывается государством. И одаривая человека символами, государство проектирует необходимый и желанный ему стереотип поведения самой личности и ее восприятия в глазах окружающих. Причем этот процесс зашел столь далеко, столь основательно завладел человеком, что он, даже не осознавая этого, постоянно нуждается во внешних факторах, подтверждающих его бытие. И люди, тысячу раз обманутые государством, тянутся к орденам, званиям, каждый по-свое-

му, но в строгом соответствии с правилами социалистической игры. При прочих равных условиях гражданин с орденом социально весит больше, чем гражданин без ордена, даже если последний — гений, а первый — дурак. Знакомания не оставляет равнодушными ни министров, ни секретарей ЦК. Самый серьезный конфликт между Брежневым и Косыгиным вспыхнул тогда, когда председателю Совета Министров в день 65-летия не захотели дать Героя Советского Союза. Брежнев — уже трижды герой. И если ему отпущено жить еще десяток лет, потянется он еще не к одной звезде героя.

Значительность советского чиновника определяется и тем периодом времени, в течение которого он пользуется известной самостоятельностью, не обращаясь за руководящими указаниями к вышестоящему лицу. Например, зав. отделом районного комитета партии должен отчитываться перед секретарем райкома раз в месяц, секретарь райкома вызывается на доклад к секретарю горкома раз в три месяца, секретарь горкома предстает перед взыскательным оком областного секретаря, как правило, раз в полгода. Все те, кто отчитывается ежедневно или еженедельно, пользуются почтением в государственном партийном аппарате меньшим, а статус их, естественно, в иерархии ниже. Работающие под постоянным надзором и контролем находятся на самом дне аппарата. И наконец, важный символ руководящего положения — число секретарей, помощников, советников. У Сталина их было 39, у Хрущева — он оценивал свою персону, видимо, скромнее — 27, а вот уже у Брежнева — 51. Так проявляется действие известного в марксизме закона развития через отрицание отрицания.

О российской государственности

От редакции:

Введение нового раздела в журнале — дело всегда очень ответственное и обязывающее. Почему мы обратились именно к теме российской государственности? Уже ни у кого не вызывает сомнений необходимость в достаточно, насколько это возможно, объективном освещении русской истории. Эта работа всегда велась российской интеллигенцией, особенно интенсивно — на рубеже прошлого и нынешнего веков. С октября 1917-го года страна постепенно стала приводиться в состояние, как теперь принято выражаться, исторического беспамятства, пока вдруг не зазвучали сравнительно недавно новые голоса, не проснулась вдруг „тоска по истории”. В настоящее время эти голоса слились в целое море, имеющее и свои подводные течения, и рифы. Течений и концепций немало, но у большинства из них есть одно общее свойство. Они интеллектуально, духовно безвыходны, потому что чаще всего создатели концепций, исходя из — в основе своей святого — осознания своей Вины, незаметно для самих себя приходят к сублимации этого чувства вины в историю (по Далю, одно из первых значений понятия сублимации: возгонять огнем). Именно отсюда — одна из наиболее распространенных сегодня концепций русской истории: Россия получила большевизм как логическое завершение своей тысячелетней истории, она к этому шла, была к нему готова и приняла. Эта концепция, быть может, и выработанная новыми авторами самостоятельно, на самом деле уже пройдена русской философской мыслью, пережита ею. Сколь бы соблазнительна и проста подобная концепция ни была, она, замыкаясь в самой себе, самоуглубляясь, ведет к фатализму и закомплексованности. Осознать Вину надо, но бесконечно пребывать, по выражению одного из древних, „в состоянии собственной гнусности” невозможно.

Мы не ставим себе столь огромной задачи, как пересмотр тысячелетней истории огромной страны. Это не под силу одному журналу. Если на „пересмотр” по-советски нашей истории ушло уже 60 лет, то на объективный анализ уйдет намного больше времени. Равно как не задаемся ни прямой, ни косвенной целью опровергать существующие или традиционные теории и концепции. В их борьбе еще родится истина.

Мы же хотим подойти к нашей истории с несколько других позиций и с другими целями. У России трудная, многостра-

дальная, наполненная национальными грехами история, она прошла через войны, истребления, крепостничество, подавленность, смиренность, которая внешне очень похожа и многими принимается за рабскость... Но что бы ни происходило на верхах власти, как бы ни оборачивалась история, люди жили, думали, работали. Что-то шло сверху, что-то давило снизу, перемешивались люди и мнения, идеи и дела, не раз шедшие вразрез друг другу. И как ни смотреть на эту жизнь, нельзя не признать, что до 1917-го шла Россия медленно и трудно, с падениями, но и со взлетами же тоже, с застоями или резкими скачками, но шла — по восходящей. Значит, где-то был заложен в ней источник способности к восхождению; значит, были в ней не только недобрые и безответственные правители, не только темная забитая масса рабов или столь же безответственный, как и правители, только на свой лад, русский образованный слой, и противостояла всей этой огромной махине не только сильная и святая русская мысль — нет, значит были в России еще и делатели.

Вот с этих позиций нас и интересует русская история. Конкретно говоря: если был в России правый Суд, то что и как он делал; если предпринимались реформы, то как они осуществлялись или как государственно думающие люди предполагали их проводить, — даже если сами реформы вводились недостаточно смело и разумно, а то и замирали под давлением обстоятельств; если был у русского учителя общественный авторитет, то на чем он зиждился; и так далее, насколько это возможно...

В нашем журнале за тридцать лет его существования не единожды появлялись статьи, которые тоже органически подходят под новую тему. Работы о Столыпине и его реформе, об А.В.Кривошеине, статьи о проф. Тотомианце и кооперативном движении и другие — как обзорные, так и аналитические. Тем не менее, таких материалов было сравнительно немного; если иметь в виду важность тематики, появлялись они нерегулярно и как бы терялись в общем потоке публицистики. Закрепление нового раздела в журнале, думается, даст возможность сосредоточиться на теме российской государственности.

Наша позиция ни в коей мере не означает ни тайного, ни явного намерения на каждый отрицательный факт нашей истории непременно находить соответствующий ему положительный факт — в таком противоположении факты не опровергают друг друга, они просто соседствуют. Мы не знаем, сколь богатой окажется копилка российской государственности. Априорно для нас ясно, во-первых, что она не пуста, а во-вторых, мы убеждены, что в ней сокрыт один из источников нашей силы, силы созидания.

Мы выражаем глубокую надежду, что этот наш шаг приведет к встречному пониманию, отклику не только со стороны наших читателей и авторов здесь, но — и это самое главное — оттуда, из России. Тем более, что именно оттуда пришли к нам сюда голоса и настоятельные просьбы о нахождении и созидательных корней в нашей истории. Так что этот наш шаг — уже встречный. Понимание и отклик могут выразиться в присылке материалов — как документальных и библиографических, так и оригинальных, собственных работ, рефератов; в советах и пожеланиях.

Пока мы начинаем с публикаций работ, написанных уже давно, ставших библиографическими редкостями и давно не переиздававшихся. На первых порах публикации не будут носить дискуссионного характера. Естественно, что многое в таких работах в настоящее время утратило свою остроту или значение. Здесь наша цель — показать наличие государственного мышления, способность русской общественно-социальной мысли работать в созидательном направлении и выражаться в делах, а не только в разрушении.

* * *

Ниже мы представляем читательскому вниманию в очень сокращенном виде статью активного работника партии социалистов-революционеров Бориса Федоровича Соколова.

Б.Соколов, как он сам о себе сказал, принадлежал в партии к числу исполнителей, а не руководителей. Он был в числе тех, кого партия направляла для работы с массами, „в народ”.

Нам удалось собрать совсем мало сведений биографического порядка об этом человеке. До революции Б.Соколов несколько лет работал в рабочих кооперативах, в частности, Франко-Русского завода в Петрограде. Почти весь 1917-й год он провел на фронте (Особая армия Юго-Западного фронта). С конца ноября того же года, будучи военным депутатом эсеровской партии в Учредительное Собрание⁺, находился в Петрограде, где всецело посвятил себя делу организации защиты Учредительного Собрания, то есть принимал участие во всех мероприятиях своей партии, которые предпринимались с целью помешать большевикам посягнуть на Учредительное Собрание. Был членом Военной комиссии фракции социалистов-револю-

⁺Перепечатывая статью Б.Ф.Соколова, мы сохраняем принятое в те времена написание таких названий, как „Учредительное Собрание”, „Временное Правительство”, „Советы” и т.п. — Р е д .

ционеров. Оставался в Петрограде вплоть до разгона большевиками первого законно избранного в ходе свободных выборов народного представительства. Видимо, довольно скоро после этого был арестован большевиками и до 1920-го года находился в тюрьме. Позже оказался в эмиграции, где и написана данная статья „Защита Учредительного Собрания“, вошедшая в 13-й том издававшегося И.В.Гессеном „Архива Русской Революции“.

Эта большая работа Б.Соколова интересна и важна именно тем, что автор ее был человеком, всегда находившимся в самой гуще рабочих или солдатских масс. Он слышал голоса, мнения, видел действия, поступки — массовые и индивидуальные, — наблюдал непосредственную реакцию солдат на происходящее. Статья полна множеством вопросов к руководителям своей партии, к революционной интеллигенции. Б.Соколов видел то, что видел, и потому вправе был задаваться главным для него вопросом — почему всего этого не видели, подчас не хотели видеть, не учитывали те, кому самой историей была вложена в руки судьба огромной страны.

По оценкам некоторых известных политических деятелей, Б.Соколов несколько излишне пристрастен, когда говорит о надеждах на военное сопротивление большевикам, на организацию армейской защиты Учредительного Собрания, но, тем не менее, лежащее в основе такой пристрастности чувство реальности уберегло Б.Соколова от непомерных претензий. Так, один из виднейших руководителей эсеровской партии В.М.Зензинов⁺, также отмечая взрывчатую пристрастность Б.Соколова в этой работе, высоко оценил ее с точки зрения информативной насыщенности, социологического анализа всей совокупности фактов, проницательности.

* См. примечания в кн.: Oliver H. Radkey «The Sickle under the Hammer. The Russian Socialist Revolutionaries in the Early Months of Soviet Rule». Ed. Columbia University Press, 1963, N.Y.—London.

Защита Всероссийского Учредительного Собрания

В оценке происходящих за последние годы событий российских, в определении величины и значения движущих сил я в значительной мере не могу солидаризироваться с существующими на эти события взглядами. Ибо положение, неоспоримое для меня в жизненных процессах, в биологии, что в борьбе за существование победа остается за носителями наибольшей *activite vitale*, — это положение я распространяю и на процессы исторические. Разве политические партии и группировки наиболее активные не являются чаще всего и наиболее влиятельными? Разве не элементарная истина — так мне по крайней мере казалось и кажется, — что первейшей и неотложнейшей задачей руководителей всякой политической партии является сохранение и увеличение динамической энергии последней, охрана ее активности?

И, однако, эта, казалось, элементарная истина всегда считалась и считается весьма необязательной для большинства русских политических партий. Хорошо разработанная программа, тщательно отшлифованные резолюции и многое другое считается неизмеримо важнее партийной активности. Отсутствие политической гибкости, отсутствие реализма в политике, того честного политического реализма, который отстаивает в Чехословакии группа Масарика и которого совершенно не было у русских политических партий, стоявших у власти последние годы российской жизни.

И, вероятно, именно поэтому в тактике этих пар-

тий замечалась известная нерешительность, неуверенность, именно в моменты, особенно острые, требовавшие действий активных и смелых. Вместо них мы чаще всего слышали и „да” и „нет”, обрекавшие нас, исполнителей, а не руководителей, на бездействие, нейтралитет, выжидание, одним словом, на пассивность, вредную по своим последствиям и разрушающую иногда настроения крепкие и целостные.

Эта ирреальность наших политических партий и, скажем прямо, лидеров, руководителей этих последних, особенно проявилась в жестокие дни российского кризиса. В дни, когда была поставлена на карту идея, выношенная поколениями русской интеллигенции, идея о Всероссийском Учредительном Собрании, о Все-народном Собрании, и когда эту идею пришлось отстаивать, защищать перед натиском большевиков.

Для меня разгон Учредительного Собрания, неудача в его защите, представляется фактом гораздо более крупным и значительным, чем это принято считать в известных политических кругах. И не только потому, что вслед за октябрьским переворотом и 5-м января пришло торжество большевиков, разрушение российского государства, гибель миллионов русского народа — не только потому! Для меня кажется истиной неопровержимой, что неумение защитить Учредительное Собрание знаменовало собой глубочайший кризис русской демократии. Это был поворотный пункт. После 5-го января для прежней, идеалистически настроенной российской интеллигенции не стало места в истории, в русской истории. Ей принадлежало прошлое.

Существует мнение, далеко не обоснованное, что Россию и „русскую революцию” погубил фронт, погубило то обстоятельство, что произошло разложение воинских фронтовых частей, каковой факт и послужил причиной многочисленных последующих печальных со-

бытий. Мне, который провел почти весь 1917 год на фронте, кажется это мнение неправильным и заслуживающим опровержения. В той общей дезинтеграции, которая охватила разнообразнейшие слои России, наиболее здоровым, — так мне казалось и так мне кажется, — был все-таки фронт. И то разложение, то его распадение, которое постепенно и с различной силой в различных его частях охватывало его, — было только отголоском событий, происходивших внутри страны.

По существу большинство воинских фронтовых частей было не только чуждо, но и враждебно большевизму, большевистским тенденциям и большевистской программе. И это — несмотря на то, что последние были, казалось, созданы в соответствии с затаенным желанием и инстинктом солдатских масс. И, однако, несмотря на многочисленные печальные события на фронте, можно было наблюдать даже после большевистского переворота во фронтовых частях своеобразное, плохо оформленное „чувство долга“, и это — наряду с вакханалией безудержной и ничем не прикрытой тыловой разнузданности тылового „все позволено“.

Солдаты не хотели воевать — это был факт неоспоримый. Солдаты не хотели наступать — можно ли против этого возражать? И, однако, как в сущности редки были случаи, когда солдаты „втыкали штык в землю“ и, бросая позиции, открывали фронт!

Что им мешало это делать? — я говорю об октябрь-ноябре 1917 года. Никакой власти над ними уже не было. Никакого карательного аппарата не существовало, и все же даже в эти дни на призывы безответственных демагогов бросить фронт и идти по домам солдаты, далеко не в меньшей своей части, упрямо возражали: „А как же фронт, а как же позиции?“.

Некоторые стороны фронтовой жизни этого периода заслуживают своего освещения и описания и, может быть, помогут опровергнуть легенды о том, что фронт погубил Россию.

„Идеализм погубил русскую революцию, идеализм русской демократии, идеализм революционных российских деятелей” — это мнение чешского президента Масарика особенно правильным оказывалось в отношении фронта.

Солдатская масса, составленная на 99% из крестьян, неграмотных или полуграмотных, уставших от войны, тоскующих по семье и по родным местам, не знающих элементарных политических истин и обладающих лишь одним качеством, помогающим им разбираться в происходящих событиях, — здравым смыслом. Офицерство — также утомленное войной, лишенное зачастую необходимой выдержки, недовольное тылом и штабами, живущее отличной от солдатских масс жизнью и настроениями.

Наконец, генералитет, не желающий принять ничего нового, борющийся всеми допустимыми и недопустимыми мерами за свои привилегии, — тупой и ограниченный.

И к такой оторванной от всего мира массе людей, разбросанной по окопам, деревушкам, полуразрушенным и грязным, месяцами ютящейся в неудобных, наскоро сколоченных блиндажах, массе, которая жила тяжелыми ежедневными настроениями „быть или не быть”, „жить или не жить”, „сегодня-завтра”, к этой массе приезжали революционные представители из центра, из тыла, — и большего взаимного непонимания, чем то, что существовало между этими двумя сторонами, трудно было себе представить.

Возбужденные революционными настроениями столицы, настроениями радостными и глубокими, преисполненные веры в свои лозунги, со словами „власть — народу”, „народ — господин”, с тенденцией идеализировать этот народ — они приезжали на фронт... Как говорили они с солдатской массой? Летопись Особой Армии (Юго-Западного фронта), близко мне знакомая, полна многочисленных образцов взаимного непо-

нимания идеалистически настроенных революционных представителей и усталой, замкнутой в себе, солдатской и офицерской массы. Эта масса расценивалась приезжающими как конгломерат политически зрелых людей, сознательных граждан российской республики, с которыми достаточно говорить *прежде всего об их правах и меньше всего об их обязанностях, вытекающих неумолимо из их прав*. Положение усугублялось тем, что приезжавшие были весьма не чужды столь характерного для русской интеллигенции качества — веры в лозунги, в то, что сказанное равносильно сделанному...

„Мы ничего не понимаем, — говорили солдаты в этот первый период российской революции. — Говорят, что мы все равны, а офицеры, небось, получают во много раз больше нас жалованья. Ихний паек и наш паек разве можно сравнить? Посмотрите, как живут наши генералы. А из деревни пишут, что там по-прежнему помещики, пишут, чтобы мы скорее приезжали”. И, как результат непонимания, росли нелепые требования, нарушавшие весь строй фронтовой жизни. Когда эти желания встречали отпор со стороны революционных представителей, находящихся наверху, это порождало волну недоверия. На этот раз направленную уже против революционной демократии, против интеллигенции вообще.

Одна черта, одно качество поражало меня в русском солдате. Черта, впрочем, свойственная и вообще русскому человеку. Это удивительнейшая его пассивность. Пассивность каждого взятого в отдельности и, особенно, пассивность массы, толпы. Вероятно, ни в одном другом европейском народе пассивность масс не является столь сильно выраженной. Множество примеров, множество отдельных фактов, подтверждающих это положение, вынес я из фронтовой жизни.

Вот — Режица — большой прифронтовой центр, в котором скапливалось до несколько десятков тысяч

солдат. Сюда отводились резервные части, здесь стояли обозы, лазареты, были этапы. В мае-июне 17 года начинают говорить о Режице как о центре большевистского движения, в полках брожение, ежедневные митинги в полуразрушенной кирхе, вмещающей тысячи посетителей, выносятся резолюции с требованием немедленно мира и т.д. ...

В чем дело? Оказывается, в Режице появился некий капитан Лебединский, хороший оратор, несомненный карьерист и совершенно беспринципный человек. Объявляя себя беспартийным, не защищая никакой определенной программы, он говорил то, что нравилось солдатским массам, что вызывало их бурный восторг. Все митинги, все собрания происходили при неизменном одобрении всех резолюций, предлагаемых Лебединским.

Начальство беспокоится, приезжают комиссары... Но вот Лебединский уезжает в Киев. На смену ему приезжает доктор Х., ярый оборонец, опытный агитатор, весьма активный человек. И через месяц Режицы нельзя было узнать. Режица становится центром патриотически настроенных солдатских масс, гнездом „контрреволюции”, Режицкий совет делается послушным орудием в руках доктора Х., и не только выносятся соответствующие резолюции, но и принимаются весьма решительные меры против тех, кого считают большевиками, кто защищает так называемые большевистские тенденции, большевистские лозунги. Целый ряд полков, попадая в район Режицы, переживал соответствующие метаморфозы.

Таковыми примерами, и еще более яркими, можно было бы заполнить несколько страниц истории Особой Армии. Полк, до того принадлежавший к наиболее боевым единицам Особой Армии и даже всего Юго-Западного фронта, неожиданно для командного состава в продолжение нескольких дней совершенно разлагается, воспринимает большевистские лозунги и лишается

всей своей боеспособности. И это происходит в результате того, что в пополнении, присланном из тыла, оказывается один или два активных и умелых агитатора-большевика.

Конечно, пассивностью далеко не исчерпывается вся совокупность причин, вызывавших изменения в фронтовых настроениях. Пассивность российских солдатских масс была не больше, чем фон, чем канва, на которых события рисовали свой сложный узор. Но здесь я считаю не лишним особенно подчеркнуть это качество русской толпы, прекрасно учтенное большевистскими деятелями и которое недостаточно принималось во внимание демократическими партиями. Нередко в идеологии последних „толпа” *олицетворялась* с „народом”, которому, так считалось, должна принадлежать высшая власть в стране...

Разложению фронта предшествовало разложение страны, распадение ее центральных органов, психологическая дезагрегация ее интеллигенции. И даже тогда, когда на смену Временному правительству пришла большевистская власть и в порядке дня стоял вопрос о немедленном мире, „мире во что бы то ни стало”, большинство фронтов оставалось еще органическим целым и среди них более других Юго-Западный фронт. И только тогда, когда Брест-Литовский мир стал совершившимся фактом и существование самих фронтов оказывалось величайшей нелепостью, только тогда фронты последовали примеру тыла.

Можно ли, уместно ли утверждать, что фронт погубил страну?

Не правильнее ли в сотни раз будет положение, мною защищаемое, что *наиболее здоровым органом в стране был все-таки фронт*.

Несмотря ни на что... Несмотря на то, что он был покинут всей страной... Несмотря на то, что солдаты хотели воевать „постольку, поскольку”, что чувство долга у них оставалось в микроскопических долях...

Это худшее все-таки было лучшим в стране, в которой сотни тысяч раз и на разные лады говорилось о правах и ни разу не было сказано об обязанностях — *революционных, гражданских и просто человеческих...*

Как же отнесся русский народ к выборам в Учредительное Собрание? Противники последнего, — а кто не принадлежит в настоящее время к числу их! — весьма склонны утверждать, что выборы эти были сплошным недоразумением, что народ не знал, за кого и почему голосует.

Это утверждение в значительной мере неверно. Именно простой народ, особенно крестьянство отнеслось к этим выборам с большей честностью и серьезностью, чем многие другие слои населения государства Российского.

Разве не секрет полишинеля, что круги монархически и реакционно настроенные не только голосовали за большевистские списки, но и под сурдинку агитировали за них? А тактика так называемых левых социалистов-революционеров? Или поведение особенно усердствовавших украинских националистов? Или, наконец, агитационные приемы большевиков? Разве это не делалось все для всякого посрамления, дискредитирования Учредительного Собрания?

Именно фронтовые выборы показали, сколько серьезно было отношение солдатско-крестьянской массы к тому самому Учредительному Собранию, идеи которого она восприняла с некоторым трудом и, пожалуй, раздумьем.

Выборы происходили в ноябре, когда центральная власть была в руках большевиков. Следовательно, все благоприятствовало тому, чтобы выборная кампания прошла в пользу коммунистической партии. Мало того, ведь именно фронт, больше чем кто-либо другой, хотел мира, ибо этот вопрос касался его непосредственно, касался его *ш к у р н о*. Вместе с тем, как это

общеизвестно, большевистские предвыборные лозунги были именно в эту точку солдатской психологии. Их плакаты, предназначенные для фронта, говорили прежде всего об этом, больше всего.

„Мы вам дадим немедленный мир”.

„Мир всему миру”.

„Братство народов” и т.д., без конца, все в том же духе.

Наряду с этим конкурировавшие с ними на фронте политические партии занимали позиции оборонческие, более того, резко оборонческие.

Например, резолюция Армейской Конференции социалистов-революционеров, происходившей в городе Луцке в конце октября, гласит чрезвычайно определенно и ясно:

„Конференция высказывается против немедленного мира и особенно против „мира во что бы то ни стало”, защищаемого большевиками. Мы предлагаем нашим избранныкам настаивать в Учредительном Собрании о возможно скором перемирии, которое должно быть заключено с неопременного согласия союзных держав”.

Как видно из этой резолюции, оборончество эсеров Особой Армии было весьма недвусмысленное.

К этому надо прибавить, что интернационалистически настроенным лицам, а их было два-три человека на Конференции, — не давали говорить.

Итак, теоретически казалось, что успех заранее обеспечен большевикам; ведь они овладели властью в стране, они обещают немедленный мир усталым солдатским массам. И однако, народ — солдатская масса — высказался далеко не за них. Почему? Происшедшее кажется мне величайшим признаком того, что солдаты в большей своей массе отнеслись сознательно к выборам.

Несколько цифр могут многое объяснить. По Особой Армии число избирателей считалось в 352 000 чело-

век. Подано было бюллетеней немного больше чем 280 000. Из них голосовало за социалистов-революционеров 210 000, за большевиков — 45 000, а остальные голоса делятся между украинцами, кадетами и другими списками. На кого же падают те 45 000 голосов, что были поданы за большевистский список?

По сведениям Армейской избирательной комиссии, в боевых частях число поданных голосов за большевиков не превышало 5%, исключение составляла III-я дивизия, где два полка подали во множестве свои бюллетени за большевистский список (45%).

Но уже в обозах и в парках число голосовавших за большевиков превышает, местами, 20%. И, наконец, места скопления тыловых частей, как, например, Ровно, дали наибольший процент голосовавших за большевиков.

Эти цифры позволяют мне утверждать, что армия, в боевой своей части, голосовала не только против большевиков, но за определенно оборонческие списки. Иначе говоря, она голосовала не за тех, кто отвечал ее инстинктивным, шкурным вождениям, но за тех, кто, по ее разуму, мог наилучшим образом представлять народные интересы в Учредительном Собрании. И разве правы те, кто упрекает фронтовые армии в неразумном отношении к выборам в Учредительное Собрание?! Но предложат, и вполне правильно, некоторые вопросы: почему же солдатская масса, та часть массы, которая сумела воздержаться от заманчивых лозунгов большевизма, почему она голосовала за список № 1, т. е. за социалистов-революционеров?

Я не принадлежу к числу тех, которые утверждают, что народ хорошо разбирался, да и разбирается и теперь, в программах наших политических партий и что голосование за список социалистов-революционеров было актом продуманной и осознанной народной мудрости. Наоборот, я убеждался неоднократно, что не только народ, но и интеллигенция весьма поверх-

носно знакома с платформами политических партий, и что голосование при выборах в Учредительное Собрание было в значительной мере неразумным и непродуманным. И были, однако, серьезные причины, почему победа осталась именно за эсерами. Победа не только на фронте, но и почти по всей стране. Две причины...

Первая — это то, что крестьянско-солдатская масса (я говорю о выборах в армии) считала партию социалистов-революционеров своей, крестьянской. Ее убеждало в этом то обстоятельство, что список № 1 был общим от Совета Крестьянских Депутатов и от армейских социалистов-революционеров. А то, что эсеры больше всего и любивнее всего беседовали о земельном вопросе и о крестьянских делах, говорило солдатам о правильности их мнения.

Голосуя за партию социалистов-революционеров, солдаты-крестьяне считали, что голосуют за свою партию.

Вторая причина стояла в непосредственной связи с предыдущей. Благоприятная почва позволила весьма широко и полно развить партийную работу в армии. Уже с апреля мы начали готовиться к выборам, поставив себе неотложной задачей организацию непременно во всех, даже в самых малых, воинских частях партийных ячеек. Эта организационная работа дала чрезвычайно продуктивные результаты во время выборной кампании, что особенно наглядно видно при сравнении хода выборов с теми армиями, где не было планомерной партийно-организационной работы. Насколько широко велась эта последняя в Особой Армии, я позволю себе иллюстрировать несколькими статистическими данными.

В апреле 17-го года насчитывалось только три партийных ячейки эсеров. В июне число это поднялось до тридцати двух, в июле до шестидесяти, в сентябре до восьмидесяти трех. Число действительных членов партии было с самого начала и до конца невелико и не

превышало 2-3 тыс. Зато число так называемых сочувствующих или испытываемых, которые платили регулярно членские взносы, было зарегистрировано: в мае — 8 000, в июне — 85 000, а в сентябре, к началу выборной кампании, число их поднялось до 135 000.

С достаточным основанием можно утверждать, что именно благодаря партийно-организационной работе, мы были обязаны в Особой Армии успеху списка № 1. Это подтверждается и тем обстоятельством, что в соседней Армии, в 11-й, так же, как и в 7-й, где не было сети широко разбросанных партийных ячеек, число голосовавших за список № 1 было приблизительно в два раза меньше.

Надо отметить тот факт, что успеху большевиков, успеху относительному, немало способствовало то постепенно прогрессирующее недоверие к интеллигенции, о котором я говорил выше. Считаясь с этой рознью, большевики весьма умело составили свой избирательный список по нашему фронту: в него были помещены исключительно солдаты. Этого нельзя было сказать ни о списке № 1, ни тем более о списке меньшевиков или кадетов. Все эти списки были интеллигентские. Так в списке № 1-м, эсеровском, на первом месте шел Борис Моисеенко, далеко не популярный в солдатских кругах, на втором месте — я, потом лейтенант Филипповский, совершенно неизвестный в армии кандидат Центра, потом поручик Лишев и т.д. Из прошедших по Юго-Западному фронту депутатов только двое носили солдатское звание, да и то они были настоящими интеллигентами, притом работавшими в фронтовом Комитете.

Эта своеобразная интеллигентность списков была широко использована большевиками и, думается мне, оставила некоторый след в психологии солдатской массы, и без того настороженно относившейся к власти интеллигенции.

Выборы в армии в Учредительное Собрание происходили только, когда центральная власть была большевистской. Это обстоятельство не могло пройти бесследно ни на солдатских настроениях, ни на их психологии. Число большевистски настроенных элементов медленно, но постепенно все увеличивалось, пропаганда коммунистическая велась все энергичнее и открытее, и местами, там, где не было спайки между интеллигенцией и солдатами, там происходили эксцессы, нередко кровавые и кошмарные.

Тем не менее отношение в общей своей массе солдат Особой Армии к Учредительному Собранию осталось прежним. Дивизионные и армейские конференции, имевшие место в ноябре, свидетельствовали о том, что солдаты не только верят по-прежнему в спасительность Учредительного Собрания, но и считают необходимым защищать его „вооруженными силами”.

Именно в этот период в партийный комитет, так же как и в общеармейский, неоднократно обращались представители отдельных боевых частей с предложениями вполне конкретными, определенными и отнюдь не иллюзорными о защите Учредительного Собрания. На том, было ли использовано это настроение и эти предложения, мне придется остановиться в одной из последующих глав. Здесь же приходится лишь отметить, что аналогичные настроения, в той или иной степени выраженные, существовали и в других армиях нашего фронта. Лишь ситуация в Особой Армии была более определенной и ясной, чем в других местах фронта. Как это и проявилось на Фронтовом Съезде, имевшем место в конце ноября в Бердичеве...

Мне думается, что лидерами, руководящими лицами революционной демократии, не была сознаваема, да не признана и теперь, вся двусмысленность положения, существовавшего в 17-м году. С одной стороны, они были всецело и нераздельно связаны с Советами,

составляя Президиум и Исполнительные Комитеты Советов. С одной стороны, они всеми легальными, а нередко и нелегальными, мерами защищали престиж как центрального, так и местных Советов. С одной стороны, они ежеминутно и ежесекундно пропагандировали с большим успехом советскую систему, выступая на собраниях и митингах с докладами и речами в качестве представителей Советов.

А с другой стороны, они же от лица Правительства говорили о Всероссийском Учредительном Собрании, о спасительности этого последнего, о том, что оно должно прийти на смену Советов (по существу именно так) и что Советы могут функционировать лишь до того времени, пока не соберется Учредительное Собрание...

Мне врезалась в память речь одного беспартийного солдата-делегата, речь, наивная по своему содержанию и примитивная по своему построению, имевшая тем не менее, может быть именно поэтому, необыкновенный успех в общем заседании Съезда. Речь сводилась к тому, что в стране есть только две стороны, две партии — народная и барская. К народной партии принадлежат Советы, большевики, Керенский, Чернов, Брешковская. Вся эта партия хочет немедленного мира, хочет отдать всю землю крестьянам, а фабрики — рабочим, но им мешает вторая партия, барская, буржуазная, в которой главную роль играют кадеты, Временное правительство, генералы и евреи... Здесь все спутано, все понято по-своему. И однако это был делегат, т. е. более других интеллигентный солдат...

Да, между народом и „народом” надо провести резкую границу, границу вполне определенную и ясную. Надо сказать то, что до сих пор еще не было сказано, или если и было сказано, то полушепотом, между прочим. Надо подчеркнуть то, представляющееся мне несомненным, обстоятельство, что русский народ, крестьянство, солдаты и рабочие в большей своей части

были чужды и не причастны к тем разрушениям Российского Государства, которые имели место, начиная с 18-го года. Они были чужды и даже враждебны большевизму, и множество фактов это доказывает, и даже мнение некоторой части российской интеллигенции, утверждающей, что русский народ — большевик, не сможет поколебать неоспоримость этого факта.

И наибольшее, в чем можно *упрекнуть русский народ* — это в великом его попустительстве, в его поразительной пассивности, в том, что он ежеминутно и ежесекундно готов утверждать, что „его хата с краю”.

Мы видели фронт, где усталая и измученная, серая солдатско-крестьянская масса голосовала. Голосовала без принуждения, так, как ей показывал здравый смысл. И этот здравый смысл высказался определенно и ясно против большевизма. Всякий бывший на фронте может рассказать о тех многочисленных эксцессах, которые имели там место в 17-18 гг., об избиениях и об убийствах командного состава, о крови, пролитой во множестве, обо всем том, что является до сих пор неизжитым кошмаром. И, однако, если поставить вопрос: повинен ли во всем этом весь русский народ в его целом, не должно быть иного ответа, как определенное и ясное: нет. Большинство народа, то большинство, которое сохранило в себе частицу здравого смысла и немного от человеческой души, оставалось в стороне от всего этого...

Вот в Особой Армии, в III-й дивизии, происходит зверское убийство помощника комиссара Линде и дивизионного генерала. Я тщательно опрашивал многочисленных свидетелей этого дела, и неизменно рисовалась картина в таком виде: 100 активно настроенных злоумышленников, вполне сознательно и, по-видимому, преднамеренно, окружили комиссара, увлекли его в лес и там убили. А остальная солдатская масса — те 3 900 солдат, которые составляли контингент двух взбунтовавшихся полков, — что делала эта масса? Она

робко жалась по опушке леса, пряталась в кустах и больше всего боялась быть вовлеченной в это деяние.

Она была пассивна, и может быть, в этом, в ее пассивности, в ее попустительстве и был элемент преступности. Ибо есть положения, когда формула „моя хата с краю” заслуживает жестокого порицания.

Под Луцком, в Х-м полку, был растерзан толпой не любимый солдатами офицер. Снова и здесь картина рисовалась все та же. Пять, самое большее десять, процентов солдат активно принимало участие в убийстве, а остальная масса... робко жалась. Молчала. Отмалчивалась.

И этой пассивностью были преисполнены и петроградские настроения.

В декабре, с первых дней моего приезда в столицу, мне пришлось неоднократно посещать полки, по преимуществу запасные гвардейские. И всюду я наталкивался на то же самое мнение. Общая масса, на 9/10 скорее сочувствующая Учредительному Собранию, чем большевикам, и во всяком случае беспартийно безразличная и пассивно настроенная. Рядом с этим небольшая группа лиц чрезвычайно активных, партийных большевиков, по-видимому связанных с центральными их организациями и образующих имеющую огромное влияние на жизнь полка ячейку. Эта ячейка ведет ежедневную, упорную пропаганду, во время собраний владеет вниманием толпы, проводит нужные ей резолюции и постепенно создает гипноз, что общая масса полка не только не сопротивляется их большевистским тенденциям, но даже всецело разделяет убеждения большевистской партии.

Мой товарищ по районной работе, впоследствии расстрелянный большевиками, Борис Флеккель, следующим образом характеризовал мне существовавшее в то время в рабочем Петрограде положение:

„Приходится признать тот печальный факт, что ра-

бочие массы Петрограда ушли из-под нашего и меньшевистского влияний. Почему это так произошло? Прежде всего, благодаря недостаточной организационной работе наших районов: наидеятельнейшие партийные работники ушли или в Центр, или в муниципалитеты; последние шесть месяцев в буквальном смысле этого слова многие районы дышат на ладан. Далее — раскол в нашей партии, в результате которого немалое количество наших клубов попало в руки левых эсеров, и наконец общее положение в стране, неудачная политика Временного Правительства, которому рабочие больше всего вменяют в вину отсутствие решительности, неопределенность действий, бесконечные колебания. Но значит ли это, что рабочие массы стали большевистско-думающими, большевистско-верующими? Мое мнение вполне определено: рабочие массы ушли из-под нашего влияния и даже, может быть, пойдут некоторое время за большевиками, но они сами не большевики и даже не большевистствующие”.

Несомненно, что Учредительное Собрание, идея о нем была детищем российской интеллигенции, которая десятилетия лелеяла мысль о том времени, когда весь народ будет призван сказать свое слово. В продолжение многих лет Всероссийское Учредительное Народное Собрание было лозунгом интеллигенции, было для нее тем волшебным царством, куда революцией будет призван русский народ. Правда, что разочарование в спасительности Учредительного Собрания началось уже среди интеллигенции еще в 17-м году, правда и то, что нет сейчас идеи, менее популярной, чем идея об Учредительном Собрании.

Но чья это вина? Не мы ли, русские интеллигенты, которые поклонялись этой идее, которые несли ее на протяжении десятков лет, которые сделали ее лозунгом февральской революции и которые не сумели отстоять этой идеи и провести ее в жизнь, не мы ли главные виновники этого разочарования?..

„Как же мы будем защищать Учредительное Собрание? Как будем самозащищаться?”

С таким вопросом я обратился чуть ли не в первый день к ответственному руководителю фракции Х. Он сделал недоумевающее лицо.

„Защищать? Самозащищаться? Что за нелепость? Понимаете ли вы, что вы говорите?.. Ведь мы народные избранники... Мы должны дать народу новую жизнь, новые законы, а защищать Учредительное Собрание — это дело народа, нас избравшего”.

И это мнение, мною услышанное и весьма меня поразившее, отвечало настроению большинства фракции.

Весь быт и уклад жизни эсеровской фракции в декабрьские дни семнадцатого года прекрасно иллюстрирует сказанное. Интенсивно по различным многочисленным комиссиям шла подготовительная законодательная работа. Готовились всевозможные проекты законов. Обсуждались вопросы, имевшие огромное государственное значение.

Комиссия земельная, народного образования, иностранных дел, комиссия первого дня открытия Учредительного Собрания... каких только там комиссий не было!

Иногда мы, оппозиционеры, спрашивали наших коллег по фракции:

„К чему вы строите эти иллюзии? К чему эти законопроекты, которые вы так старательно обсуждаете, когда неизвестно даже, состоится ли Учредительное Собрание. Мы не понимаем, как можно в таких кошмарных условиях заниматься мирной законодательной работой”.

Ответ бывал неизменен и по-своему логичен:

„Мы не знаем точных намерений большевиков, но мы убеждены, что они не осмелятся посягнуть на прерогативы высокого учреждения, выбранного всем народом. А если так, если есть шансы, что сессия Учредительного Собрания состоится, то мы должны прийти в

нее во всеоружии нашего политического опыта, с полным сознанием важности задачи, возложенной на наши плечи русским народом. Мы должны дать в законном порядке народу землю и основные права”.

Принятие парламентарской тактики влекло за собою вполне определенные логические последствия. Борьба с большевиками представлялась не иначе, как в стенах Таврического Дворца, а сама защита Учредительного Собрания — руками тех, кто послал своих избранных устанавливать новые формы жизни. И по существу было вполне логично, когда депутаты возражали против вовлечения их в ту или иную форму активной борьбы с советским правительством.

И вполне понятно, что такая позиция влекла за собой пассивность. Когда — это было в последних числах декабря — во фракции Биркенгейм и Н.В.Чайковский, пришедшие в качестве делегации Всероссийского Союза Служащих, заявили, что они уполномочены десятками тысяч интеллигентных тружеников предоставить все силы последних на защиту Учредительного Собрания и что они думают, что всеобщая забастовка вполне реализуема, — ответ фракции, после прений бурных и продолжительных, был весьма уклончив:

„Мы, мол, не возражаем против всеобщей забастовки, но руководить ею мы не будем и даже непосредственное отношение к ней считаем нежелательным”.

Аналогичные ответы давались и другим депутатам, разочарованно покидавшим скромные стены общеджития на Болотной улице.

Такова общая картина жизни эсеровской фракции. Между тем, ввиду немногочисленности кадетской и эсдековской партии, в Учредительном Собрании роль эсеровской фракции была преобладающей. И фактически антибольшевистская коалиция ею не только возглавлялась, но почти что ею олицетворялась.

Как бы то ни было, но факт был непреложным. Фракции, или, вернее, антибольшевистские фракции не

принимали участия во внепарламентской борьбе за Учредительное Собрание. Эта борьба шла без них, даже иногда вне их непосредственного влияния. И только благодаря персональному вмешательству отдельных депутатов, принимавших активное участие в этой защите, поддерживалась живая связь и с Болотной улицей, и с фракцией...

Наконец, еще одно воспоминание, по-своему яркое и интересное.

Нам было сообщено, что большевики хотят обязательно вывести на улицу для демонстрирования против Учредительного Собрания моряков I-го и II-го Балтийских Экипажей. Среди матросов II-го Экипажа была у нас небольшая организация, и даже председатель Экипажного Комитета Сафронов, интеллигентный матрос, стоял горю за нас.

Мы решили устроить 3-го января Экипажное Собрание. Было оно многолюдным. После речей весьма проникновенных Слонима, Сафронова и других, какой-то матрос-энтузиаст вскочил на эстраду и закричал:

„Братцы, товарищи, поклянемтесь, что не пойдем против народного собрания...”

„Клянемся...”

„На колени, товарищи, на колени!”

И вся эта многотысячная толпа матросов становится на колени и кричит:

„Клянемся не идти против Учредительного Собрания!”

Именно — „не идти против”. О том, чтобы идти за Учредительное Собрание, они даже не думали. Их энтузиазма, их волеизъявления хватило только на то, чтобы быть пассивными.

Мы, впрочем, были довольны и этим, ибо балтийцы не только сдержали свою клятву и не вышли 5-го января на улицу, но и склонили I-й Балтийский Экипаж последовать их примеру.

Матросы не избежали общей участи. Разгон Учредительного Собрания на них подействовал тягостно. И вместо того, чтобы негодовать на тех, кто посягнул на народных избранников, вместо возмущения поведением большевиков, матросы, как и прочие солдаты, аплодировали победителям и осуждали побежденных...

Сколько раз и из самых уст различных по темпераменту товарищей своих по фракции, как, впрочем, и от представителей других фракций, мне приходилось слышать:

„Вы говорите, что большевики хотят разогнать Учредительное Собрание... С трудом в это верится. Ведь это логическая несообразность. Разве не сами же большевики все эти последние месяцы кричали о том, что необходимо созвать как можно скорее Учредительное Собрание?..”

„С трудом верится, — говорил как-то Церетели, — чтобы большевики осмелились разогнать Учредительное Собрание. Им ни народ, ни история этого не простили бы. Десятилетия вся передовая российская интеллигенция стремилась к осуществлению своей идеи. Это было лозунгом не только наших либералов, но прежде всего революционеров. Я убежден, что большевики только пугают, чтобы сделать оппозицию более уступчивой...”

И это говорил одни из наиболее реалистически настроенных депутатов...

В предыдущих главах мною была обрисована деятельность тех организаций, которые приняли на себя защиту Учредительного Собрания. Мною было отмечено, что эти организации пришли к необходимости вооруженной демонстрации в день созыва Учредительного Собрания и проявлению наибольшей активности в этом направлении. Я указывал также и на то, что к первым числам января эти приготовления были до из-

вестной степени закончены, что план выступления был детально разработан и что дело стояло лишь за немногим: за санкцией этого выступления Центральным Комитетом.

Мы, я говорю о Военной Комиссии, несколько не сомневались в положительном отношении к нашему плану действия со стороны ЦК. И тем больше было разочарование... Третьего января на заседании Военной Комиссии нам было сообщено о состоявшемся постановлении нашего Центрального Комитета. *Этим постановлением категорически запрещалось вооруженное выступление, как несвоевременное и ненадежное деяние.* Рекомендовалась мирная демонстрация, причем предлагалось, чтобы солдаты и прочие воинские чины приняли участие в демонстрации невооруженными, „во избежание ненужного кровопролития”.

Мотивы этого постановления, видимо, были довольно разнообразны. Нам, непосвященным, сообщили о них в значительно сокращенном виде. Во всяком случае, это постановление было продиктовано самым лучшим намерением.

Во-первых, боязнь гражданской войны или, точнее, братоубийства. Именно Чернову принадлежит знаменитое изречение, „что мы не должны пролить ни одной капли народной крови”.

„А большевики, — его спросили, — можно ли проливать кровь большевиков?”

„Большевики тот же народ”.

Вооруженная борьба с большевиками в это время рассматривалась как действительное братоубийство, как борьба нежелательная.

Во-вторых, на памяти у многих были неудачи московского и петроградского вооруженных выступлений на защиту Временного Правительства. Эти выступления показали бессилие и неорганизованность демократии. Отсюда происходила своего рода боязнь перед новыми вооруженными выступлениями, неуверенность в

своих силах, более того, убежденность в заведомом неуспехе такого рода выступления...

В-третьих, безусловно господствовало то настроение, о котором я говорил в начале этой статьи. Пропитанное фатализмом убеждение о всесильности большевизма, о том, что большевизм это есть явление народное, которое захватывает все более и более широкие круги народных масс.

„Надо дать *изжить большевизм*”.

„Дайте большевизму изжить самого себя”.

Вот лозунг, выдвинутый именно в это время, и, думается мне, он сыграл довольно печальную роль в истории противобольшевистской борьбы. Ибо лозунг этот знаменует собой пассивную политику.

Наконец, *в-четвертых*, был все тот же идеализм, основанный на вере в торжество демократических принципов, на вере в волю народа.

Итак, мы стояли перед запрещением вооруженного выступления. Это запрещение застало нас врасплох. Сообщенное же в Пленуме Военной Комиссии, оно породило немало недоразумений и недовольства. Кажется, удалось в самую последнюю минуту предупредить о нашем перерешении Комитет Защиты. Им, в свою очередь, были приняты спешные шаги и изменены сборные пункты. Больше всего волнения пришлось испытать семеновцам.

Борис Петров и я посетили полк, чтобы доложить его руководителям о том, что вооруженная демонстрация отменяется и что их просят: „Прийти на манифестацию безоружными, дабы не пролилась кровь”.

Вторая половина предложения вызвала у них бурю негодования:

„Что вы, смеетесь, что ли, над нами, товарищи? Вы приглашаете нас на демонстрацию, но велите не брать с собой оружия. А большевики? Разве они малые дети? Ведь будут, небось, непременно стрелять в безоружных людей. Что же мы, разинув рты, должны будем им

подставлять наши головы или же прикажете нам улепетывать тогда, как зайцам?”

Мы их успокаивали:

„Товарищи... Боязнь пролить народную кровь... Мы не имеем права вас втягивать в гражданскую войну... Наши вожди говорят...”

Но их было нелегко успокоить:

„Да что вы, товарищи, в самом деле, смеетесь, что ли, над нами? Или шутки шутите?... Мы не малые дети и, если бы пошли сражаться с большевиками, то делали бы это вполне сознательно... А кровь... Крови, может быть, и не пролилось бы, если бы мы вышли целым полком, вооруженные”.

Долго мы говорили с семеновцами, и чем больше говорили, тем становилось яснее, что отказ наш от вооруженного выступления воздвиг между ними и нами глухую стену взаимного непонимания.

„Интеллигенты... Мудрят, сами не зная что. Сейчас видно, что между ними нет людей военных”.

И несмотря на продолжительные увещевания, в этот вечер семеновцы отказались отстаивать издававшуюся нами газету „Серая шинель”.

„Не к чему. Все равно ее прикроют. Одна только канитель”...

Общее впечатление, которое у меня осталось от этого утра, проведенного в среде демонстрантов, создало во мне уверенность, что будь выступление вооруженным, демонстрантам несомненно удалось бы проникнуть до самого Таврического Дворца.

Безусловно, большевики боялись серьезного вооруженного столкновения, связанного с именем Учредительного Собрания. Качество и количество вооруженной массы, стоявшей на их стороне, было лишь достаточным, чтобы сдержать и разогнать мирную демонстрацию. *Но не более.* Таково было и мнение большевика Пятакова, стоявшего довольно близко к Смольному. Таково было впечатление и некоторых моих коллег по фракции.

Из кого состояла манифестация? Достаточно ли был в ней велик подъем и как согласовать последний с той пассивностью и индифферентизмом, которые проявлялись интеллигенцией и обывателем в отношении Учредительного Собрания? Несомненно, что подъем и настроение оппозиционной манифестации были довольно значительны, особенно после расстрелов, произведенных красногвардейцами. Рядовой обыватель, который утром колебался еще — примкнуть ему или нет к демонстрантам, — теперь составил наиболее активное ядро последних

Конечно, трудно предполагать, что большинство демонстрантов было на стороне Учредительного Собрания. Более чем вероятно, что только незначительная часть демонстрировавших была подлинными сторонниками последнего, но другое чувство, кроме любви к демократическому Учредительному Собранию, владело толпой: *это была ненависть к большевикам*. Ненависть, вскормленная за двухмесячное их управление страной. Обыватель петроградец, в широком смысле этого слова, готов был всколыхнуться от своей пассивности и пойти даже за Учредительным Собранием, если последнее найдет в себе достаточно сил, чтобы свергнуть большевистское правительство.

Мы не сумели использовать настроения петроградцев. Мы не сумели возглавить это противобольшевистское движение.

Пятое января, принеся нам поражение в стенах Таврического Дворца, вместе с тем вызвало в рядах петроградцев новое разочарование в российской демократии.

Побежденные редко внушают симпатии. Тем более, когда пораженные оказываются в смешном положении...

Несомненно, целый ряд вопросов и недоумений будут вызваны моим настоящим односторонним очерком.

Это те же вопросы, которые не раз предлагались за последнее время не только хулителями и поносителями демократии, но и многими из нас, чья принадлежность к революционной демократии не подлежит сомнению. Где корни того обстоятельства, что российская революционная интеллигенция, столь активная и непримиримая в своем прошлом, проявляет с того момента, как она прошла через горнило государственной власти, повышенное миролюбие, пониженную активность, переходящую временами в резко выраженную пассивность и, наконец, нерешительность? Ведь все эти качества демократии, вернее, качества ее руководителей выявились не только при защите Учредительного Собрания, выявлялись неоднократно до и после этого периода. Эта пассивность в политике, осужденная навеки европейскими политиками в лице ее лучших представителей, до сих пор неотъемлемо связана с психологией русской демократии. Повторяю, не только революционной демократии, но и той радикальной демократии, которая группируется ныне вокруг Милюкова. Неумение отрешиться от давно выработанных формулировок, тяготение к отвлеченности и к решению принципиальных вопросов, — все это на фоне неизжитого идеализма создало ту обстановку, о которой мне пришлось говорить и которая так губительно отразилась на судьбах русской революции и российского государства. Но переживаемое левым крылом демократии есть не больше чем отголосок, чем далекое эхо общеинтеллигентских настроений.

Ведь мы плоть от плоти, дитя родное этой самой интеллигенции. То же отсутствие реализма, погоня за абсолютами и т. д. без конца. Тем более нелепы и ничемны упреки, которые посылаются весьма многими революционной демократии за то, что она не сумела справиться с большевиками. Эти упреки надо распространить на всю российскую интеллигенцию. Да и не в упреках дело. Это тоже из области политического не-

домыслия. Перед нами другая задача — воспитать новое поколение политиков, новое поколение интеллигенции, чуждое черт прошлого, проникнутое здоровым, всеорганизующим реализмом. Будем верить, что этот процесс уже начался.

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н. Б. Тарасова

Адрес редакции журнала „Грани”:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt/M., 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandauirow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»

- ☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- ☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- ☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- ☐ Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 48 н. м.
через магазины — 60 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

В издательстве: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 75 н. м.
«Посев» (12) — 60 н. м.

Через магазины: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 90 н. м.
«Посев» (12) — 72 н. м.

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» и «Вольное слово» зона I — 24 н. м.
зона II — 36 н. м.
«Посев» зона I — 20 н. м.;
зона II — 30 н. м.

I зона — Северная Америка и Ближний Восток
II зона — Южная Америка и Дальний Восток

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«ГРАНИ» — 15 н. м. «ПОСЕВ» — 6 н. м.
«Вольное слово» — 6 н. м.

В США и КАНАДЕ, при теперешнем курсе доллара
около двух марок, следует цены, для определения их
в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.